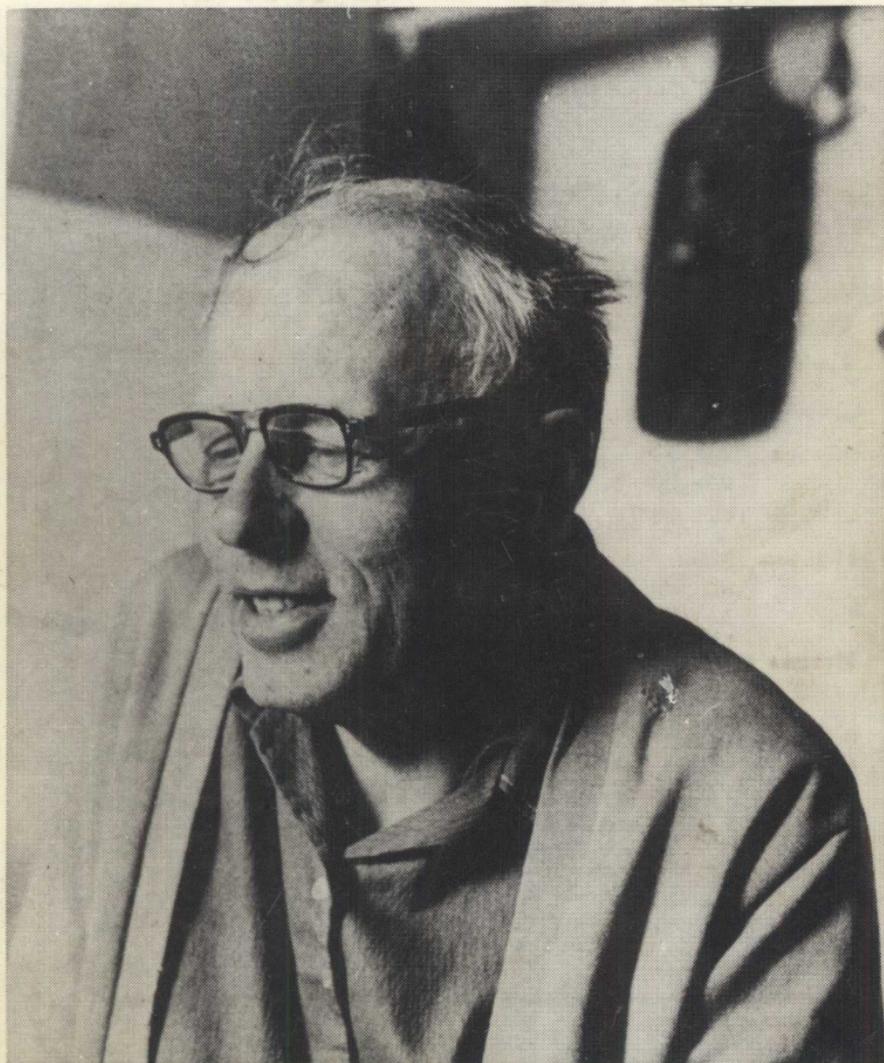


КОНТИНЕНТ 28

КОНТИНЕНТ KONTINENS KONTYNET CONTINENT KONTINENT
КАНТЫНЕНТ KONTINENTAS KONTINENTS MANDER КОНТИНЕНТ

К шестидесятилетию со дня рождения



Андрей Дмитриевич Сахаров

Главный редактор: Владимир Максимов
Заместитель главного редактора: Виктор Некрасов
Ответственный секретарь: Наталья Горбаневская
Заведующая редакцией: Виолетта Иверни

Редакционная коллегия:

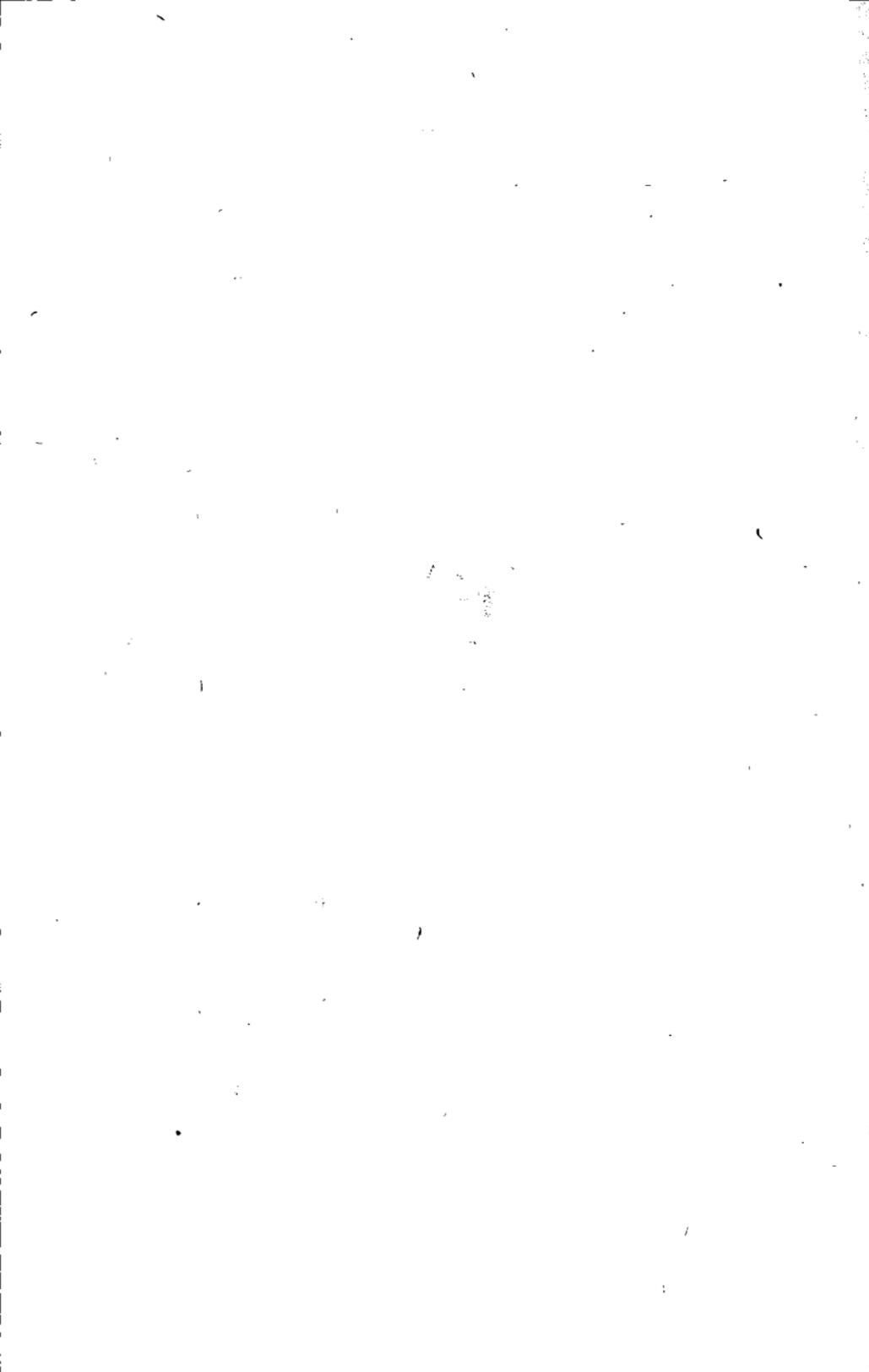
Раймон Арон · Ценко Барев · Джордж Бейли
Сол Беллоу · Николас Бетелл · Энцо Беттица
Иосиф Бродский · Владимир Буковский · Ежи Гедройц
Александр Гинзбург · Пауль Гома
Густав Герлинг-Грудзинский · Корнелия Герстенмайер
Петр Григоренко · Милован Джилас · Эжен Ионеско
Артур Кестлер · Роберт Конквест · Наум Коржавин
Эдуард Кузнецов · Николаус Лобковиц
Михайло Михайлов · Эрнст Неизвестный · Амос Оз
Андрей Сахаров · Виктор Спарре · Странник
Юзеф Чапский · Александр Шмеман
Карл-Густав Штрём · Пьер Эмманюэль

Корреспонденты «Континента»

- Англия Владимир Тельников
Wladimir Telnikov, 50 The Drive Mansions,
Fulham Rd., London S.W. 6
- Израиль Михаил Агурский
Michael Agoursky, P O B 7433,
Jerusalem, Israel
- Италия Сергей Рапетти
Sergio Rapetti, via Beruto 1/B
20131 Milano, Italia
- США Юрий Ольховский
Yuri Olkhovsky, 3319 Ardley Court
Falls Church, Va. 22041, USA
- Япония Госуке Утимура
Higashi-Yamato, Hikariga-oka 10-7
189 Tokyo, Japan

Присланные рукописи не возвращаются, и в переписку по этому поводу редакция не вступает.

K



КОНТИНЕНТ

Литературный, общественно-политический
и религиозный журнал

28

Издательство «Континент»
1981

© Kontinent Verlag GmbH, 1981

СОДЕРЖАНИЕ

В ГОСТЯХ У «КОНТИНЕНТА»: Московское время.	
Альманах поэтов	7
Анка Ковальски — Стихи из цикла «Разговоры с братьями». Пер. с польского Н. Горбаневской	19
КРУГ РАССКАЗЧИКОВ	
Юрий Милославский — Омеляшко	25
Аркадий Львов — Человек из ВОХР	34
Владимир Рыбаков — Зерно	46
Марк Зайчик — На службе	56
Лев Меламид — Русское подворье	66
СТИХИ	
Дмитрий Бобышев — Ксения Петербургская	83
МАСТЕРСКАЯ	
Владимир Филандров — Два рассказа	87
СТИХИ	
Виктор Кривулин, Евгений Герф, Яков Зугман	99
РОССИЯ И РЕАЛЬНОСТЬ	
Валерий Чалидзе — Сахаров и русская интеллигенция	109
Дьякон Сергей Женук — Империализм и нацизм	115
Михаил Хейфец — Русский патриот Владимир Осипов. Окончание	134
ВОСТОЧНОЕВРОПЕЙСКИЙ ДИАЛОГ	
Михайло Михайлов — Возвращение Великого Инквизитора	181
Михаил Геллер — Время бросать камни?	212
ЗАПАД — ВОСТОК	
Борис Суварин — Панаит Истрати и коммунизм	221
ФАКТЫ И СВИДЕТЕЛЬСТВА	
Милован Джилас — Йован Барович, неустрашимый адвокат	247
ЭКОНОМИКА	
Игорь Бирман — Экономическая ситуация в СССР	259

НАУКА	
Александр Некрич — Поход против «космополитов» в МГУ	301
ИСТОРИЯ	
Екатерина Брейтбарт — «Окрасился месяц багрянцем...» или Подвиг святого террора?	321
ИСТОКИ	
Евгений Гнедин — Выход из лабиринта. С предисловием Андрея Сахарова	343
ЛИТЕРАТУРА И ВРЕМЯ	
Мария Шнеерсон — Разрешенная правда	361
Павел Андреев — Необходимость Лескова	381
ИСКУССТВО	
Алексис Раннит — Художник Эдуард Вийральт	399
КОЛОНКА РЕДАКТОРА	405
НАША ПОЧТА	407
КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ	
Герман Андреев — Ценная работа о национал- большевизме	411
Т. Горичева — Оторвавшись от духа	416
К. Сапгир — Волк и звезды	422
Владимир Максимов — «Платон мне друг...»	426
КОРОТКО О КНИГАХ	428
НАША АНКЕТА	
Интервью с Виктором Корчным	437

В гостях у «Континента»

МОСКОВСКОЕ ВРЕМЯ

«Московское время» — альманах группы молодых московских и ленинградских поэтов, подружившихся в 70-е годы. Альманах, или, как еще называли его участники, антология, издавался в Москве с 1974 по 1979 гг. в 15-20 экземплярах и в разное время объединял до 20 человек, в том числе помещал критические статьи и прозу. Мы получили выпуск «Московского времени», в котором представлено ядро его инициаторов. Полный текст сборника передан нами в издательство ИМКА-Пресс — в ожидании его выхода мы хотим познакомить наших читателей со стихами «Московского времени». Четырех из восьми авторов альманаха «Континент» неоднократно публиковал: это Елена Игнатова, Бахыт Кенжеев, Юрий Кублановский и Алексей Цветков (ныне эмигрант). Поэтому мы предоставляем сейчас место в журнале поэтам, которые у нас еще не печатались. Для большинства из них это первая публикация — только Татьяна Полетаева печаталась... в югославском журнале «Кораци».

Они принадлежат к одному поколению, и в их биографиях много общего. Татьяна Полетаева родилась в 1949 г., окончила Ленинградский институт культуры, работала на стройке бетонщицей, теперь экскурсовод. Александр Сопровский родился в 1953 г., окончил исторический факультет МГУ, работал сторожем, кочегаром, рабочим в экспедициях. Кроме стихов, пишет литературоведческие статьи. Виталий Дмитриев родился в 1950 г., окончил факультет журналистики Ленинградского университета, был сотрудником многотиражных газет, кочегаром, чернорабочим. Сергей Гандлевский родился в 1952 г., окончил филологический факультет МГУ, работал сторожем, транспортным рабочим, рабочим в экспедициях, школьным учителем, экскурсоводом в Кириллово-Белозерском монастыре и в Коломенском.

Редакция «Континента»

* * *

И я вхожу, как входят за порог.
Еще меня преследует сосновый
Тягучий дух, но вот он — воздух новый,
Холодный, синий, как глубокий вдох.
Напополам с полынною приправой,
С неясным запахом почти засохших трав,
Я пью его без памяти, по праву
Рождения — древнейшему из прав.
И тот, с кем вместе вырвалась из плена
На проводы тепла и сентября, —
Он тоже из Адамова колена,
Потомок ясноглазого царя.
И он хорош — лицом веселым, тем ли,
Что в нем поет немое торжество,
Он обнимает сторбленную землю,
Как древнее родное божество...
«Оставь ее, оставь ее, Адам...
Она теперь суха, и молчалива,
И холодна, как камни у залива...
Я сбилась с солнца по твоим следам.
Согрей меня, мне холодно и сыро...»
И это было в давние года,
И мы не расставались никогда,
С шестого дня до сотворенья мира.

* * *

Когда затянутость видна
В теченьи дня и чаепитья,
Простая эта тишина
Важнее всякого события.

Из отворённых в зелень створ,
Закатным заревом согретых,
Польется бесконечный спор
Скрестившихся стволов и веток.

За изгородью шум шмеля,
А если выйдешь на дорогу,
Сухая теплая земля
Охладевает понемногу.

Над лесом начала светлеть
Звезды чуть видимая точка,
И можно ясно разглядеть,
Как день меняет оболочку.

* * *

Всех оплавав — и в ночь пустоты,
За косые апрельские струи
Я сойду с одряхлевшей плиты
На бульварную землю сырую.
Полоса преждевременных гроз
Отсечет от меня половину —
Звонкий мир лепетанья и слёз
И ночного прохожего спину,
Темный город в фонарном дыму,
Тишину и вступленье органа,

Как в холодном, незрячем дому
Шорох капель из медного крана.
Надо мной — только ночь и вода,
Только это простое убранство, —
И покатится с неба звезда
В ледяное пустое пространство.
И тогда я закрою глаза
И не вспомню за пеньем и звоном,
Что чужие звенят голоса
По затверженным мной телефонам.
И в земном еще платье из дыр,
И в земной еще стоптанной паре
Я застану и дружеский пир,
И веселье, и славу в разгаре.

Александр Сопровский

* * *

Земли осенней черные пласты
Еще не разворочены дождями,
Но знаю я, и, верно, знаешь ты,
Каким ветрам орудовать над нами.
Еще пылят сентябрьские пути.
Еще звенит колодцами деревня.
Будь проклят день и час, когда...
Прости.

Благословись, возлюбленное время.
Другого нет.

И если разрешат,
Я все скажу, что ночь наворковала,
Пока в дремоте граждане лежат
На папертях Московского вокзала.

Пока еще не холодно... Пока
К себе берет нас камень постепенно...
Будь проклят!

Не поднимется рука.
Родное время, будь благословенно.
Свистками черни воздух потрясен,
Смешна любовь, и ненависти мало,
Но кто бы знал, что людям тех времен
Благословенья лишь и не хватало.

* * *

Ты помнишь — мост, поставленный над черной,
Неторопливо плещущей водой,
Колокола над шапкой золоченой,
И стойкий очерк башни угловой.
А там, вдали, где небо полосато,
В многоязыком сумрачном огне
Прошла душа над уровнем заката
И не вернулась, прежняя, ко мне.

Когда же ночи темная громада
Всей синевой надавит на стекло —
Прихлынет космос веяньем распада,
И мокрый ветер дышит тяжело.
Но смерти нет. И от суда хранима,
Подобно куще в облачной дали,
В налетах дыма черная равнина
И пятна крови в гаревой пыли.
Пора мне знать: окупится не скоро,
Сверяя счет по суткам и годам,
Полночный труд историка и вора,
Что я живым однажды передам.

Настанет день — и все преобразится,
Зайдется сердце ерзать невпопад,
И будет — март, и светлая водица
Размоет ребра зданий и оград.
И поплывет — путей не разобрать —
Огромный город — мерой не измерить...
Как это близко — умирать и верить,
Как это длится — жить и умирать.

* * *

Согреет лето звезды над землей.
Тяжелый пар вдохнут кусты сирени.
Пора уйти в халтуру с головой,
Наперекор брезгливости и лени.

Над всей землей сияют небеса.
В товарняках колеса перебранки.
Уже по темным насыпям роса
Поит траву и моет полустанки.

И будет плохо, что ни говори,
Бездомным, заключенным и солдатам,
Когда повеет холодом зари
На мир ночной, обласканный закатом.

В неволе у бессовестных бумаг,
Истраченных раденьем человеческим,
Я захочу молиться — просто так —
За тех, кому сейчас укрыться нечем.

* * *

Пока иду на поводу
непонятых событий,
считая новую беду
важнее позабытой,
и эта новая беда,
взывая об участие,
почти не ведает стыда
за маленькое счастье
быть на виду, пока слова
влекут холодным блеском:
душа моя почти мертва
и бредит Достоевским.

Я посещаю мертвый дом
приятеля по школе.
Мы мало спорим, много пьем,
ведь мы почти на воле,
меж нами круглый горизонт,
и в крестике прицела
любой случайный поворот
не изменяет дела.

Хотя бы точку, островок,
недвижимую малость,
как оправдание тревог
и право на усталость,
но все проходит, все течет,
ничуть не изменяясь.
Скажи, с чего начать отсчет?
Я снова повторяюсь.

Далась вам римская цифирь,
Петрополь, Иудея,
когда вокруг такая ширь —
Империя, Расея.
Такая вольная тюрьма,
такое солнце светит.
Молчи, кричи, сходи с ума —
никто и не заметит.
Уйди — никто не позовет,
умри — никто не вспомнит.
Скажи, с чего начать отсчет,
куда нас ветром гонит?
Какой выдумывать мираж,
какой звезде молиться,
пока идет ненужный стаж
слепого очевидца?

И я вступаю в диалог,
я сам себя дурачу,
я изворотлив, словно Бог,
прописанный на даче,
в углу, в немислимой пыли,
не знающей лампы.
Хотя чего уж тут юлить?
Кому все это надо?

Я не пророк, какой мне прок
в бредовом откровенье.
Я твердо вызубрил урок,
но это не спасенье.
Я сам уехал на восток,
в Гоморру из Содома,
но даже этого не смог,
грустил — а как там дома?
Хотя чего уж тут грустить?
А все-таки несладко.

И надо ждать. И надо жить.
И значит, все в порядке.

* * *

.... и с ума не сойду, и уже не сопьюсь,
мне скандальной легенды не надо.
Так чего я боялся? Чего я боюсь?
Для чего, словно вор, заучил наизусть
проходные дворы Ленинграда?

Да и здесь, у Фонтанки, ну что я забыл?
И какой еще надо свободы?
Постою на ветру у чугунных перил,
загляжусь в нефтяные разводы.

То-то радости, Господи, жить-поживать,
это все ж не блокадную пайку жевать,
не тюремной баландой давиться.
Ну а впрочем, не все ли равно? Наплевать.
И не то еще может случиться.

* * *

Матери

Далеко от соленых степей саранчи,
В глухомани, где водятся серые волки,
Вероятно, поныне стоят Баскачи —
Шесть разрозненных изб огородами к Волге.

Лето выдалось скверным на редкость. Дожди
Зарядили. Баркасы на привязи мокли.
Для чего эта малость видна посреди
Прочей памяти, словно сквозь стекла бинокля?

Десять лет погода я подался в бичи,
Карнавальную накипь оседлых сословий,
И трудился в соленых степях саранчи
У законного финиша волжских верховий.

Для чего мне на грубую память пришло
Пасторальное детство в голубенькой майке?
Сколько, Господи, разной воды утекло
С изначальной поры коммунальной Можайки?

Значит, мы умираем, и делу конец.
Просто Волга впадает в Каспийское море.
Всевозможные люди стоят у реки.
Это Волга впадает в Каспийское море.

Все, что с нами случилось — случится опять.
Среди ночи глаза наудачу зажмурю —
Мне исполнится год, а тебе двадцать пять,
Фейерверк сизарей растворится в лазури.

Я найду тебя в комнате, зыбкой сквозь слез,
Где стоял КВН, недоносок прогресса,
Где лупила глаза из-под ливня волос
С репродукции старой святая Инесса.

Я застану тебя за каким-то шитьем.
Под косящим лучом засверкает иголка.
Помнишь, нам довелось прозябать вчетвером
В деревушке с названьем татарского толка?

КВН-овой линзы волшебный кристалл
Синевою нальется. Покажется Волга.
«Ты и впрямь не устала? И я не устал.
Ну, пошли понемногу. Отсюда недолго».

* * *

Друзьям-поэтам

Подступал весенний вечер.
Ветер хлюпал, как причал.
С ближней станции диспетчер
В рупор грубое кричал.
В лужах желтые ботинки
Пачкал модный пешеход.
В чистом небе, как чайнки,
Бился птичий хоровод.

В этот славный вечер длинный,
Праздник неба и земли,
Вдоль по улице старинной
Трое странные прошли.
Первый двигался улиткой,
Усом долог, ростом мал,

Злобной заячьей улыбкой
Небо кроткое пугал.

Рядом с первым неуклюже
Нечто женское брело,
Опрокидывалось в лужи,
В кулаке башмак несло.
Третий зверь, поросший мехом,
Был неряшлив и сутул.
Это он козлиным смехом
Смуглый воздух полоснул.

Трех уродцев мучал насморк —
Так и шмыгали втроем,
Переругиваясь наспех,
Каждый плакал о своем.
Три поэта ждали смерти,
Воду перчили тоской,
За собой на длинной жерди
Флаг тащили шутовской.

Боже! Я дышу неровно,
Глядя в реки и ручьи,
Я люблю беспрекословно
Все творения твои.
Понимаю снег и иней,
Но понять не хватит сил,
Как ты музыкаю синей
Этих троллей наделил!

СТИХИ ИЗ ЦИКЛА
«РАЗГОВОРЫ С БРАТЬЯМИ»

Перевод с польского Н. Горбаневской

ОТЦОВСТВО

Тому что пришел сутулился молчал
не попадал в сигарету огоньком спички
глаза опустил и сказал
прости

у него
сказал и закашлялся
сыновья
и с голыми руками на такую тьму
простите братья

Тому сказать что мы действительно братья
не только во Христе
но и в тревоге перед сгущающейся тьмой

и что детям своим
рахитичным
и внукам
повторит он когда-нибудь свое запоздалое
прости простите
это я для вас о вас

когда они
слепыми зрачками вода по стенам
заживут счастливо как кроты

А впрочем может сказать ему это
все равно что выстрелить в затылок

мир для него размножится
и он исцеливши череп
отречется от братства

Ноябрь 1977

КАТАРСИС

В одном стихотворении
посреди салона и споров об искусстве
упала белая роза

и над нею склонялись в восторге
и понижали голос погружаясь в мгновенье
как в лирический катарсис

Но эти
сегодня
в жару алкоголя и свободы слова
разгулявшейся от стены до стены салона

этим не нужна и роза
достаточно дверь запереть

У них отрастают львиные гривы
с них опадают путы
как с великана шевельнувшего плечом
и даже самый скромный
погляди
как звучит гордо

Те из них
у кого в шкатулках спят серебряные ордена
громогласно ордена презирают

один произнес в озарении
что презрел самого себя

другие
ежедневно жующие соломинку власти
сплюнули ее на ковер
дерзкие и свободные

И так понимают друг друга
как на ложе любви
тело понимает тело:
всем телом

или как сямские братья
стадо сямских братьев:
та же и кровь и плазма
то же эх кабы я

да и небо над ними одно и то же
когда они расходятся выплаканные и чистые
звезды эх брат ты мой
и похмелье
и будень
и руки по швам

Ноябрь 1977

ПАУЗА

Нет Здесь выбора нету Это планета людей
которую ты не выбрал в бесчисленности галактик
Здесь в комочек глины вдохнули твой дух
здесь раздается твой голос и здесь утихнет

Нас уродили здесь одни и те же отцы
один и тот же хомут горбит нам шею
в одной и той же долине под полуночным небом
доставшимся нам не по выбору камень едим и хлеб

Не выбираешь ни знаков которыми запишут
на песчанике хрупком что жил ты от сих — до сих
ни мгновенья в которой затрепещешь поняв
одну единственность жизни что больше уже никогда ---
в которое ты распознаешь что в этой самой паузе
между от сих — до сих вместиться тебе целиком

В той паузе спит младенец ребенок играет с огнем
человек питает любовь ненависть и тревогу
оплакивает ушедших совершает измены
любит родит убивает сходит с ума
прелюбодействует лжет мечтает не хочет и жаждет
кричит молчит и прощает а могильщик берет лопату

Оттуда мы все: несвобода равенство и братство
оттуда мы все: диктатор и палач и жертва
этот усталый в трамвае и этот в мерседесе
тот который предан и тот кто предал его
тот что изранен дубинкой и тот в чьих руках дубинка
Кость от кости братья Здесь выбора нету

Из вечности из-за угла нас созерцает око
в которое даже не веря веришь ужасаясь
и капелька пота стекает по четкам хребта
ты вцепляешься в занавески и воздвигаешь стены
ты говоришь кому-то чему-то что молчит
что молчаньем торопит требует и взывает
ты говоришь не сумею отказываюсь не могу
ты кричишь невозможно у меня выбора нету

Невольники как мы страшимся воли и свободы
единственной данной нам на несвободной земле

так — что чтим произвол как золотого тельца
и бьем поклоны ему и просим освободить нас
от страшной мысли о том, что один у нас выбор был:
стать удобренным правды или идолопоклонства

Декабрь 1977

КОВАЛЬСКА Анка — родилась в 1932 г. в г. Сосновец, окончила факультет польской филологии Люблинского католического университета. Печаталась в Польше с конца 50-х годов. Работала в издательстве «Пакс». Автор романа и нескольких сборников стихов. Член Комитета общественной самозащиты КОР, редактор самиздатского «Информационного бюллетеня».

Условия подписки на журнал «КОНТИНЕНТ»

На 1 год — 40 н. м.; на 6 месяцев — 20 н. м.

Цена одного номера — 12 н. м.

Пересылка за счет подписчика.

Подписка может быть оформлена в генеральном представительстве «Континента» по адресу:

**A. Neimanis · Buchvertrieb
8000 München 40 · Bauerstraße 28 · Germany**

а также у корреспондентов журнала (адреса на второй странице обложки) или у представителей «Ассоциации друзей «Континента»:

**США: Вост. побережье — Э. Штейн (E. Sztein),
7 Miles Ave, Woodbridge, Conn. 06525 USA**

**Мичиган — О. Политис, 3133 No. Wagner
Rd., Ann Arbor, Mich. 48103, USA**

**Генеральное представительство
«КОНТИНЕНТА»**

**A. NEIMANIS BUCHVERTRIEB
8000 München 40 · Bauerstr. 28 · Germany**

Круг рассказчиков

Юрий Милославский

ОМЕЛЬЯШКО

Омельяшко ослеп не сразу: сначала ему были прописаны очки минус четыре с половиной — стекла по краям толще, чем в центре. Пока высчитали, сколько процентов зрения потеряно, — прошло два месяца.

Знаменитый специалист-глазник доктор Фрумина Нонна Борисовна лечила пациентов в клингородке имени академика Гиршмана, но раз в пятнадцать дней консультировала и в санчасти: поликлинике УВД. На первом приеме она сверкала в больные глаза Омельяшки рефлектором-зеркалкой, укрепленным над бровями, приставляла ему поочередно то к правому, то к левому оку стальную линейку-складень, где прорезаны были иллюминаторы, застекленные линзами разной мощности.

Омельяшку пригласили в глазной кабинет: там вела обследование постоянная врачиха, проверяла принимаемых на службу; у кабинета накопилась молодая очередь с белыми разграфленными бланками в открытых пока конвертах; каждая графа бланка заполняется соответствующим врачом... В кабинете зачитывал Омельяшко таблицу. Уже в четвертом ее ряду он принимал «Ы» за «М», «Н» — за «Ы», «Е» за «Б» и так далее.

Между первым и вторым приемом Омельяшко посещал манипуляционную: закапывать в глаза лекарственное средство атропин, и совсем он перестал разбирать напечатанное — газету читать не мог, толь-

ко на память помнил заголовки «Правда» и «Известия».

На втором приеме — в безоконной зашторенной нише — Омеляшко смотрели в зрочки сквозь прибор: укрепленный на штативе аппарат типа бинокля или вставшего на дыбы микроскопа; опять сверкали, но не надбровным отражателем, а при помощи обычной настольной лампы — без абажура и очень сильной, сильнее, чем в помещениях отдела дознания. Ничего не видел Омеляшко — лишь черные блины с красными пузырьчатыми жилками, тошнило его, и стал он весь мокрый, больно гудели кости — черепные, лобные, затылочные; волосы свои ощущал Омеляшко: как они вкалываются, отступают в глубину кожи, назад.

А на третьем приеме — выписали ему очки.

Ни разу в жизни не был Омеляшко в магазине, называемом «Оптика», ни разу не видел, как изготавливают, покупают и продают эти вещи: круглые, почти квадратные, сверху — прямые, снизу — гнутые, из пластмассы на металлической арматуре, просматриваемой напросвет, коричневые, черноватые, желтые, сверху — темные, снизу — светлые рамки, сведенные по-над носом мостком, придержанные у зауший кочережками.

Очки.

Состоящие из оправы, дужек, линз — выпуклых, вогнутых, цилиндрических, то есть с диоптрией.

Узнал Омеляшко, что означает близорукость, что — дальнозоркость, узнал свой собственный диагноз: отслоение сетчатки.

Как это ни казалось теперь Омеляшке странным и глупым, но раньше-то он полагал, что все четырехглазые носят одинаковые очки! а все не так просто. В школе Омеляшко с товарищами называл соучников, носящих очки, — очкариками, профессорами,

даже японскими корреспондентами. В училище ни одного очкастого не было — понятно, почему. На работе — на работе за двадцать лет Омеляшко и двух четырехглазых не встретил: такие были не среди сослуживцев, а среди командования, начальства — причем начальства действительно вышестоящего, почти сомкнутого с портретами на стенах помещений, где некоторые портреты были в очках или даже в пенсне. Да и среди портретов, вывешенных в последние годы, ни одного в очках не было. Поэтому несложно было определить, отграничить в разговорах и рассказах человека, упомянув: «очкарь», «в очках»; приведенному в помещение заметить: «Четыре глаза, а не видел...» В окружении Омеляшки находились люди, страдающие заболеваниями сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта, даже мочеполовой сферы, но с больными глазами?! он — первый. У него — отслоение сетчатки.

Наверное, эту сетчатку он и видел, когда пылание лампы заставило его глаза взглянуть в самих себя: на черном блине — горячая красная пухлая паутина. Сетчатка отслоенная.

Смешно: хорошо попасть на портрет в помещении — хоть в очках, хоть в пенсне, хоть вообще безглазым. Но работать в учреждении по охране общественного порядка — с лицом, переполовиненным пластмассой оправы, поправлять, протирать? как какой-нибудь всранный бухгалтер-счетовод встромяться рубильником в бумаги?! И приведенный в помещение к очкарю относится иначе. А если очки снять, то приведенный виден через отслоенную сетчатку, а вскоре все поле зрения закрывает черным блином...

Однажды поднялся Омеляшко со стула быстро — чтобы запиздячить наглого приведенного, — и сорвались очки с непривычной переносицы: лунку в хрящике не продавило, дужки за ушами не прилежались. Омеляшко пошел в «Оптику» — попросил по-

крепче пригнуть дужки; неделю потерпел и пошел отгибать обратно, прямо изъязвило у него на месте прилегания. Техник Семен держал очки над включенной электроплиткой: отогнет частично — и натывает очки Омеляшке на лицо. Так примерялся Семен несколько раз, пока удалось посадить очки правильно.

Через три недели правая дужка отскочила: винтик выпал. В перекошенных очках шагал Омеляшко по всему отделу — прервал рабочий день, отправился к Семену. Четырехглазая толпа оптических клиентов шипела, когда Омеляшко в темно-синем драповом пальто и в крупной твердой шляпе прошел прямо из торгового зала в мастерскую — там вращались, истекшая охлаждением, розовые с серым точильные жернова, полуупрятанные в жестяные защитные карманы; обрабатывали выпуклые, вогнутые, цилиндрические, чтобы вошли они в оправы.

Омеляшко ждал окончания починки и думал, что это — как с лысиной: замечаешь на встречаемых и знакомых, а за своей башкой не следишь — сколько осталось. А там — мало осталось, причесывать нечего, стричься незачем.

...В камерах УВД переговаривались: «Кто ж тебя так по глазу?..» — «Омеляшко, гидра очкастая! обидно ему, что сам ни хера не видит уже...»

Нонна Борисовна Фрумина сказала Омеляшке, чтобы он старался поменьше напрягать зрение: не читал бы без надобности, не всматривался, особенно при ярком свете. И Омеляшко, придя домой, сразу прикрывал глаза; так обедал, так проводил время до сна. В спальне снимал очки. Без них, очков, не видно точечных чешуек на потолке, мелких потемнений на обоях — все гладкое, без краев, постепенно переходящее одно в другое; приятно. Легко было засыпать: Омеляшко стремился поскорее не видеть — видел он хуже других, а не видел при закрытых глазах со всеми одинаково. Засыпать было легко, но по утрам никак не

привыкал Омеляшко к невозможности сосредоточить взгляд без стекол, совсем не разбирал, как на него смотрят, даже и в очках. Для дома это было практически неважно, но на работе — очень тяжело. Омеляшко громко обращался к приведенным в помещение: «Что ты кривишься?» — или: «Что ты лыбишься?!» Омеляшко запинался на том, что раньше произносил как из пушки: «Я тебя насквозь вижу» — или: «Ты для меня стеклянный»; выученное от ушедшего на пенсию Коли Лукацкого: «Видно птицу по полету, доброго молодца — по соплям». Птица — ладно, а вот сопли надо замечать! Омеляшко ухватил наглого приведенного за нос, ущемил, а нос же был весь сопливый; выпачкал пальцы, и хоть вытер их о сорочку приведенного, было противно и обидно.

Не то что бы времяпровождение Омеляшки изменилось — сам он, с отслоенной сетчаткой, жил иначе. Например, не должен производить резких движений. А за...двигать? резкое движение! И чуть не плача от ненависти к наглым, от страха, что может себе неоправимо повредить, — напрягал Омеляшко шею, чтобы не дергать головой, не сотрясать больную сетчатку: «Не выводи меня, сволочь, я из-за тебя зрение потеряю!»

Перед началом лета техник Семен достал Омеляшке немецкие темные стекла за пять рублей. Их вставили в чехословацкую красивую оправу, и Омеляшко начал пользоваться очками, похожими на обычные солнечные. Летом — естественно. Хотя Омеляшко не любил, когда ходили в темных очках, считая это фраерством; несколько раз сшибал такие очки с наглых на улице: «На пляже будешь так ходить!» — не говоря уже о приведенных в помещение.

Сразу после отпуска Омеляшко пошел на прием. Его проверили: опять по таблице, осматривали, исследовали — и выписали новые стекла минус семь с половиной. А такие: темные не продавались, не им-

портировались — пришлось вставить в чехословацкую оправу обычные. По совету доктора Фруминой, Омеляшко приобрел противосолнечные целлулоидные наставки. К октябрьским праздникам опять сменили линзы — на одиннадцать с половиной. Омеляшке передали, что где-то в Украинской ССР есть доктор Ниренберг, который изобрел маленькие очки без оправы, вставляющиеся прямо в глаза, под веки; их совершенно не видно, потому к Ниренбергу едут артисты. Но самое важное, что эти очки гораздо более чувствительны, поскольку находятся непосредственно в глазу. Жена Омеляшки написала родственникам в Донецк. Но все поиски были как-то замедленны: доктор Фрумина о новаторе не знала, донецкие родственники — тоже; возможно, была помещена статья в «Здоровье»... К середине зимы Омеляшко по служебным каналам узнал, что Ниренберг отказывался передать свое изобретение государству, брал с пациентов большие деньги, а стекла зачастую делал негодные: несколько человек поранили глаза и ослепли. После чего Ниренберг был арестован, осужден на пять лет как за занятие запрещенными промыслами в особо крупных размерах — или что там такое обнаружилось, только стекла вставлять в глаза людям больше некому.

Из отдела дознания Омеляшку перевели в отдел охраны: по обеспечению руководства надзорсоставом на небольших бытовых спецстройках. Омеляшко еще носил свои — с одиннадцатикратным угибом, — однако и этого было ему недостаточно.

* * *

Широкие каштаны росли во дворе возле дома, занимая большое пространство. Деревья были так цветны, наполненны, многослойны и внутренне прохладны, что на много метров вокруг истинно меняли

погоду, а не просто давали тень. В сосредоточии каштанов стояла скамейка, где сидел слепой Омеляшко.

Омеляшко — одетый в бланжевую тенниску из трикотажа и в тяжеловатый бурый костюм поверх. Не отличая более пасмурный день от ясного, зная лишь по сказанному — что на улице, Омеляшко не чуял жары. Он отличал теперь только противоположности: скажем, зиму от лета, полдень от полуночи. Выяснилось, что главным для Омеляшки было видеть — не на язык, не на ноздри, не на пальцы, а на глаз понимал Омеляшко, на глаз мог оценить, определить, разобраться. Все остальное подтверждало, поддакивало глазам, но само по себе как и не жило.

Ежели бы в доме у Омеляшки находились не жена с дочкой — добрые и заботливые, — а свирепые сторонние шутники, они смогли бы предложить Омеляшке к чаю соль вместо сахара — и Омеляшко выпил бы свою порцию, не зная, чем она заправлена. Сахар должен быть в светлой хрустальной сахарнице, украшенной серебряными травками, соль — в одной из трех солонок: кухонной деревянной, столовой — фаянсовой с дырочками, парадной — позолоченной в комплекте с ложечкой. Сахар: прессованные кирпичики, соль: кристаллический порошок; сахар-песок обычно желтоватее соли; невидимые сахар и соль — есть бессмысленный прах, брошенный в воду-чай и там растворившийся; сахар-соль, соль-сахар, сахар-соль...

Когда читали Омеляшке вслух либо включали ему радио — он даже не слышал, не понимал, не представляя слов без вида букв на бумаге, без подсвеченных цифр и полосок на указателе волн у приемника; телевизор его тревожил и злил, так как Омеляшка не связывал какие-то рокоты, скрипы и постукивания передачи с ее же словесным сопровождением — ибо звук отслоился для него от речи, не соединенный более с нею видимым движением.

Жену и дочь выделял Омеляшко из бездны. Дочь — по молочному пару тихой груди, жену — по луковичной шелковистости ладоней.

Будь слепота Омеляшки безначальным и бесконечным зребом — он успокоился бы и заснул, но в том-то и дело, что Омеляшко нечто видел: вот, например, открывая квартирную дверь, он усматривал ступеньки, лестницу, но где они точно поднимаются, как ступить на них, насколько подогнуть ногу, когда опустить ее, этого он не знал — и двух шагов не мог сделать без находящейся рядом жены. Другой ему не помогал; Омеляшко верил только домашним, остальных в провожатые не допускал, и оттого спотыкался на ровном месте, буде кто-либо желал услужить ему.

С клюкой, как другие слепцы, он не перемещался — колебания, исходящие от клюки при соприкосновении ее с предметами, ничего ему не сообщали. Очки он было забросил, но так как плоть его глаз привыкла к защите, Омеляшко чувствовал себя без очков как бы недоодетым, зябким — и стал носить очки с простыми черными стеклами: вроде тех черных блинов, что загораживали ему зрение, когда сетчатка его не полностью отслоилась.

Выведенный женою во двор и оставленный ею на минуту — она подбежала обратно в квартиру отозваться на телефонный звонок: Омеляшки жили на втором этаже, — он нетвердо стоял на самой границе каштановой посадки.

— Ну, пошли, — сказал я и прихватил Омеляшку под локоть.

Омеляшко молча увел руку.

— Пошли, пошли, — настаивал я. — Чего ты? идем — сядем.

Омеляшко схватил меня за рукав куртки: профессионально, так что трудно мне было крутнуться и вырваться.

— Куда это — «пошли»? А? Куда это ты там — «пошли»? Пошли, да?! Ну, пошли! — и Омеляшко все крепче притягивал меня, наворачивал мои рукава на пальцы, сближающиеся в кулаки. Лицо Омеляшки было направлено несколько вверх и в сторону от моего лба, но, словно радаром, он постепенно обнаруживал черными кругами мои глаза.

— Ты что, сосед? Я тебя хотел на скамейку проводить...

— На скамейку? На скамейку, да?! На скамейку, блядь такая, проводить?! Я к тебе обращался? Я к тебе обращался, да?! Пристаешь к гражданам. Пьяный, да?! Нападение на сотрудников!

Изо всех сил я откачнулся, высвобождаясь от умелого прихвата Омеляшки, притом — стараясь не столкнуть его, не подзадеть, чтобы претензии Омеляшки получились необоснованными. Его руки соскользнули, упустив жесткую и гладкую материю куртки, — и верно задержались на брючном ремне. Я ударил Омеляшку в грудь тычком, отлепился — и бросился бежать; бег мой замедляла безнадежность и бесполезность — опознает и поймают. Выскочив из переулка, я застопорил — поводя головой, прикидывая: куда? Вспомнил, что Омеляшко — слепой.

Обогнув наш небольшой шестнадцатиквартирный домик, я затаился за его торцом. Омеляшко сидел на скамейке под каштанами. Рядом сидела его жена; столь же недвижимо. Солнечный прокол через листву обозначил на плече Омеляшки световой зубец.

Стараясь не ступить на трескучие старые щепки, приметенные к стене дома, я двинулся в сторону подъезда. Я был опрокинут в раскаленную колокольную пустоту боязни — той самой боязни, от которой гадят в штаны.

Омеляшко меня не заметил.

ЧЕЛОВЕК ИЗ ВОХР

Он сказал, что не пропустит меня. Я сделал шаг вперед, он встал из-за своей конторки, в полсекунды опередил меня и очень спокойно повторил:

— Нельзя.

— Почему?

Он смотрел на меня в упор, спокойно, без раздражения. Так смотрят люди, которые удивляются не тому, что правила нарушаются, а тому, что их могут соблюсти без принуждения или хотя бы без присмотра.

— Почему? — спросил я опять.

Он смотрел на меня по-прежнему в упор, но теперь он явно раздумывал, оттолкнуть ли меня просто, взять ли за руку, чтобы выдворить, как выдворяют назойливых детей, или, прежде чем выдворить, объяснить все-таки, почему именно нельзя.

Сначала я уводил глаза в сторону, то влево, то вправо, но, когда мне показалось, что еще секунда и он возьмет меня за руку, чтобы выставить за дверь, я остановил свои глаза. Теперь наши зрачки держались на двух жестких осях.

— Шестнадцать часов, — сказал он. — Конец рабочего дня.

— Звонка еще не было.

Он поднял левую руку, оттянул рукав гимнастерки, из тех, что носят пожарники, с синими петлицами, и, держа перед собою левую руку, правую протянул к звонку. Я поднял свою тоже и стал следить за часами. Через двенадцать секунд он нажал кнопку. Звонок дребезжал неистово, истерически, негодуя на людей, которые недостаточно быстро оставляют свои рабочие места.

— За двенадцать секунд, — сказал он сочувственно, — нельзя подняться на третий этаж.

— Можно, — возразил я.

— На третий? Нельзя. У нас высокие этажи.

У него были скорбные глаза: перед ним стоял человек, который в самом деле не понимал, что на третий этаж нельзя взбежать за двенадцать секунд. К тому же этот человек не учитывал, что понадобится еще время на то, чтобы пересечь лестничную площадку и пройти в зал, где сидят архитекторы.

Мы стояли друг перед другом молча — он сказал уже все, я искал нужные слова. И он терпеливо ждал моих возражений, чтобы еще раз показать всю нелепость и вздорность моих притязаний. По-моему, он приготовил даже ответ на довод, который только еще начал созревать в моей голове.

— Послушайте, но я бываю здесь почти ежедневно, и меня никогда не задерживают.

Он улыбнулся и сказал:

— Я здесь новый человек и отвечать за прежние беспорядки не могу.

— Почему беспорядки? Просто здесь сидели обыкновенные, разумные люди.

— Не знаю, кто здесь сидел, — сказал он вдруг жестко, с осуждением, истинные размеры которого зависят исключительно от интонации. — Может быть, здесь сидели обыкновенные, разумные люди. Не знаю, может быть. Я попрошу вас отступить на два шага. Нет, не сюда, а сюда. Да, сюда.

На цементном полу, через всю площадку, были проведены две полосы — красная и синяя, сначала красная, затем, снаружи, синяя. Когда я отступил за синюю, он сказал удовлетворенно: да, сюда. Потом он встал на черту, осмотрел мои ноги, дважды склонив голову вправо, и вдруг очень решительно, очень быстро пошел к своей конторке. Когда он уселся на стул и взял лезвие, чтобы очинить карандаш, я

еще раз осмотрел свои ноги. Не целиком ноги, а только ступни. Каблуки были сомкнуты, носки врозь, раствор равнялся трем четвертям ступни. Достаточно было, даже мысленно, соединить три точки — каблуки, сомкнутые в одно целое, и два носка, — чтобы почувствовать под собою идеальный равносторонний треугольник.

Не знаю, в чем дело, но мне это понравилось. Возможно, это было просто почтение к геометрической строгости и целесообразности — давнее, со школьной еще скамьи.

Потом я заметил, что носки мои — оба носка — удалены, каждый, миллиметров на пятнадцать от синей черты. Сперва, впрочем, мне показалось, что первый отставлен на миллиметр-полтора дальше, но, присмотревшись, я убедился, что ошибаюсь. Я даже установил, отчего именно произошла ошибка: рант правой туфли был загнут кверху круче, чем рант левой.

Теперь у меня не стало ни беспокойства, ни раздражения — я уверенно смотрел на человека, сидящего за конторкой, и ожидал, что вот сейчас, с секунды на секунду, он поднимет голову, еще раз осмотрит меня и одобрит — кивком, улыбкой или просто хлопнет по плечу: молодец, ты, мол, сукин сын, понимаешь дело!

Но человек за конторкой был занят и не замечал меня. Очинив карандаш, он осмотрел его со всех сторон, раза два-три подправил конус грифеля лезвием, провел на бумаге несколько пробных линий и снова подправил грифель лезвием. Затем он взял резинку, которая лежала перед ним, и перенес ее вправо. Точное место для резинки он нашел не сразу, но пространственно колебания его ограничились кругом с радиусом сантиметра всего в три-четыре, не больше. Да и то, я думаю, это объяснялось исключительно тем, что он еще недостаточно освоился со здешней конторкой.

Линейку он положил справа от резинки, так что верхняя ее кромка составила естественное продолжение наружной, относительно него, стороны резинки. В какое-то мгновение мне показалось, что он хочет подправить положение линейки, и я подался вперед, чтобы предостеречь его от ложного шага, но, прижавшись к спинке стула, он смотрел на линейку уже спокойно и уверенно, может быть, даже благодушно, если под благодушием иметь в виду истинное равновесие духа.

Теперь ему предстояло взяться за тетрадь. Пожалуй, он промедлил лишнюю секунду. Если не целую, то полсекунды наверняка — за это я готов поручиться головой. По-моему, он и сам почувствовал это — во всяком случае, тени, которые внезапно проступили у него на переносице, у стыка бровей, и в углах рта, не могли иметь никакой иной причины, кроме досады его на себя.

Раскрыв тетрадь, он отогнул скрепки и осторожно, чтобы не увеличить отверстий, снял двойной лист. Затем он загнул скрепки концами внутрь, как было вначале, закрыл тетрадь, отодвинул ее влево, подальше, чтобы не задевать ее локтем при работе, и взял только что приготовленный двойной лист бумаги. Складывая лист вдвое, по первому впечатлению, он не прочь был воспользоваться прежней, из тетради еще, линией сгиба. Но, едва перегнув лист, он убедился, что совместить углы при этом никак невозможно, и, укоризненно покачав головой, стал намечать новую линию сгиба — по предварительно совмещенным углам. Лист топорщился, неравномерно вздуваясь у старой линии сгиба; он аккуратно, терпеливо расправлял его, затем, после тщательного осмотра, положил лист на конторку, прижал его по совмещенным сторонам и углам линейкой, на которую встали, как ножки циркуля, два пальца левой руки — большой и указательный, — а правой рукой, ладонью, стал поглаживать

лист. Наконец, когда новая линия сгиба приобрела достаточную четкость, он прошелся по ней несколько раз кряду ногтем большого пальца.

Когда он поднял лист, чтобы осмотреть его и с другой стороны — той, которая была обращена к столу и оставалась невидимой, — я поразился: по всей линии сгиба не было ни малейших признаков ряби. Мне хотелось выразить ему свое восхищение, но какое-то чувство, очень властное, очень категорическое, требовало от меня выдержки и корректности. Странно, однако я совершенно определенно сознавал — именно корректности. В цирке, когда выполняется очень опасный номер под куполом, у меня бывает чувство вроде этого, и я до боли в затылке и висках негодую на людей, которым их собственные восторги и аплодисменты дороже мужественных усилий акробатов. Я понимаю, это сопоставление воздушных акробатов и человека за конторкой может вызвать нарекания — может, но только со стороны тех, кто не дал себе труда правильно понять меня: я говорю лишь о ничтожной ценности наших восторгов сравнительно с достижениями, которым они адресованы.

Взяв двумя пальцами лезвие, он осторожно пропустил его внутрь сложенного пополам листа и медленно, плавно стал продвигать его вдоль сгиба. Только однажды он остановился — видимо, у него возникло опасение, что лезвие уходит в сторону. Приподняв лист, он убедился, что оснований для тревоги нет, и тогда уже быстро, раза в два быстрее, чем до этого, повел лезвие вдоль сгиба.

Два новых листа были совершенно одинаковы. Но он предпочел все-таки детально осмотреть каждый из них, чтобы не упрекать себя впоследствии за неуместную поспешность. В такой ситуации решения даются не легко — из двух равных выбрать преднамеренно то или другое невозможно, здесь нужно действовать наугад, не раздумывая!

Мне хотелось сказать ему: «Возьмите верхний, у него то преимущество, что он верхний и его проще снять». Однако в это время он повернул плоскость на сто восемьдесят градусов, и теперь тот, что прежде был нижним, оказался наверху, а верхний — снизу. Не было ли это откликом на совет, который я хотел ему дать? Возможно; во всяком случае, трудно представить себе более убедительное и наглядное обнажение призрачной вескости моего совета.

Разведя обе руки, он держал перед собою листы уже врозь. Это длилось не больше секунды — вдруг он очень решительно отвел левую руку в сторону и почти одновременно с этим опустил против своей груди правую. Несомненно, он нашел самое точное и разумное решение — в противном случае, ему пришлось бы отложить ненужный лист вправо, и этот лист непременно накрыл бы карандаш, линейку и резинку, то есть все нужные ему для работы принадлежности!

Линейка была у него тридцатисантиметровая, металлическая, завода имени Воскова, ГОСТ 427-56, с отверстием в правом углу, для крючка. Отсчитав пять клеток сверху, он положил линейку на лист так, что оба конца ее одинаково выступали за боковые края листа. И в дальнейшем, всякий раз опускаясь на три клетки, он тщательно следил за тем, чтобы симметрия не нарушалась. Разумеется, на качестве чертежа это никак не сказывалось, но тем не менее я совершенно отчетливо сознавал, что всё должно быть именно так, а не иначе. Возможно, здесь обнаруживало себя то естественное ощущение *д о л ж н о г о*, которое в другом случае подсказывает мне, что пуговицы на данном костюме или мундире опущены, подняты или отставлены в сторону на два миллиметра больше, чем следует. Почему именно два миллиметра? Не знаю — поэтому здесь и уместно говорить лишь о естественном ощущении *д о л ж н о г о*. Почему мне

нравится прямой или вздернутый нос и не нравится длинный, крючком? Потому что длинный, крючком, не нравится, а прямой и вздернутый нравится — разве я должен оправдываться в этих своих вкусах и приверженностях? И, наконец, разве естественное нуждается в оправданиях!

Машинально, совершенно машинально я бросил взгляд на свои ступни — пятки чуть-чуть разомкнулись, а зазор между носками, напротив, сократился с трех четвертей до двух третьих. Чёрт возьми, мне было очень неприятно видеть это, тем более, что я ступил еще и на синюю черту, хотя последнее нарушение — то, что я оказался на синей черте, — было прямым следствием предыдущих — разомкнутости пяток и, соответственно, сближения носков.

Я привел в порядок носки, пятки и еще раз проверил направление рук. Руки мои были безупречны — возможно, это и не повод для восхищения, но не почувствовать удовлетворения я не мог: господи, ведь наши руки обычно еще болтливее языка!

Я не знаю, заметил ли он это мое шевеление и — что еще важнее — если заметил, то дал ли правильное объяснение. Мне мучительно хотелось спросить у него, всё ли я сделал, как надо, но тут же я понял, что это хотение мое шло исключительно от тщеславия: пусть еще, еще раз пусть похвалят меня!

Одолев этот приступ убогого тщеславия, я уже не думал о себе. А он, он думал обо мне? Едва ли — у него было свое дело, и оно требовало человека целиком.

Расчертив лист — слева один столбец шириной в сорок пять миллиметров, девять клеток, справа пятнадцатимиллиметровые, три клетки, — он выпрямился, уложив кисти на конторку, и с минуту глядел на этот лист сосредоточенно, переживая, должно быть, тягостный момент эмоциональной заторможенности: вроде бы налицо все основания спокойно, уверенно

улыбаться, а вместе с тем... Вот именно: а вместе с тем! Откуда оно, это загадочное самоограничение?

Наконец, он улыбнулся и чуть-чуть опустил подбородок — мышцы нижней челюсти утратили напряженность, какая бывает при стиснутых зубах. У меня опять появилось дурацкое желание выразить вслух свой восторг. Нет, мне вовсе не хотелось объяснять ему, как тонко и глубоко его проникновение в душу обыкновенной карандашной линии, мне просто хотелось восклицать, пользуясь, как дети, одними междометиями.

Однако тридцатилетний человек не ребенок — я сумел сдержать себя, и приглушенный вздох был лишь бледной тенью той бури, которая бушевала во мне. Возможно, я ошибаюсь, но мне показалось, что он услышал мой вздох, — во всяком случае, на мгновение он застыл, как будто ожидал повторения уже раздавшегося однажды звука. Новый выдох нещадно распирает мою грудь, гортань и полость рта. Вырвавшись наружу, он свел бы на нет здешнюю деловую тишину, и я чудовищным усилием взнуздal выдох, пропуская воздух минимальными порциями через нос.

— Так, — сказал он решительно, возвращая линейку на прежнее место, справа, где лежала резинка. — Так.

В руке у него оставался только карандаш, он осмотрел его и трижды коснулся лезвием — больше для порядка, чем по необходимости, потому что завершен был важный цикл работ. Подтянув расчерченный лист правым углом кверху, чтобы удобнее было писать, он уложил правую руку, кистью и половиной предплечья, на конторку, а вслед за ней — левую, всем предплечьем, от концов распрямленных пальцев до локтевого сгиба.

Писал он уверенно, неторопливо, но не было в этой его неторопливости ничего от раздражающей медлительности. В верхней строке, посередине, разместилось только одно слово — Т А Б Е Л Ь, — а

под ним; буквами в одну вторую верхних, остальные: выхода и невыхода на дежурство личного состава ВОХР по «Гипрограду» на март месяц.

Затем, после секундной паузы, он перебрался в столбец для фамилий и быстро, значительно быстрее, чем накануне, стал заполнять прямоугольники: фамилия, имя, отчество. Отчество — только инициалом или двумя-тремя буквами, как позволяло место.

Заполненный столбец он не рассматривал, а тут же, без промедления занялся квадратами — три клетки на три. Сначала в квадраты, по диагонали, он вписывал только ключи от городских ворот, уменьшенные раз в десять. Странно, однако эти ключи, отдаленно напомилавшие обозначения шахматных фигур в сборнике этюдов и задач, давали ощущение совершенно реальной физической тяжести. Не могу понять, как он достиг этого, пользуясь одним, без перемены, карандашом! За каждым квадратом с ключом следовал свободный, еще не заполненный квадрат. Прежде чем взяться за них, он вычертил в воздухе эллипс, прямоугольник и угол, поставленный вершиной на прямоугольнике. Вслед за этим он уверенно и неторопливо, как полминутой раньше ключами, принялся заполнять каждый свободный квадрат прямоугольником со вписанным в него эллипсом и углом, поставленным на него вершиной. Вершина крепилась на вертикальной оси симметрии эллипса в точке ее пересечения со стороной прямоугольника.

Фигура эта, решенная с предельной четкостью и простотой, поначалу, тем не менее, озадачила меня, и я никак не мог найти ее реального предметного прототипа. Точнее, прототипов было чересчур много, и ни одному из них нельзя было отдать предпочтения. Однако едва он ограничил стороны углов — у первого еще, самого первого! — крошечными, как металлические опилки, шариками, меня осенило: Господи,

да ведь это — телевизор! Телевизор с телескопической комнатной антенной.

Теперь карандаш его висел над свободным полем под графиком: это место предназначалось, видимо, для расшифровки условных обозначений. Откровенно говоря, я не видел серьезной надобности в расшифровке, потому что символы, найденные им, лишены были всякой двусмысленности. Однако, когда он, решительно переведя карандаш к первой строке, положил ключ поверх штыка, крест-на-крест, я понял — впервые, должно быть, в своей жизни, нутром понял, — что, как ни совершенна однозначность, она может быть еще совершеннее.

Но даже эта счастливая находка, мне кажется, не сразу избавила его от беспокойства и сомнений. «Послушайте, — хотелось мне крикнуть ему, — не тираňte себя! Совершенство не терпит излишеств, а ваши эмблемы — совершенство. Если же, паче чаяния, кто-либо из ваших людей истолкует эти эмблемы превратно — безразлично, от недомыслия или избытка воображения, — то наверняка такому человеку не место в ВОХР».

Он улыбнулся — радостно, свободно, не скрывая облегчения.

— Товарищ, — сказал он мне, — вы, конечно, еще не масса, не машина в целом...

— Винтик, — сказал я, — один винтик.

— ... но к вашему мнению, товарищ, — ах, какие лучистые глаза у него! — я обязан прислушаться.

Он подошел ко мне и секунд десять глядел на меня в упор — нет, теперь мои глаза не бегали. Не бегали.

— Да, — сказал он, — это не может быть непонятно: ключ и штык — боевой пост, а телевизор...

— ... отдых, свободный от дежурства день, — спешно закончил я.

— Мне казалось, — произнес он задумчиво, — это несколько отвлеченно.

— Отвлеченно? — изумился я. — Да это же сама реальность, вот, как ваш стул, чернильница и этот стенд с фотографиями.

Когда я перечислял предметы, он оборачивался и секунду-другую задерживался на них взглядом: предметы были привычные, но, должно быть, он увидел в них что-то такое, чего прежде не замечал, и улыбнулся доброй улыбкой очень доброго человека, который приподнял с полу ребенка, чтобы приласкать его.

— Товарищ, — сказал он вдруг, — вы чересчур долго ждете. Это нехорошо. Там, наверное, собрание — оно может затянуться. Скажите, кто вам нужен, я вызову его.

— Мне совестно утруждать вас — я сам подумаю. И к тому же пост...

— Нет, — возразил он жестко, — туда нельзя: там чертежи.

Я сказал, что во дворе стоит ящик, куда сбрасываются чертежи после того, как их перевели на синьку. Дети пускают эту бумагу на змея.

— Товарищ, — повторил он жестко, — туда нельзя: там чертежи. Чтобы подняться наверх, мне надо запереть дверь. Прошу вас выйти. Если будут стучать, объясните, что я у архитекторов и сейчас вернусь.

Он подошел к конторке, выдвинул ящик справа, взял ключ, затем задвинул ящик, запер его, погасил настольную лампу и повернулся ко мне. Я сделал шаг назад, я бы сделал еще второй, третий, четвертый — в общем, сколько надо, — но на третьем этаже в это время хлопнула дверь, поднялся, стремительно нарастая, гул, и в следующее мгновение этот гул, перемешанный с цоканьем стальных каблучков и тяжелым мужским топотом, покатился вниз.

— Кончилось собрание, — сказал я.

Он не ответил — он не видел и не слышал меня. Лицо его странно посерело, а тени, которые легли у

стыка бровей и в углах рта, были черные, припорошенные по краям синькой.

Подойдя ко мне почти вплотную, он сказал хриплым голосом:

— Вы слышите?

— Да, — кивнул я, — слышу. Не огорчайтесь: люди устали — им нужно размяться.

— Размяться, — повторил он шепотом.

Коридор был узкий и пробегавшие задевали меня с обеих сторон — слева и справа.

— Размяться, — прошептал он снова.

Потом меня хлопнули по заду и, ухватив за плечо, повернули к нему спиной. Поворачиваясь, я увидел, как он вздрогнул и отшатнулся, точно от удара по темени. Я хотел сказать ему: «Не надо стоять здесь — пройдите за конторку», — но меня потянули уже к выходу. Кричать из-за дверей было бессмысленно — он все равно не мог услышать меня.

ЛЬВОВ Аркадий — закончил Одесский университет. Работал в средней школе учителем литературы и истории. В СССР опубликовал шесть книг рассказов и более двухсот очерков и статей в периодической печати. В настоящее время живет в Нью-Йорке.

ЗЕРНО

— Не человек он, а — утюг, настоящий утюг. — Так думала Круглая, глядя, как зять поднимает толстенный зад все выше, но так и не может сползти с грузовика. — Что люди скажут? Срам. А — сами сволочи.

Стоящую у изгороди старуху называли Круглой.

Она берегла только необходимое, да и то не по праздникам. Ее так прозвал — Круглой — первый муж. Миролюбиво и даже с любовью... он иначе и не мог. Потом только, после войны, соседи, ближние, затем из дома в дом до конца деревни, захотели погани в ее мете. А муж, дурак, прости Господи, не понимал цену сушей нужде, не то что рублю. Ему бы все улыбку у кого вызвать. А на охоту ходил — все пустым возвращался. А... тут и акать не приходится... зверье жалел, не детей. Потом говорил мягко, будто босиком по песку ходил, что, мол, чаго, чаго угошенье не несешь, вишь Костя, Санька жрать хотят.

Стервецы. Стервец, прости Господи. На войне-то немца убивал. Писал, что грудь в орденах. Потом писал, что в руку ранили. Потом ничего не писал. Потом прислали бумагу, что помер. А потом и «потом» не стало, только осталась в Круглой вера, что муж был сволочью и потому не погиб... обменялся с настоящим покойником документами и ушел к другой, новую семью завел, в новом доме живет, других своих детей кормит... многие так делали. И он. Гад, прости Господи. А может, все-таки нет его? Она все материт, а его давно нет, да еще давно нет в чужой земле? Но она-то, Фроська, осталась ведь с его легкой руки Круглой. Прости, Господи.

Зять наконец сплюхнулся. Рожа! Подумаешь, денег у него невпроворот. Видали таких.

— Ну, здравствуй, Сергей.

Он долго просил, чтобы теща ему тыкала. Сергей искренне пытался восхищаться этой деревенской старухой.

Ее лицо, казалось, жило шрамами-морщинами, и Сергею Волгину часто хотелось узнать, чему соответствует каждая складка — они были слишком обрывистыми для простого отражения старости. Но иногда бусинные глаза старухи загорались такой неукротимой жадной чего-то — «жадностью», определял Сергей, — что любопытство в нем менялось брезгливым недоброежелательством. Вот и сейчас:

— Добрый день, Евфросинья Матвеевна. Хороша осень, а? Ну что, уточкой в яблоках угощать будете?

— Нельзя, милоч. Нельзя резать, пока ледку-то не поклюет.

— Да я заплачу, не сомневайтесь.

— Раз так.

Приехал, толстозадый. Умнее всех хочет быть... с яблоками. Еще заплачешь!

Дочь не раз пыталась объяснить работу мужа, и Круглая поняла главное: он сидит за столом, и ему подчиняются многие. Этого было достаточно. Начальству нельзя перечить, неразумно, как развести огород у водопоя. Когда-то люди пытались ему, начальству, объяснить, что рано сеять, вот теперь надо жать, — только поглядело глазами, хуже чем мертвыми. С каждым неурожаем менялся в деревне шедший к начальству тайный смех, он даже бывал похож на звук совсем порванной гармонии. Когда кончалась соседка, тоже Фрося, она вот так и хохотала, пока воздух жизни из нее не ушел, и старики, которые были рядом, уверяли, что Фроська до конца от ума своего не отошла.

Так продолжалось долго, не меняясь. Люди мерли, но и оставались почему-то в живых. Было ли это чудом? Круглая не верила. Умирили те, кто не был против, а то, что их было много, — дело хозяйское и души. Отвращением к жизни Круглая никогда не болела, дралась с ней и опухшими пальцами, деснами. К начальству не испытывала, даже когда зарывала зимой своих, ни капли чувств. Земля не поддавалась, а силы уходили быстрее, чем всегда. Но выдолбила же. Так было и будет. Да и какое могло быть чувство? Люди становились мухами зелеными, особенно поздней осенью, а начальство упорно продолжало, не замечая жизни и смерти, сеять и жать, когда не надо. Такое не может делать человек, пусть самый старательно злой и угрюмый. И не дурью то было и даже не черным делом: начальство лекции читало, а после само на распыл уходило — за этот самый неурожай, а новое вновь делало неделаемое.

Нельзя любить или не любить нечеловеческое. Но в Круглой все же существовало как бы само по себе Оно-непонятное, которое отвечало Тому-непонятному.

Когда сынок председателя разбился на своем колесном дьяволе и прибежавшие бабы окружили его, всего в столах своих, Круглая почувствовала такую сильно бьющуюся в животе радость, будто... Не нашлось с чем сравнить — а искала после, пока не забыла. Но в ней тогда была и горечь могильного цвета. Уходил с этого света председательский сынок, но продолжал быть окружен защитой незримой, нечеловеческой той силы, которая земле рожать не давала. Будь сила послабее чуточку — разлилось бы Оно-непонятное без удержу, взорвалось бы, сокрушило, разорвало все, что до горизонта. А так, что ж, помолчали долго бабы, да и вяло заголосили.

Волгину стало неприятно от ярко-цепкого взгляда тещи, будто он уже приманивал из бумажника чет-

вертак. Сергей каждый раз ехал в деревню, ожидая нужного отдыха. Отбывал же всегда с тяжелым противным сомнением ко всему, будто неотчищаемой грязью полили. Ему, молодому начальнику заводской лаборатории, хотелось природно любить свой народ, знать его великим не нагнетением в себя повторяемых ныне слов, а волею увиденного.

Воняло пищей, заготовленной для птицы. Собака во дворе была маленьким бешеным зверем, никогда не кормленным, с красными глазами упыря. Только страх быть посаженной на цепь и лишиться воды заставлял ее не бросаться на кур, знающих собачье бессилие. У окна сидела старуха и подслащивала сахаром рот. Люди-родственники ходили по улице, не здороваясь, и Сергею казалось, что делали они это искренне. Им было неизвестно чистейшее лицемерие — вежливость.

Деревня была похожа на вытянутый скорбный палец. Подвыпив, можно было ощутить под ногами ее больное дыхание. Протекающая мимо речка не издавала ни одного звука, в нее и плюнуть было страшно. Но свежестроенный универмаг был еще более жуток своей пустотой — будто перестал быть нужен всему живому. Сергей сказал об этом жене.

— Так ведь ничего не подбрасывают.

— Ну и что. Тем более должны быть очереди. Это ненормально.

Волгин как-то подумал, что никогда не слышал в деревне ни одного анекдота, и решил окончательно, что населенному пункту приходит конец. Когда люди ни за, ни против — это уже эпилог.

— Сам ты эпилог. Человек не колба, встряхнешь, а все равно ничего не увидишь.

Он отмахнулся от жены — себя защищает. Что и говорить, много у нас неправильно, но все равно ведь

так нельзя. И на заводе бардак, но там все-таки продукцию выпускают, план выполняют, деньги выколачивают. А я что, не стараюсь? А тут не хотят работать, хоть тресни. Им же в первую очередь хуже. Живут хуже башкир, на нет совсем сходят. Черт с ними!

Только близкий лес его радовал, веселый, грибной. Волгин ложился под дерево и забывал на час о своей кандидатской, о барахлившем карбюраторе и о многом другом, что делало его человеком. Он потягивался, хрустел костями, по-мальчишески медленно закрывал глаза, глядел сквозь щели ресниц на таинственную желтизну мира, улыбался так, как никогда не может делать человек, видящий свое отражение.

Затем вставал и шел к ним, к людям, скованным стадной судорогой лени и страха.

Круглая не любила конфет. И не цена запрещала удовольствие, а укромяная, но цепкая память. Не выдуманные сладости, а сахар питал сны ее детства. Отец иногда приносил кусок в тряпочке. Начинался рай и ад: сахар счастьем растекался в груди, но с такой быстротой, что пальцы и губы с мукой начинали ловить пустоту. Только вот с недавних пор, годов этак двадцать, как она вытаскивает из коробки белую плиточку, зная, что сразу возьмет другую. Пока сахар таял, ладонь, не спросясь, поднималась к подбородку на случай, если крошка выпадет из беззубого рта, чего никогда не случалось.

У Круглой было спрятано денег на три дома, но уверенности в будущем не было. Она хотела верить во всеислие денег, но знала по опыту их беспомощность. Захочет власть, не будет их, ничего не будет. Даже коровы.

Круглая неожиданно для себя замотала головой. Чувство было подобно отточенной мысли: будут люди и коровы. Она помнила, как плакала в последний раз. Смотрела тогда, как Скока, дергая ногой, разорванной собаками, пыталась обглодать пенек. А Фрось-

ка мечтала изо всех сил стать кормом, превратить хоть руку левую в отруби. Корова подохла, и ни за какие деньги на свете нельзя было достать ей жизни. Настоящий страх—это когда люди к нему привыкают и видят только через него, что происходит и как надо действовать. Настоящее всегда особое. Сколько живет Евфросинья, столько корм и гниет под охраной властей. Только раньше люди боялись воровать, а теперь страшатся работать. Человек честный горб вырастил; когда рукой что берет, вещь из-за мозолей не чувствует, а после заглянет, куда смотрят раз или два в жизни, — и увидит пустое место. Ничего нет, то ли его обманули, то ли он сам ничего не стоит. И бури копятся в том пустом месте.

Это все Круглая знала без слов.

— Шофер Колька был, говорят, богатым человеком, так, не будучи в доску, решил спереть стадо. Представляешь, подогнал к полю свой «МАЗ» и стал грузить. Знал ведь, что все равно накроют, знал, что посадят. Не удержался. Не понимаю, был бы он хоть в доску, а тут...

Волгин перебил жену:

— А тут понимать нечего. Распустили народ, вот и все. Блажь нашла, понимаешь, вот и пошел. У нас всегда, впрочем, к чудесам стремились. Достремились. Что, разве не правда?

Круглая промолчала. Ужин был почти съеден, утку продолжали нахваливать, сосать косточки. До холодов-таки не дотянула из-за зятя! Не утку было жалко...

Старуха подумала так, что в голове загудело: «Чтоб он подох». И тайно задохнулась от сладкого ужаса. У нее такой был, когда еще до войны брала, подползая, на поле несколько помидор или картофелин. Смелость отчаяния. То-непонятное держало поля сильнее мин. Земля была суха и жгла кровь до раскала, когда Фроська прорывала невидимую преграду.

Каждый раз будто девственности лишалась. Прибыв домой, ложилась, дрожа, на постель и ощущала, как ужас от святотатства покрывался сладостью победы. Разрезав помидор, кормила детей, после была до крови, чтоб в них страх наказания был сильнее желания похвастаться и тем накликать непоправимую беду. Ночью все рассказывала однорукому Мишке, о Том-непонятном говорила телом, жаждой жить. Мишка гладил ее незагорелые места черной рукой и цедил только с непонятной ему самому угрозой: «Увидишь, увидишь».

Свою ненависть к зятю Сергею Круглая хотела только ощущать или выразить ее тихонько, вот так, из-за утки, или — что в кузов не может залезть-слезть. Волгин каким-то образом принадлежал к тем хозяевам-нелюдям, к Тому-непонятному. Хотя глаза были у него нормальными, даже слабыми. Но это была злая слабость, та самая, с которой можно убивать без надрыва.

Круглая хотела, чтобы дочь вернулась в деревню, стала учительницей. Дом мать ей купит. Круглая знала, что мечтает о невозможном, — никогда дитя проклятое не бросит города, даже если муж околеет. Но Круглая все же хотела осуществления невозможного.

И что ее желание стало внезапно мыслью, испугало старуху.

Волгин длинно вздрогнул:

— Крепкий у вас самогон, ничего не скажешь. Аж... во.

Покрутив пальцем по животу, Сергей с хмельным удовлетворением заявил, слушая себя:

— А что, щи да каша — вот пища наша. Ну и самогонки для души, это само собой. Хорошо в ваших местах, только чего колхоз такой бедный. Земля как будто добрая.

Старуха молчала, будто считала праздное слово пороком.

Волгин продолжал баловаться. В его голосе закричала командная нотка:

— Разве не так? Техника разве не гниет, люди разве не бездельники. Вот хорошая земля и дает плохие урожаи. Разве не так?

— Так, так. А как же.

Круглая ответила бездумной скороговоркой. Перед начальством всегда хочется кивать головой, подтвердить почтительное внимание. Но поспешное подкивание считалось на заводе недопустимым самоунижением, тем более в лаборатории, среди интеллигентных людей.

Волгин спросил с ласковым презрением:

— А все же?

Однажды, поссорившись с Мишей — у него от пьянства жила внутри лопнула, а он продолжал, — Евфросинья ходила по дому и от жалости и любви била всем по всему, правда, так, чтоб ничего необходимого не разбить. И зашел по забытому давно делу милиционер. Он смердил козьей ножкой, но его дух здорового мужика был еще сильнее.

— Выйди-ка дымить во двор, нечего тут!

Зная, что погибла, не очень старая тогда еще Фрося просидела всю ночь в звенящем одиночестве, а утром не подоила корову. Когда встретила через несколько дней милиционера, тот с ней поздоровался.

Миша однорукий умер с закрытым ртом в лесу, но Круглая успела за неделю до того все ему рассказать. Тот провел рукой по ее узкому лбу, глазам:

— Удачливая ты.

И добавил, вспомнив милиционера:

— Человек, оказывается.

Круглая о Мише не плакала, на то была его больная раком жена. Просто одиночество ее бабье стало окончательным. Мучилась без ласки несколько лет, ночами мокрые простыни ногами зажимала. Перебродило. Раз в лесу волка встретила, поговорила с

ним, и они разошлись. Молния падала во двор, в свинью. Мужика пьяного ударила лопатой по голове, чего-то хотел. Но повторить хоть разочек то безумство, как с милиционером, Круглая так и не смогла. Никогда. Хотела несколько раз, но тело не слушалось или слушалось не ее, язык застревал между губами.

Волгин покрутил пальцами сигарету:

— Мы же на заводах работаем, продукцию выпускаем. Так что: а все же?

Круглая поправила платок, поиграла провалами рта, поглядела, как дочь нежно дотронулась до руки мужа. Ей захотелось уйти от злобы, отойти в угол, побыть наедине с Богом, о котором редко вспоминала. Дом внезапно показался Круглой маленьким, а она — большой, огромной. Так иногда чувствует себя человек, когда распознает в гадюке ужа.

— Нынче никто не хочет работать. Не для чего, не на кого. А на себя, говорит власть, не надо. И на заводах ваших тоже так. Что трактор, что комбайн, что в магазинах — все одно. Только завод, он людьми построен, сделает человек, другой употребит. Земля же нас всех родила. Она не прощает.

Старуха говорила, как семечки лузгала, спокойно, быстро и деловито. На лице ее читалось совершенно неправдоподобное могущество — хоть глаза три. Такое обычно бывало, когда Сергей, сытый, долго смотрел на широкую реку, но там на берегу было в нем восхищение, а сейчас — нечто похожее на страх. Если бы Волгин признался себе в этом, расхохотался бы чудной мысли, не понявшей, не расшифровавшей правильно ощущение.

Сказанное тещей взволновало Волгина странным своим звучанием, словно было произнесено на мало-знакомом наречии. Он отвел взгляд от лица матери своей жены, захотел передернуть плечом, но пренебрежение туда не пошло. Он все же утоленно отметил, что карга опустила на свои стекляшки веки и начала

мелко дрожать, еле заметно — в другое время Сергей бы не заметил.

Ночью он проснулся и уставился на место, где за чернотой стояло окно. Пробормотал:

— Блядь старая.

— Чего не спишь?

Голос жены показался Сергею отвратительно похожим на. Это было в общем нормально, у них даже жесты становятся одинаковыми.

— Чего спрашиваешь?

— Нервный ты, я видела.

Деревенская темень хуже лесной, там хоть живой жизнью окружен, а если и боишься, то не обуха... и не слова-лезвия, которое мешают спать и напоминает тебе, о чем никогда и вместе с тем всегда знал — о том, что ты, начальник лаборатории, в уюте своем пребываешь между молотом и наковальней, между землей и тем, что ей мешает. И когда...

— Чего это твоей матери вздумалось такое говорить?

— Откуда я знаю. Не обращай внимания, она ведь нам завидует, вот и прет ахинею. Завидует, вот и все. Выпей, я тебе поднесу.

Самогон немного помог, но до самого забытья Волгин чувствовал себя очень маленьким и беспомощным человеком. Утром, увидев, как старуха запикивает себе в рот-дыру кусок сахара, Сергей мысленно сплюнул, а перед отъездом небрежно запихал ей в жадную лапу нарочито скомканный четвертак. Круглая стиснула пальцы.

РЫБАКОВ Владимир Мечиславович — родился во Франции в 1947 году. В 1956 году был вывезен родителями-коммунистами в СССР. Стал рабочим в 15 лет. В СССР не печатался. На Запад эмигрировал в 1972 году, выпустил книгу «Тяжесть» в изд. «Посев». Работает в газете «Русская мысль».

НА СЛУЖБЕ

— Семен Абрамович, вы возьмите машину Костину и привезите, пожалуйста, Гуца не торопясь, — Скурков поднял на мгновение скобленное свое лицо азиата с высокими скулами и длинными бледными глазами от загибавшегося книзу сиреневыми строками протокола, механически улыбнулся Стеркину и постругал с бумаги дальше увлеченно и заинтересованно.

— Лет на двенадцать эдак настругает, — весело подумал Стеркин, внятно хмыкнул и, накрытый сверху весомой паутиной света из расшторенного яркого окна, пошел на выход. У дверей он вдруг что-то вспомнил, обернулся — полноплечий, низкорослый, похожий на перевыполняющего план цехового начальника, сказал «есть» и на мелкий кивок Скуркова вышел.

Было восемь часов утра.

В конце уютного голого коридора второго отдела, легко согнувши тяжелый стан, протирала пластиковый сумрачный пол вестибюльчика перед так называемой комнатой отдыха пригожая уборщица Кологривова, предмет нетрезвой любви шофера оперативной машины внешнего наблюдения «ЛОТОС-1».

— Можно, тетя Таня, пройти, — спросил с порога равнодушный к женщинам Стеркин.

— Да хоть вальс, Семен Абрамыч, танцуйте, — равнодушно улыбаясь, сказала Таня.

Стеркин на носках изящно прыгнул с невидимой кочки на другую, третью и у искрящейся, будто наледью покрытой стеклянной двери на запоздалый вопрос «Костя там» получил небрежный ответ: — Где ж ему, бездельнику, быть, просвещает газетами грамоту.

С Костей у нее были старые нелады.

Шофер оперативной машины второго следственного отдела под кодовым названием «Орфей» Костя Ге действительно сидел в цепком кресле и читал развернутую газету «Ленинградская правда». На его красивое лицо, слаженное, казалось, из хрящей и сухожилий, отбрасывала фиолетовую тень небольшая мохнатая кепка, которую он никогда не снимал, даже на установке у Скуркова.

— Что нового, Костя? — спросил Стеркин.

— Здравствуйте, Семен Абрамыч, — отвечал Костя, вставая, быстро и ловко складывая газету. У него был девиз жизни: «Главное — это сложить газету по сгибу», что он и исполнял неукоснительно. — Реваншисты активизируются, — добавил он озабоченно.

— Да что ты, — удивился Стеркин.

— Куда едем, Семен Абрамыч? Опять хосид в Шувалове.

— Следи за произношением, Константин, хасид говорят правильно, — строго сказал Стеркин.

— Где ж за ним уследишь, Семен Абрамыч! Учитель хреновый пошел.

— Нет, Костя, ты неправ, Костя, — смягчился Стеркин.

— Ну неправ и неправ, — добродушно кивнул упрямый Константин, — так кого, где, когда?

— Есть митнагед в Кировском районе, нуждается в опросе и допросе, как говорится.

— Ну, в Кировском, так в Кировском, мне все равно, — разочарованно сказал Костя, — опросим и соответственно допросим.

Грешным делом, он очень любил дальние поездки со Стеркиным и беседы с ним на литературные темы: я, мол, Семен Абрамыч, Евгений и ты Евгений и ты, мол, Семен Абрамыч, не гений, да и я, мол, не гений... или коронное «люблю тебя, Петра творенье»...

Спускаться решили пешком вместо зарядки, время позволяло. По дороге Костя вполголоса поделился

нововыученным словом. Через четыре месяца он должен был ехать посольским шофером в Тель-Авив.

— А вот еще словцо любопытное, — сказал он, похлопывая по широким лоснящимся перилам, — зона́, знакомы, Семен Абрамыч?

— Угу, — кивнул Стеркин.

— Или вот коксинель, а, Семен Абрамыч?

— Это, конечно, все замечательно, но обращаю твое внимание, Костя, на некоторую узость твоей лексики.

Проскользнули вестибюль с двумя дежурными, малоподвижными солдатами и пропускным окном, похожим на билетную кассу с неясным славянским овалом и с популярной масляной картиной на казенной стене «Старшие братья идут колонной».

— Я теперь новое слово изучаю, — обиженно сказал Костя.

— Какое, дорогой?

— Нельзя говорить, тайна, вот выучу и поделюсь, — пообещал Костя и толкнул дверь на улицу.

Свежее синее небо двигалось под резвым ветром от Невы к Невскому проспекту, ласково перебирал невидный суставчатый трамвай на Литейном, и от топей шел тот дивный душный запах раннего лета, который к началу июня всегда заполнял город.

Они одновременно с двух сторон сели в навакшенную Костину машину и Стеркин больно ушиб свое плечо об Костино молодое. Костя засмеялся, и Стеркин на мгновение подумал, что это он с братом Нотой едет на извозчике в лакированной нестойкой пролетке по городу Минску.

— Семен Абрамыч, Семен Абрамыч, — вздохнул Костя, — мне бы ваш иврит, я бы уж туда не шофером поехал, поверьте Косте Ге. Может даже, и третьим секретарем. Несправедливо в этом мире устроено — кому все, а кому через плечо, — неясно было, кого он имел в виду.

— Ты все же, Константин, следи за собой, держи себя в руках — работаем, — восстановил дистанцию Стеркин.

— Есть, Семен Абрамыч, держать в руках, — решительно сказал Костя, осторожно и несколько брезгливо, двумя пальцами чуть сдвигая ключ зажигания.

Стеркин сказал маршрут, необходимый подъезд к дому, открутил вниз окно, откинулся на высокую отпружинившую спинку, опустил выпуклые желтоватые веки, и они поехали.

В шесть часов тридцать минут утра, то есть полтора часа назад, он вернулся в отдел с обыска по тому же разветвленному делу, по которому ехал сейчас, и зашел отдохнуть в комнату, из которой извлек Костю, со стенгазетой на пупырчатой стене, не без изящества названную «Часовой», с собственной заметкой «еще раз о небрежности в ведении протоколов» и с удачной карикатурой на лихача Костю; подвинул к батарее парового отопления кресло, приоткрыл окно, сел, скрипнув пружинами, и заснул с незажженной сигаретой меж средним и безымянным толстыми пальцами правой кисти.

Стеркину приснилось, что он забыл имя своей мамы. Она накрывала на праздничный стол в пикейной кофте с надутыми на плечах рукавами, с трогательной брошью у шеи в белоснежной вязаной косынке, с беспокойной улыбкой оглядывала стол, и Стеркину все время хотелось ей подсказать, что она забыла поставить мед. Он профессионально быстро перебирал еврейские женские имена: Това? Хана? Нет. Лея? Нет. Ну, не нервничай, это что-то односложное и простое, ты не можешь не вспомнить, — подбадривал он себя.

Вошли в комнату три смешливые девочки с абсолютно одинаковыми прекрасными агатовыми глазами — сестры Стеркина, брат Нота в круглых очках на

круглом носу, вошел отец с военным, точнее снайперским взглядом, в черной легкой шляпе, надетой прямо и твердо, — никто не замечал отсутствия хрустальной медницы на столе.

Тугие низкие облака застили сознание Стеркина, дышать было нечем. Он обливался слезами. Без звука рушились книги из шкафа, летали какие-то белые листки по комнате, в поисках имени была надрезана перина, сероватый пар поднимался из оскверненных углов.

Ударил гром, нарастая зарычал «ррра», мелькнула и застыла желто-фиолетовая кривая молния, небо расколосось, облака раздвинулись, и Стеркин тут же вспомнил и закричал: Сарра! Сарра! Мамочка моя, ты забыла...

И проснулся. Рядом стоял и с интересом наблюдал за ним коллега Тернопольский. В руках его мелко трещал будильник «Слава» с его, Стеркина, стола.

— Пойдем, Сема, — ровно сказал Тернопольский. — Скурков зовет.

Стеркин положил сигарету на подлокотник кресла, крепко вытер ладонями мокрое лицо, пригладил волосы, встал и, упруго ступая, пошел к Скуркову.

— У меня таблетки от головы есть, — сказал вдогонку Тернопольский.

Балетным движением, не оборачиваясь, Стеркин отмахнулся.

По крутой дуге пересекали Дворцовую площадь, с чудовищным свистом разрушая покрышки, — Стеркин досадливо приподнял веки и пожелал тишины. Он единственный в управлении не выговаривал Косте за скоростные и прочие нарушения.

В какой-то витрине на Герцена висела белая табличка с черным номером 161 и Стеркин немедленно стал думать, что где-то цифра эта ему уже попадалась за вчерашний или сегодняшний дни. Туманная мысль

эта свербила и мешала так, что в конце-концов пришлось просить о помощи.

— Одиннадцать на одиннадцать, Костя, сколько будет?

— Разделить или помножить?

— Умножить, умножить...

— Сто двадцать один, Семен Абрамыч.

— А сто шестьдесят один на что-нибудь можно разделить?

— Разделить-то все можно...

— Ну!?

— Целиком не получится, — пожалел Костя.

— Философ ты, Константин, — сказал Стеркин, безуспешно пытаясь думать о другом.

— Это верно, Семен Абрамыч, я такой, — сказал Костя и переключил третью скорость на четвертую.

Полетела слева неширокая река в каменных берегах, под черной лаковой поверхностью которой с кой-где лениво проплывавшими радужными масляными пятнами как бы непрерывно двигалось огромное гладкое неутомимое животное... унеслась назад неведомая цифра из заложенной программкой театра Музыкальной комедии страницы.

И эти запыленные купы старых деревьев, и эти перильчатые заходы на набережной к крутым спускам к воде, покрывавшей нижнюю порыжевшую ступень, — все это было нестерпимо для сердца Стеркина. Жизнь прошла, гони, Костя, гони.

Жил Стеркин один в большой комнате с большой нишей, в которой стояла его жесткая кровать за выцветшей шторой на деревянных звонко стучавших кольцах. Соседом его по квартире, находившейся неподалеку от Конюшенной площади и от дома, где умер Пушкин, был обрусевший эстонец Йоганн с женой Мэрике, не умевшей по-русски. У него была тоже комната с нишей, в которой стояли полки с птичьими клетками. В клетках жили кенари.

Несколько лет назад в свободный день Стеркин зашел к Иоганну, поглядел на немедленно замолчавших птиц, попил буроватого чаю, густого имбирного пива из декоративного бочонка с краником, осторожно погладил блеклые вышивки Мэрики короткопалой ладонью, послушал любимого кенаря Иоганна по имени «Старая туша» (тере-тере ванэ керэ, — сказал Иоганн, нежно выпячивая розовый рот), ушел и больше никогда к ним не заходил — он был нелюбознателен. Встречались на кухне под далекими лепными амурами, молча здоровались, и все.

— Вот здесь давай, Костя, тормозни и вправо, встанешь за табачным киоском, — приказал Стеркин. И очень ловко Костя поставил машину под тополь за беспощадными стриженными кустами волчьей красной ягоды в безлюдном проезде к райбольнице с далеко видимым, насквозь распахнутым широким входом.

В сорок первом году на фронте довольно быстро выясилось, что Стеркин никогда никого и ничего не любил, кроме своей минской родни, от которой он, казалось, только вчера выбежал с Нотой на улицу; оба в белых новеньких рубашках, солнце обливает скудный родной двор — Нота в черном строгом картузе, у Стеркина в руке фибровый чемодан, и отцовский дом за спиной стоит неколебимо и уверенно и кажется, что навсегда.

Сразу после войны Стеркин, заурядный довольно молодой светлоглазый капитан со сжатым волевым ртом, съездил в Минск, из которого уехал двенадцать лет назад в рубашке с расстегнутым воротом и с отложным широким воротником в военное училище. Женщина из соседнего дома привела его с растерзанной улицы к себе, напомнила, что они вместе учились на курсах комсомольских активистов, что ее звать Мария Ясюкевич и что все, что осталось от семейства Стеркиных, она унесла к себе. Затем, побледнев все еще красивым лицом с плохой кожей, она попросила

его выпить водки, что он и сделал. Рассказа ее он слушать не стал, взял все, что Мария собрала, в синюю сладко хрустевшую наволочку, с трудом уместил под мышку фамильные стенные неожиданно легкие часы, оставил на столе золотой трофейный портсигар из города Вены и уехал в победоносном пьяном поезде с пустынной рельефной картинкой молчаливого будущего, оставшегося на сердце, обратно в Питер. Его быстро укачало в безнадежно-черный сон под неровный настук колес и стакан водки, поднесенный соседом-доброхотом с одинокой медалью «За отвагу» на груди.

Стенные часы в дубовом ящике висели на стене напротив окна, всегда показывая без двадцати одиннадцать (Стеркин к ним не прикасался), а тяжелая отцовская «луковица», красиво отщелкивавшая крышку, шла, наоборот, исправно, точно и громко.

— Прекрасные часы Паал Буре, — тихо произносил знакомый часовщик, передавая Стеркину после чистки тяжелый этот предмет. Было жарко, часовщик снимал тонкой горстью пот со лба, его петербургский надтреснутый голос с очаровательно неправильными согласными выпрямлялся — он смутно подозревал, что Стеркин служит в смежной организации, в одном, так сказать, профсоюзе, и хотя бояться ему было нечего, на всякий случай или, вернее, по инерции он переживал.

Некогда Стеркин был женат, но как-то все не сладилось, не получилось.

Свободные вечера его, когда они выпадали, не были многообразны: шестой год он читал книгу «Буря» писателя И. Г. Эренбурга, посматривал на огромную прекрасную репродукцию, висевшую на стене возле часов, со знаменитой картины знаменитого фламандца, в фальшивом свете телевизионного экрана отблескивавшую драгоценными бликами. Журчал и шипел боржом в его комнате под коньяк или, наобо-

рот, горел телевизионный экран с выключенным гудящим звуком, и не с кем было поговорить о детстве, под чай и «под сурдинку».

Репродукцию эту Стеркин помнил всегда. На улице в рыхлом истоптанном снегу в острых сахарных крышах с нежной голубоватой тенью от зеленого неба вступал неясный отряд всадников в смутных доспехах; кого-то азартно били, прислонив к кирпичной стене, стоял на коленях перед конником лысоголовой туго подпоясанный с уроненной шапкой, и оставался навсегда в памяти изощренно-четкий черный узор голых деревьев на зеленом и белом.

Была еще бывшая подруга бывшей жены, немолодая добрая женщина, всегда в запахнутой роскошной шали с нежным нафталиновым душком и любимой фразой «без таланта жить скучно и стареть страшно».

— Стареть всегда страшно, — не соглашался Стеркин.

— Не скажите, Семен Абрамыч, просто мы обделенные, потому не знаем, а только подозреваем. Не обижайтесь, дорогой, дайте мне лучше папироску.

Постоянно со вздохом она рассказывала, двигая неувядающими плечами, как когда-то играла в школе в баскетбол и что тогда надевали для игры и как бегали на танцы. И ведь это только вчера было, Боже мой, только вчера.

И Стеркин возил пальцем по топорщившейся скатерти давно опорожненную позванивавшую от прикосновения чашку.

С. А. Стеркин обошел торец пятиэтажного дома, ровно прошел до второй парадной, периферическим зрением засекая кирпичную электробудку, пивной зеленый ларек в кольцах сумрачной очереди, компанию на лавочке в поникшем палисаднике с оживленными старухами и участковым в начищенных, слегка припорошенных городской асфальтовой пылью сапогах, поднялся на третий этаж, у богатой коленкоровой пере-

хлестнутой кожаными лентами по диагонали, как портупелями, двери Гуцей пригладил волосы, одернул пиджак. Позвонил.

1980 год.

ЗАЙЧИК Марк — родился в 1947 г. в Ленинграде. В настоящее время живет в Израиле. Публиковался в журналах «Менора», «Эхо» и других зарубежных изданиях на русском языке.

РУССКОЕ ПОДВОРЬЕ

Мой ребенок никогда не увидит Москвы. Он не будет, как его папочка, гулять под окнами своего дома с синим пушистым помпончиком на макушке и сидеть на облезлых скамейках, прячась в тени громадного и древнего тополя. А зимой скатываться на санках с крутой горы, начинающейся с трамвайной остановки на полпути от Сретенки до Трубной.

...По заснеженному газону катят самодельные санки на широких деревянных полозьях вниз до самой площади, их выносит на проезжую часть прямо на трамвайные линии, и спешащая в туалеты Рождественского бульвара публика неодобрительно качает головами. Десятки мальчиков и девочек, укутанных в грубые мамашины платки, тяжело утопают валенками в глубоком снегу и, поминутно спотыкаясь, тянутся друг за дружкой вверх. Лишь я один легко избегаю на гору в элегантном детском костюмчике с потайной молнией на боку и в блестящих зимних ботинках на меховой подкладке, а за мной, чуть касаясь снежного покрова и оставляя на нем едва заметный след от узеньких и острых полозьев, поскрипывают красно-синезеленые алюминиевые саночки. Аккуратный нейлоновый шнур, а не лохматая пенька, привязан к передку санок, и я гордо шествую с ними через весь бульвар — до Сретенских ворот, где можно погреться в недавно выстроенном переговорном пункте. Я захожу внутрь, грозная бабка, разменивающая деньги за окошком при входе, не решается остановить меня. Меня, такого ухоженного и сразу видно из хорошей семьи, ребенка. Я втаскиваю санки, забираюсь в самую дальнюю будку и отогреваюсь, прислушиваясь к разговорам из соседних телефонов-автоматов.

А в марте-апреле пускаю кораблики в бурных притротуарных потоках: несет кораблики с бешеной скоростью, только успевай поспевать за ними...

Я знаю, ортодоксальные иерусалимцы устроят мне обструкцию и подвергнут остракизму. А я спрошу их: «Стоило ли рожать ребенка, если он никогда не увидит Москвы?»

Тускло горит фонарь. Кто-то стоит, обхватив его руками, и горько рыдает. Старый, грязный и позабытый всеми фонарь, обнаруженный мною в самом центре Иерусалима, около Русского подворья. Ни души вокруг и некому поддержать меня, пьяного и измученного от невыносимого дневного жара. Я стою, уцепившись обеими руками за фонарный столб, и боюсь оторваться от него. За подворьем большой пустырь, вот добраться бы туда и заснуть там, думаю я и, отцепив правую руку, осторожно разжимаю пальцы левой. Но словно какой порыв ураганного ветра внутри меня налетает и с силой кидает в сторону. Я рассекаю воздух руками и, на счастье, задеваю за каменную ограду рядом. Оттого не падаю, а, выпрямившись, еще крепче прижимаюсь к приятной и холодной телу стали столба. Я смотрю вверх, слезы застилают глаза, и непроизвольные всхлипывания громким эхом теряются в узких амбразурах-окошках церкви напротив. Потемневший от времени, покрытый ржавыми пятнами стеклянный колпак почти не пропускает электрического света, и, будто окунутый в желтоватую, слизистую муть, я ощущаю себя одной из жирных мух, что во множестве облепили колпак, находя там вечный покой.

Скрипят шины по асфальту, мимо проезжает полицейский минibus и брошенная из окна горящая сигарета осыпает лицо пеплом.

— Вы, козлы вонючие! — кричу я вдогонку. — У меня ребенок родился...

Который никогда не увидит Москвы, эта страшная мысль, от которой я сегодня так зверски напился, снова начинает мучить меня. Полицейская машина останавливается, жирная рожа полицейского высывается из окна и замечает меня, прислонившегося к ограде. Минибус подает задом и подъезжает ко мне.

— Ма ата осэ по?¹ — спрашивает толстомордый.

— Наша ваша не понимай.

— Уот а ю дуинг?² — повторяет он.

— Хау дуй на хуй.

— Шма, — слышу я голос второго полицейского, — таазов ото, харусим хазйле рак шотим водка,³ — полицейские уезжают. И я снова остаюсь один. Какая-то удивительная тишина царит вокруг. Который час? Но тело совсем отказывается слушаться. Чтобы поднести руку к глазам или склонить голову и посмотреть на часы, надо приложить столько усилий, сколько хватило бы на постройку нового Храма, думаю я и, замерев, гляжу в небо. Высоко и в ярком сиянии прожекторов парит зловещий крест. Он похож на орла, расправившего свои могучие крылья перед смертоносным падением вниз и хищно сжавшего острый клюв. Только мне не страшно. Орел превращается в безобидную ворону, каркающую с церковной маковки. И я ложусь, подкладывая под голову гладкий и плоский камень, который валяется тут же. Дует легкий ветерок, и продолговатые листья акации ласкают меня своими нежными прикосновениями. Совсем юные листочки щекочут в носу и на шее, я провожу рукой по лбу, щекам, приглаживаю бороду. Все мокро, в капельках застывшей воды. Уже три часа ночи, скоро рассвет, проносятся в голове бессвязные мысли, он жестоко расправится с выпавшей за

1. Что ты тут делаешь? (иврит).

2. Что ты тут делаешь? (англ.).

3. Послушай-ка, оставь его, эти русские только пьянствуют целыми днями (иврит).

ночь росой, испарит ее всю до последней капли, и тогда мне надо будет подняться с этого удобного ложа, чтобы бежать в больницу. Там мой неразумный ребенок одного дня от роду. Он родился с заплаканными глазками и расплюснутым носиком, на нем была счастливая рубашонка, которую дюжий акушер взрезал одним махом ножа и выпустил воду.

Но он не виноват, что моему ребенку никогда не увидеть Москвы. Да и откуда иерусалимскому акушеру знать, как тиха Москва по ночам, особенно в те ночи, когда я пешком добирался из центра к себе домой.

...Напротив горки — кинотеатр «Янтарь». Мой дом через два дома от горки. С грохотом пронесся последний трамвай, спешащий в парк. Это № 13, он всегда идет последним: до Преображенки ему ехать три минуты, потом проскочить через многочисленные стрелки на площади и оттуда уже рукой подать до клуба им. Русакова. Там налево — и депо. Сколько лет уже живу в Москве, а ни разу не был в депо им. Русакова, я даже толком не знаю, где оно находится. И в Большом театре я тоже никогда не был. А на горке хорошо. На самом верху ее, на плоском пяточке размером сто шагов на сто, три года назад как поставили шестнадцать высоких, тощих и звенящих на ветру флагштоков. Под ними гуляют собачки. Все мои знакомые, все породистые и нескладные, как и их хозяева. У подножья горки по кругу расположены лавочки и асфальтовые дорожки. Тут собачки попроще и понаглее — беспризорные. Зато на лавочке можно спать. И я вытягиваюсь, заворачиваюсь в длинное пальто и сладко засыпаю. Как легко на душе, и спокойно, и совсем трезво. Долгий летний день, начавшийся с бутылки пива, подошел к концу. Мы пили водку и портвейн в разлив по двадцать копеек за стакан, распивали в уютных двориках фруктовое и заедали бычками в томате, потом в кафе закусывали сардельками и заказывали минеральной воды, чтобы

принесли стаканы, а вместо «Ессентуков» наливали водку, запасенную заранее. Мы гуляли по Москве, а после семи гонялись за таксистами, покупая у них «Российскую». И лишь к ночи разошлись — кто куда: кто остался в центре, кого ноги понесли сами и привычно довели до дома, а я пошел к себе на горку, с Волхонки десять километров пешком сюда.

У метро «Библиотека им. Ленина» меня подозрительно осмотрел мильтон, а на перекрестке улицы Горького и проспекта Маркса чуть не сбила машина. По темной Кировской я прошел не спеша, и к Красным воротам голова больше не кружилась. А вот на Ленинградский вокзал меня не пустили. Прогнали с перрона, сказав, что ближайший поезд в Мурманск через два часа и нечего тут ошиваться. Жаль, там тоже чудные лавочки. Я шел все время прямо, и ни один человек не попадался на пути. Только около Сокольников продрогшая пара пыталась согреться под навесом входа в метро. А услышав мое пение, испуганно разбежались в стороны. Из-под их ног выскочила смешная дворняжка с мордой фокса, ушами спаниеля и ногами болонки и засеменила рядом со мной. Потом неожиданно исчезла в мрачном здании клуба им. Русакова — этого косоного и претенциозного сооружения без окон и дверей. «Где ты была, дура?» — спросил я ее, когда она так же неожиданно вынырнула из подворотни ресторана «Звездочка». Собака завиляла хвостом и, радостная, помчалась впереди меня. На Халтуринской я свернул налево в Черкизово и через пять минут был на родной горке. Сверху звенят флажки, под лавкой свернулась калачиком моя спутница и, что-то вспоминая во сне, звонко взвизгивает от восторга.

Зимой же горка полна детей, мамаш и шпаны. Малолетние хулиганы подставляют подножку скатывающимся по льду карапузам, и те с воем бегут к родителям, чтобы пожаловаться...

К чему душу травить, если эта горка так же недоступна мне, как автомобиль «роллс-ройс». В Иерусалиме читатель высмеет меня, а в Москве не поймет.

Кто-то неслышно крадется вдоль ограды. Черная сутана путается в ногах, но человек подбирает ее и быстро приближается ко мне. Снизу мне видны его сандалии и грязные волосатые ноги. Я сплю или просыпаюсь, уже светло или это только кажется? — задаю я себе вопрос.

— Вставай, милый, — меня трясут за плечо. Над лицом склонилась белая борода и толстый мясистый нос.

— Кто вы?

— Вставай, милый, вона солнышко взошло. Идем чайком угошу.

Это сон, решаю я, переворачиваюсь на другой бок и попадаю лицом в колючки. Теперь, открыв глаза, вижу над собой огромного старика в рясе. Он стоит, подперев руками бока, и ласково улыбается.

— Ишь, напился с радости, а?

— Ага, — отвечаю я, — по случаю рождения ребенка. Да вот только...

— Ладно, ладно, все знаем. Вставай, милый, опохмелишься уж, так и быть поставлю.

— Да кто же вы будете-то? — его добрая улыбка совсем сбивает меня с толка.

— Эка важность... — с улицы Яфо начинает доноситься шум пробуждающегося города. Господи, какой я помятый, как же предстану перед дитем в таком виде? И глухая, разрывающая сердце тоска наворачивается на глаза мутными слезами, — ...заскучал малость, ничего пройдет, с похмелья оно всегда грустно...

— Вы монах? — перебиваю я старика.

— Поп-расстрига. Согрешил, когда молодым был... — Я стою и не слышу его слов, а дед продолжает говорить, обдавая меня тяжелым запахом давно немытого тела. Вдруг ударяет колокол, и словно жгу-

чая патока застилает глаза, набивается в рот, уши и обволакивает все лицо сахарной ватой. Я застываю, а голова разбухает, размягчается и вдруг переламывается в шейном позвонке, безжизненно ударяясь о столб...

Откуда ни возьмись появляются санитары, и из-за их спин выглядывают улыбающиеся родители. Красные, великолепные «Жигули» подкатывают к трапу самолета, и меня бережно укладывают на заднее сидение. «Мы едем в санаторий», — слышу я мамин голос. Я хочу поднять голову, но не могу. Только в переднем зеркальце мелькает знакомое лицо, шофер весело подмигивает мне. О, Боже! Это же тот старик, монах, поп-расстрига. Мамочка! — кричу я, — он гебешник, я знаком с ним, он из Красной церкви! «Успокойся, милый, ты в Москве, а не в Иерусалиме. Нам удалось через Красный Крест вызволить тебя». Холодный пот прошибает с ног до головы, и я делаю нечеловеческие усилия, чтобы приподняться, — по бокам ухмыляющиеся рожи санитаров. Там же остался мой ребенок! Я рву дверцу машины и на всем ходу выскакиваю наружу...

Открываю глаза, и снова надо мной нечесанная белая борода. Поодаль стоит человек в больничном халате. Я быстро закрываю их и потихоньку ощупываю руками тело. Вроде все в порядке, и, выпрыгивая из «Жигулей», я, кажется, ничего не поломал, думаю я. Теперь надо собраться, затаить дыхание и — как из машины, только на этот раз в окно. Слышу, как отодвигается стул, поднимается тело и долгий старческий вздох вырывается где-то около моих ног. Ну, самое время. И, спружинившись, отбрасываю одеяло, перепрыгиваю через стул и падаю на пол, запутавшись в длинных пижамных штанах, которые неизвестно каким чудом оказываются на мне вместо привычных байковых плавок.

— Ой! — испуганно вскрикивает сестра, которую

я и не заметил раньше. Она примостилась в углу, рядом с каким-то прибором. — Ма зэ? Эйзэ психи!¹

— Ташкиву ото бамита, ветакпиду шло икпоц йотер. Зохи тгува эфшарит леакицат акрав², — суровый голос, по-видимому человека в больничном халате, отдает приказ сестре, и она уже спокойно отвечает: «Кен, доктор, ани мевина»³.

Что такое «акицат акрав»? Акрав — вроде я знал когда-то, что это означает. И где я нахожусь, в конце концов? Все еще лежа на полу, я осматриваю комнату, но вокруг ничего не напоминает ни московского аэродрома, ни палаты подмосковного санатория, ни улицы Яфо и ни Русского подворья, разве лишь старик в той же оборванной рясе, который укоризненно качает головой. Ко мне подходит сестра и хочет помочь подняться. Но я ее грубо отстраняю, ло царих⁴, говорю нарочно с грубым русским акцентом.

А укладываясь в постель, вижу приближающегося со стулом в руках деда, суетливо перебирающего ногами по гладкому каменному полу, сгорбленного, с жалкой улыбкой и большим облупленным крестом поверх поповского наряда.

— Не волнуйся, сестричка, не волнуйся. Иди по своим делам, а я посижу тут с ним. — Дед усаживается на стул у моего изголовья. — Ай-ай, милай, нехорошо, люди стараются, вылечить хотят, а ты словно бесноватый какой. Ну, таперича все басседер⁵, как у вас говорят, — это «басседер» он тянет как-то по особенному, мягко выговаривая каждую букву, отчего я успокаиваюсь и даже смиряюсь с присутствием этого старика.

1. Что случилось? Ну что за псих! (иврит).

2. Уложите его в постель и проследите, чтобы он больше не скал. Это естественная реакция на укус скорпиона (иврит).

3. Да, я понимаю, доктор (иврит).

4. Не надо (так называемый уличный иврит).

5. Беседер — в порядке (иврит).

— Будьте добры, объясните мне, что произошло?

— Аспид, милай, укусил. Ты товось, выпил чуток и заснул, а он проклятый подкрался и цапнул. Да хорошо, что я рядом был, сразу карету медицинскую вызвал, а то не быть бы тебе в живых.

А, вспомнил, акав — это скорпион. Но мне надо же в больницу! Эта мысль обжигает мозг, и я сразу забываю все на свете. Который час? Там же бедный младенец плачет, Господи, сколько времени он уже не видел своего папочку. Я чувствую, что сам заплачу сейчас и с мольбой обращаюсь к старику: «Дедусь, помоги, мне в больницу надо, у меня вчера ребенок родился, я обещал, что обязательно сегодня приду к нему». Но перед глазами все расплывается, лицо попа становится плоским и круглым, и этот круг с нарисованными свинячьими глазками, красным расплюснутым носом и беззубым ртом снова укоризненно расквашивается, постепенно бледнея, пока совсем не пропадает.

Из подъезда доносится истошный крик: «Держите!» Хлопает парадная дверь, и оттуда стремглав вылетает растрепанный молодой человек в широких пижамных штанах и белой сатиновой майке. Он пролетает под носом автобуса, оказывается на другой стороне улицы и, сбивая прохожих, несется вдоль Садового кольца по направлению к Самотечной площади. Здесь меня не поймают, мелькает в голове, тут, слава Богу, мои родные места, где я знаю каждую подворотню, каждый проходной двор. Я сворачиваю на Трубную улицу и скрываюсь в глубоком дворе 236 школы. Шума погони не слышно, и я перевожу дыхание. Какой страшный вид, ужасаюсь я сам себе, но раз обещал, то приду навестить ребенка, чего бы мне это ни стоило. Звенит звонок, заставляющий меня вздрогнуть. Я поднимаю голову и вижу, как на широких подоконниках школы рассаживаются мальчики и девочки, с интересом наблюдая за моей необычной фигу-

рой. Вдруг в одном из окон показывается лицо мужчины — директор! Директор! — кричат ученики и разом спрыгивают, исчезая в черных коридорах первого, второго, третьего и четвертого этажа. Я остаюсь один на один с этим страшным лицом. Мужчина снимает очки и начинает медленно протирать их носовым платком.

— Хау ду ю ду! — кричу я ему.

— Хау ду ю ду, — вторит он мне, — не уходите, нам нужно поговорить.

Но я уже выбегаю на Трубную и, оборачиваясь, вижу, что из двора не торопясь выходит милиционер с длинной белой бородой. Он степенно разглаживает ее. Дикая паника охватывает меня, и я, сам того не замечая, оказываюсь на Петровском бульваре. Я бегу по боковой аллее. Молодые мамы и бабушки с внуками в испуге шарахаются от меня, а я зло рычу им в лицо: «Вот подрастут ваши ублюдки, тоже станут водку жрать, как я!» И мой ребенок вырастет, тоже станет таким же? — приходит вдруг на ум страшная мысль. — Нет, мой сабра¹, у него ментальность² другая, — успокаиваю себя. А тем временем я пересекаю уже Пушкинскую площадь, как-то по диагонали, по верху, а не подземными переходами, и бегу по Тверскому бульвару. Здесь я решаюсь сделать передышку.

Рядом на лавочку присаживается совсем дряхлый старичок в поношенном сером пальто, с палкой в руках, и на поводке он держит еще более дряхлого спаниеля, у которого от старости опухшие веки покрыты засохшей коростой.

— Утомилась, старушка. Не бойтесь, молодой человек, она не кусается, уж и зубов-то нет, чтобы кусать, ха-ха.

1. Сабра — прозвище еврея, родившегося в Израиле.

2. Ментальность — любимое словечко у сабр, когда они хотят подчеркнуть свое отличие от израильтян, выходцев из других стран.

— Я не боюсь. А сколько лет вашему спаниелю?

— Щеночком взял, теперь вот приходится видеть, как помирает. А все отчего — что мясо мороженое, витаминов мало получал...

Странная ассоциация, от щеночка к жеребеночку, а тут уж, ясное дело, и к ребеночку. Как он там, родной? И доберусь ли я до него сегодня? Чувствую, что нет сил подняться с лавочки, ноги словно парализованные, руки тяжелые, живот крутит, голова не держится на плечах, и кажется, что ничто больше не заставит меня встать...

Не надо раньше времени негодовать, любезный читатель, ибо наше с вами прошлое глубоко сидит в нас. А насколько банально оно и пошло, когда мы начинаем предаваться воспоминаниям, об этом кто-нибудь из вас задумывался? До чего же мы бываем сентиментальны в этих воспоминаниях: готовы порой умиляться самым страшным минутам, которые только выдавались в нашей жизни. А все отчего — что-то нами пережито и крепко внутри сидит.

Очнулся я в светлой комнате, около одной стены стоит кожаный диван, возле другой — высокая кровать, на которой лежу я, а посередине — круглый обеденный стол. Кризис миновал, думаю я, наконец-то все вижу отчетливо, а не сквозь туман. За столом сидит все тот же старик, столько преследовавший меня во всех моих бредовых сновидениях. Он увидел, что я открыл глаза, и подходит: «Ну что, милай, полегчало. Сейчас я тебя чайком с медком угощу, и всю напасть как рукой снимет».

— Спасибо большое, — в широком окне я вижу стену Старого города, — а где я?

Старик выходит из комнаты, и я слышу, как он гремит посудой где-то рядом. Обрато он возвращается с полными кружками кипятку и с кусочками колотого сахара. Вот и все, проносится в голове, я окон-

чательно свихнулся, московский колорит преследует меня уже наяву.

— Ты, милай, в Нотр-Дам де Франс. Я туточки обосновался сразу как из монастыря Мар-Саба ушел. Теперь вот в Святом граде Ерушалаиме живу, с епархией не знаюсь, но Бог милостив, сухая корочка и кипяток всегда имеются. Да ты не брезговай, сахарок возьми... — старик вскакивает со стула и выбегает в коридор, — ах ты, про мед-то запамятовал.

Нет, определенно, это продолжение бреда: старик-монах, колотый сахар, кипяток и этот странный Нотр-Дам де Франс, — и я закрываю глаза...

Мой ребенок никогда не выйдет проходным двором с Рождественского бульвара на Колокольный переулок. И я не стану бегать по всем переулкам бывшей Грачевки, чтобы отыскать этого сорванца и задать ему хорошую трепку.

А по воскресеньям мы пойдем на Почтамт, где я накормлю его сливочным пломбиром в стаканчике, не за девятнадцать, а за двадцать копеек, и покажу конвейер, по которому густой лентой ползут письма, бандероли и мелкие посылки. Гигантский зал с уходящим высоко ввысь стеклянным куполом похож на зал ожидания сказочного вокзала. Кругом тишина, чистота, снуют деловые люди, за коричневыми столами с разбросанными на них бланками телеграмм и почтовых переводов кто-то что-то длинно пишет, а за высокой стойкой кто-нибудь другой клеивает уже законченное письмо. Мой малыш с черными и смышленными глазенками сидит тихо и будто чего-то ожидает. А после мы зайдем в магазин напротив, с китайской пагодкой на крыше, и опять попадем в сказку — шумную, пахнущую восточными пряностями, приторную и кофейную страну «трех мишек», рахат-лукума, козники и медовых пряников. Даже кассы тут какие-то необычные, инкрустированные и старинные, еще со времен...

Сквозь сладкие грезы слышу, как над ухом гнусавит старик: «Смотрю тебе в лицо, а в нем ни кровинки. Сперва, чуть дьявол не попутал, хотел было бежать, да вдруг, чую, шепчешь чавой-то легонько. И все по-матерному. Ишь, как дурь-то пробрала крепко, дай, думаю, побужу тебя, покамест до греха не дошло-то...»

Я перебиваю его: «Вы мне объясните, как я сюда попал?» Но старика снова нет в комнате, через открытое окно доносится шум улицы, протяжный вопль осла и гортанная ругань погонщика. «Бардауиль»¹, — единственное, что удается мне разобрать из всего этого крика. Я подхожу к окну и смотрю вниз, на улице пробка — посередине упрямится осел, а вокруг бегают мой старик. Вдруг он замечает меня и кричит снизу, чтобы я спустился ему помочь.

Удивительный рассказ, необъяснимые приключения в центре Иерусалима: вот мы трясемся на осле, я ухватился за рясу деда, слева остается Нотр-Дам де Франс, справа Новые ворота Старого города. Наконец, я спокоен — мы едем в Хадасу², где в пластмассовой люльке на высоких ножках лежит мой ребенок и уже, наверное, отчаялся меня увидеть. Со Шхемской дороги мы сворачиваем на улицу, параллельную Шивтей Исраэль. Я в первый раз в жизни сижу на осле. Он мерно подрагивает спиной, а на спусках и подъемах я плавно скольжу по его гладкому, словно полированному крупу. «Коленками зажми ему бока, — учит меня старик и продолжает монотонно бубнить, — ты, милый, не бойсь, увидешь свое дитяtko, потерпи малость... Непутевые мы, что ты, то я... Сразу по глазам угадал, невесело тебе. Я ж тоже, бывало, закладывал...»

Кажется, что осел сам выбирает дорогу. Он не

1. Ослиный ... (араб.)

2. Хадаса — больница в Иерусалиме.

спеша перебирает ногами, ничуть не сторонясь тяжелых грузовиков, которые зло гудят прямо у него под мордой; он так же лениво спускается какой-то узенькой улочкой, зажатой с обеих сторон глухой каменной стеной, потом долго бредет заброшенным пустырем, переходит на красный свет, пересекает еще одну улицу и выводит нас к высокой чугунной ограде.

— Здесь мы перекусим, — говорит старик и начинает обстоятельно привязывать осла к ограде.

— Дедусь, давай не будем, — робко упрощиваю я его, — отпусти меня одного, а?

— Сам не доберешься. Тут везде заставы, а мой осел знает одну тропку тайную.

О чем это он? — недоумеваю я, ведь мы в Иерусалиме. Вдруг издали доносится шум моторов. Они рокочут и скрежещат. «Ишь, скворчат, проклятые, — старик хватает меня и быстро тянет в дом, — не мешкай, милай. Тут, видно, и схорониться придется». Осел, мелькает в голове мысль, но я уже нахожусь в темном подвале, где из всех углов веет могильным холодом и едкий запах кошачей мочи бьет неожиданно в нос, отчего я закашливаюсь и теряю сознание.

Через несколько минут прихожу в себя. Надо мной хлопочет старик, в углу горит огарок свечи, а на земляном полу разложена еда.

— Ослаб же ты, как бы не помер тут. Эх, видать, судьба такая мне грешному, дал мне Господь тебя в старости... А может, оно и в грехах моих зачтется, ведь ты нонче, что кутенок слепой, тычешься, тычешься... эх! — причитает старик. — Лежи, милай, отдыхай, а я наверх схожу, посмотрю, что там делается.

Ощущение реальности исчезает, и меня несет по течению, которое чем ближе к развязке, тем стремительнее и шире. Я чувствую, как оно отнимает последние силы. Со мной происходит что-то очень странное, я нахожусь в каком-то глубоком бреду, забытье,

если сейчас же не скинуть с себя это наваждение, то произойдет нехорошее, но я не способен к действию. Единственное, что еще слабо мерцает в сознании, — это мысль о ребенке, которого я, видимо, никогда больше не увижу...

Возвращается старик. Он радостно потирает руки.

— Ну, слава Богу, все в порядке. Собирайся и в путь, более хорониться нечего. — Мы выходим на улицу, и яркий солнечный свет ослепляет на мгновение, а в следующий миг я с ужасом смотрю на шеренги милиционеров, которые выстраиваются во всю ширину улицы: часть милиционеров уже стоит по стойке смирно, а часть только готовится спрыгнуть с гусеницы танка, еще не заглушившего мотор, пыльного и неповоротливого, направившего свой ствол прямо мне в грудь. Старик подталкивает меня в бок — чаво уставился, пошли, нечего людям мешать, вишь, делом заняты.

Вдруг из люка танка вылезает мой школьный приятель: «Сережка! Ты! Как ты сюда попал?» — кричу я и пытаюсь прорваться к нему сквозь строй милиционеров. Но меня не пропускают. Пока сам Сережка, в форме лейтенанта милиции, не подходит ко мне и не уводит. Мы спускаемся к Яфским воротам, и снова, как шесть лет назад, когда мы спускались с ним по улице Архипова к Солянке, он советует мне, чтобы я поскорее сматывался отсюда, а то потом будет поздно. Но я опять не слушаюсь своего школьного приятеля и возвращаюсь. Как и тогда, но на этот раз не нахожу на старом месте ни души. У ограды стоит осел и орет, я спускаюсь в подвал, собираю крошки, оставшиеся после нашего обеда со стариком, и кормлю ими голодное животное.

Только сейчас я замечаю, сколь необычна тишина вокруг меня. Все будто замерло в ожидании грома или какого-нибудь другого сокрушительного удара, от которого должны будут рухнуть дома, деревья, камен-

ные стены, чугунные ограды, горы и скалистые пустыри. Даже осел перестал шевелить губами и уставился на меня.

— Что, дружище? Чертовщина какая-то кругом, или, может быть, ты мне объяснишь, что происходит? — никак он сейчас заговорит человеческим голосом, я уже готов ко всему, но, слава Богу, ничего такого не случается. — Молчишь. Ну тогда поехали, бреди куда хочешь, все равно мне из этого заколдованного круга не выбраться.

Я плавно раскачиваюсь из стороны в сторону, и словно сквозь прозрачную целлюлозу проплывают мимо в дымчатом, матовом свете знакомые улицы: Невиим, Меа-Шеарим, Штраус, Эфиопия, Хавацелет, Хелени-Хамалка, Иоханан ми-Гуш-Халаф; заброшенные дома: Нотр-Дам де Франс стоит обнаженный с пустыми и черными глазницами окон, а рядом мрачный муниципалитет, тоскливо глядящий на мир своей единственной оставшейся надписью «Банк Барклайс Дисконт»; и грязные мостовые: летают по ветру обертки от мороженого, перекатываются бумажные стаканчики из-под сока, и лопаются пластмассовые кефирные баночки. И снова всплывают видения Москвы. Безлюдная и снежная, она соблазняет меня. Но как я на осле туда доберусь? И вот Кремлевская стена превратилась в отвесную и неровную стену Старого города напротив музея Рокфеллеров, из-за которой переливается огнями Дворец Советов. Под Боровицкой башней — Яфские ворота, и два дюжих янычара проверяют мои документы. На университет смотрит здание гостиницы «Кинг Дэвид», а широкий проспект Калинина стал узким, как улица Кореш. С одной витрины «Биньян Дженераль», а с другой — родильный дом им. Грауэрмана.

Ну вот, наконец-то, я пришел! И, отпустив осла попасть на зеленую лужайку неподалеку, я толкаю дверь.

— А, милай, явился не запылится! — встречает меня зловещим окриком мой старый приятель — старик. Сейчас он не в рясе, на нем старая гимнастерка и сапоги. — Ну, проходи.

— Я пришел повидать ребенка, — шепчу я и хочу повернуть обратно, но тут меня хватают какие-то руки и волочат вглубь. Потом я чувствую, как меня топчут ногами, кидают от одного к другому, обливают водой и опять бьют...

Я открываю глаза. Над головой иерусалимское небо, прямо в глаза светит луч прожектора, который должен освещать церковь Русского подворья. И горький ком застревает в горле.

Мой ребенок никогда не увидит Москвы, и никто не расскажет ему теперь, какая она красивая. Да простят мне иерусалимцы и москвичи эту мою последнюю мысль...

МЕЛАМИД Лев — родился в Москве в 1944 году. Математик, окончил Московский университет. В 1974 г. выехал в Израиль, живет в Иерусалиме. Печатался в журнале «Время и мы».

СТИХИ

Дмитрий Бобышев

КСЕНИЯ ПЕТЕРБУРЖСКАЯ

Юрию Иваску

1

Ну, что́ с того, что пил?.. Зато как пел «Блаженства»!
Из плоти искресах конечны совершенства

и кроткия жены изрядно поучах...
Что стало из того, что сей Никто исчах?

А то и вышло, что из Ада мрачной сени
восхитила его любви блаженной Ксеньи.

Коль с мужем плоть одна у вдовья жены,
чем плохи мужнины кафтанец и штаны?

— Ах, светелко супруг, я — ты, я — ты, я телом —
лампадка масляна; тебя во мне затеплим.

— Ты — это я, ты — я (и крестится скорей),
мой милый баринок, я нарекусь: Андрей.

И молится (язык да не прильпе к гортани):
— Благословивая брак в Галилейской Кане!

— Простри же, Чюдная, на этот брак — Покров...
Полковник баба — я, я — певчая Петров!

2

И, нищелюбая, бредёт она, — раздавши,
да что имение?, саму себя и даже

горазнее того... — с просвиркой поутру,
и хвалит Господа за — в башмаке дыру.

Морозец искрится; свет позлащает резко
снег между кирпичей, меж бочек свинорецкой

и сяжской извести, меж хохотов и крикс...
Толпа и гвардия. «Виват, императрикс!»

И ангелы плетут золотые канители.
— Ах, не спугните их. Ах, вот и улетели!

Ухватки ихние лишь Ксении видны:
— Что, люди русские? Пеките-ка блины!

— Дак ведь не масляница. Да октись ты, Ксения!
А тут Елисавет почила к Воскресенью...

За Ксенины блины, что знала наперёд,
скорей, чем за любовь, любил её народ

с поминок царских и —

3

... И вдруг прошло два века.
Стоит на кладбище Смоленском склеп-калека,

на «ладанки на грудь» растащен, а — стоит.
Не склеп — часовня. Нет, и не часовня — скит,

поскольку Божия не сякнет здесь работа!
«Святая Ксения, избави от аборта», —

наскрябана мольба. И дата — наши дни.
«Сдать на механика позволь.» «Оборони —»

Здесь — гривенник в щели. А там — пятиалтынный.
«— от зла завистников...» «Дай преуспеть в латыни.»

И — даты стёртые. «Споспешествуй в пути...»
И — «Отведи навет...» И — «Виноват, прости!»

И — «Благодарствую.» И — «Слава в вышних Богу.»
Христоблаженную, хлопочушу о многу,

о тёплой мелочи и о слезе людской,
её бы помянуть саму за упаковой,

горяще-таящую истово и яро...
Я помолился лишь «о нелишеньи дара».

Нью-Йорк, август 1980

РУССКИЕ КНИГИ

- КЛАССИКИ
- САМИЗДАТ
- ЛИТЕРАТУРА ЗА РУБЕЖОМ
- РЕДКИЕ ПЕРЕИЗДАНИЯ
- СЛАВИСТИКА

Представительство журнала

«КОНТИНЕНТ»

Свыше 1500 титулов на складе.

Требуйте каталоги

Subscription inquiries
should be addressed to



A. Neimanis • Buchvertrieb

8 München 40 Bauerstr. 28 • Germany

Мастерская

Владимир Филандров

ДРАЗНИЛОЧКА

О, Боже, как ждали их! Много-много месяцев... И возникали не раз ложные слухи: будто начали завозить — всякий раз, как бросались перетасовывать, теснить людей, но, оказывалось, вранье... И лишь за неделю до ноябрьских появились они — цыгане — и забили ими до отказа все камеры на третьем. Подарочек немалый каждому на праздник...

Правила насмарку пошли: что детей и взрослых в один корпус нельзя, и что мужчин и женщин — на одну галерку. Пригнали не один табор: уж какие там правила — разместили мужчин и женщин в шахматном порядке с двух сторон галереи, но всех на одном этаже...

Вот подарочек — так подарочек! Плевать, что тесней стало и на втором, и на первом, зато столько радостных перемен: вычистили для цыган все кондеи, перестали в глазок пялиться через пять минут, а лампочку — не то, что в пачуху «Севера» одевай, хоть и вовсе вывинчивай, весь день не заметят...

У цириков — мобилизация, военное положение, по пять рублей премии выписали: официально — к праздникам, а всем понятно, что за цыган, и приказ: все силы на борьбу с цыганьем! А с ними: хорошими, любимыми, дорогими, родными — поди управься! С ними цирики — не меньше, чем по трое, да и через запертую дверь боятся дело иметь!..

Для виду шелковыми сделались: мы вас да ваши песенки завсегда любили — хитрят, сволочи, нороят лаской и добротой, подхалимством да торговлей... Но долго им так не выдержать, а циричкам, тем более: хоть пальцами рот в улыбку растягивай — все равно, рожу со злобы корчит — кособочит и еле держатся, чтоб не броситься с киянкой на какую-нибудь красавицу длинноволосую, но нельзя в драку, и сами себя руками удерживают. В драку даже по уставу запрещается, и по уму своему, воробьиному, понимают, что нельзя с цыганами до того ссориться, чтобы в драку: на части разымут и мизинца потом не найдешь...

Ну, как тут быть? Как пятерку отработать, чтоб и к следующим праздникам не забыли? Вот! Ага! Что-то затеяли — будем смотреть, ни за что не упустим...

Приплясывает молодая цыганочка, ниточку с матрасовочки выдернула — дерг! На пальчик, на мизинчик намотала, назад размотала и в сторону глазка подмигнула... Но ни к чему не привяжешься.

Можно, конечно, и отобрать нитку. Да толку — ниток в матрасовке — мильон! Лучше посмотрим: что она с ниткой делать станет?

Эх! Раз-два: кружавá... Кружавчики!

По губам вальяжным, пухлым, влажным не спеша провела туда-сюда... Не запрещается, вроде... И опять подмигнула: ну, до чего нагла! Песенки мурлычет какие-то свои, цыганские...

Три-четыре: прицепили...

А красивая, сучка! Хоть и малолетка еще... Срежь сурового несения опасной службы и помечтать можно... Но и не отвлекаться!

Вот на верхние нары полезла, воздушный поцелуйчик послала: ох, наглая тварь! И чего-то все пальцами крутит, крутит, крутит и — блям! Темнота — нету лампочки!

Пять-шесть: кашу есть! Кашку...

Петельку-то из мокрой ниточки да на горячую лампочку: бжик! И посыпалась осколками...

— В кондей, падлу такую!

Это ж надо, самый детский фокус просмотрели, прозяпали: тьфу! Впрочем, чего досадовать: лампочки пока есть в стране. Зато от кондея не уйдет, не откроется, красавица!

— Без вещей на выход в карцер приготовься! Живо, живо, давай собирайся!

Всяка ведь палка да о двух концах... Окроме одной. Теперь и не уйдет от нее никуда! И как хорошо, что именно эта — длинноволосая — попалась: ей и лет-то нету шестнадцати, а не та: страшная да грязная, за петьдесят и грудастая...

— Я-т-те, сука, покажу сударственное мужество портить!

Посидит денек-другой в кондее, поголодает, померзнет: сама запросится за пятерку дать, что на премию выдали — жена-то и не знает, что пятерку дали, и спрятано хорошо. То есть, догадывается, конечно, но доказательств нету — поди, докажи!

А за пятерку в карцере жратвы скоко-хочет купит — разрешим: и сгущенки банку с кофеом — раз, и печенья «Мария» — два, и конфект «Коровка», если охрана к праздникам не все раскупила — три, и на махорку останется... Во как!

Да только разжиреет с пятерки-то! Конфекты ей! «Коровку»... Опять же, малолетка, еще и целка, небось...

— Рабочий, значит, вот строил, делал лампочку, а ты, значит, ломаешь!..

А лучше с Мурбабаевым да с Уширенко на троих: пятерку, так и быть, цыганочке, чтоб нежнее была, а с их червонца — литруху возьмем. Вот и не все в жизни — темная ночь!.. Уширенко понравится, он недоростков как раз и любит, он и срок свой за них имел,

пока в охрану вольнонаемную из СВП не перешел за год до звоночка...

— Значит, пама́ешь, рабочий на производстве восемь часов... Значит, памаешь, рабочий восемь часов у станка, рабочий, значит, стоял, создавал, а ты, значит — падла воровская — ломаешь!

Перво-наперво корпусному должна дать, чтобы в каморку пустил: это бесплатно, это автоматички, это сама понимать должна — не ребенок! Ну и конечно, дежурному по этажу, чтоб на стреме стоял от других дежурных, а то и те влезут за так...

И этот — старый хрыч — воспитатель: уж за шёсьдесят, а все два раза норовит влезть — и в начале, сразу за парторгом, и в конце, опосля всех, опять. И хоть бы рваным, хоть рублем, хоть когда поучаствовал — так это никогда! А скажи слово — такую вонь подымет: «Мы — коммунисты, мы — ленинцы, мы — в авангарде всегда!». И ясно вполне, что шутит, а ничего поперек не скажешь.

А что скажешь? Хоть в партию вступай назло ему! Во здорово! Он-те слово, а ты ему — два! С партейными только так и можно: кто кого перекричит...

— Варищ начальник корпусной! Шíte ложить!

— Докладывай...

— Значит, в тридцать девятой, значит, цыганка ниткой, значит, сломала лампочку...

— А нитку где взяла? Не отобрал почему?

— Ясно где... В матрасовке, товарищ корпусной. Предлагаю десять суток...

— Счас — пятнадцать! А ты тоже — дурак! — смотри лучше в следующий раз!

И тут — тышеголосое *Ур-р-а-а!* со всех этажей. И всюду — полная тьма. Покуда докладывал, цыганка волосок в голой лампочке ноготком — раз! И замыканье короткое на все здание — два!..

Семь-восемь: сено косим!

Тьфу, проклятые!

Семь бед — один ответ, гражданин начальник! Не знал, что ли? А не знал — не компетентен начальником быть. Вот давай-ка: покрутись теперь! Ищи мужика-монтера в хозобслуге. Пятерку и заплатишь со своего кармана...

— Корпусной, твою мать! Почему свету нету? Не по правилам! Жалобу! Бумагу давай!

— Успокойтесь, заключенный! Авария... Потёрпите!

— Свет давай! Сам потерпишь! Св-е-ет!!! В ООН напишем! У-Тану! В Пекин!

— Ты у меня, гнида слепая, премию получишь в следующий раз! — Злобным шепотом начальник цирку. — О бабах размечтался! О бутылке! — И кулаком возле морды. — Те будет премия!

Девять-десять: денги весит... Денюшки... Денжатки... Продолжать будем?

А то как же?! Чего там дальше?

Дальше-то?.. Одиннадцать-двенадцать: на улице бранятся...

И как бранятся! Ух — бранятся! Такими матюгами, что зекарям несчастным и не придумать ни в жисть! В самом кошмарном сне не приснятся...

Во-первых, бранятся вольные на кухне, во флигелёчке двухэтажном, кирпичном — они в темноте не нанимались работать...

Во-вторых, бранятся собаководы с конвоя.

В-третьих, и сами собачки концерт начинают, конечно, не все пока, но те, что поопытней, уже беспокоются и сердятся: чувствуют — к чему идет...

А к тому идет, что большой холодильник потек. Он — немолодой, весь ломаный-перечиненый и морозом не запасливый. А внутри, между прочим, не что-нибудь — не конфеты с кренделями — а мясо: триста кило на два дня для собачек и четыре эскалопа свиных для восьми особо опасных процессников, а главное — курица импортная: Клавдия с бухгалтерии полдня за

ней стояла и домой не взяла, спрятала в холодильник, чтоб не испортилась до праздников.

А собака — всякому известно — не человек: ее надобно исправно кормить, хоть и друг, но мясо с душком она есть нипочем не станет. Потому конвойные бранятся пуще всех: у них — полномочия чрезвычайные, ввиду чрезвычайной опасности, и им плевать с самой-самой высокой колокольни даже на главного начальника. Вот такая карусель...

— Гриш, а Гриш, как бы нам с тобой замыканьце отремонтировать?

— Трудно будет, шеф! Работа большая, серьезная... Инструмента опять же недостаточно...

— Да я ж тебе достал струмент! Еще в том месяце! Ведь даже прибор приобрели специальный — ток мерить — ты что, Гриша!?

— Так ворье ж кругом! Что ж — чуть отвернешься — нету уже... Надо новый прибор... Да тот и несовершенный был, начальник, вы — тоже: приобретаете, что попало...

— Как несовершенный?! Ведь двести рублей! Ведь даже ампер может мерить — как ты просил!

— Так что мне ваш ампер? Ампер — его и мерить нечего: он и так известный... Мне осциллограф надо, чтобы герц знать, а ампер — так что с него проку! Да вот еще — стану я объяснять: вы все равно не понимаете ничего!

— Ты только не обижайся, Гриш! Купим, все купим... Так ведь скоко дней пройдет, ты ж и меня пойми: пока через бухгалтерию, то да се... Ведь холодильник-то! Лай слышь какой стоит?

А лай стоит. И в камерах сердятся.

Всем напишем! И бумагу найдем! И перо! И чернильницу!

Тринадцать-четырнадцать: перо и чернильница...

Заключенных изолятора номер сорок пять
дробь один камеры двести тридцать шестой
коллективная жалоба

Начальнику изолятора подполковнику Петрищенко — *раз!*

Генеральному прокурору гражданину Руденко (город Москва, Кремль) — *два!*

Верховному Председателю Организации Объединенных Наций Советского Союза товарищу У-Тану (город Нью-Йорк) — *три!*

Господам из газеты «Белогвардейский махровый листок» (П.О.С.Е.Ф. Америка) — *четыре!*

В Красный Полумесяц (Индия) — *пять!*

Заявление:

По вине гражданина начальника корпусного в нашей советской тюрьме нету свету.

И мы лишены возможности повышать свой культурно-образовательный уровень.

Требуем немедленно рассмотреть наше заявление и по всей строгости Закона наказать в десятидневный срок гражданина начальника корпусного, в соответствии с Постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР о сроках и порядке рассмотрения жалоб трудящихся.

Пятнадцать-шестнадцать, восемнадцать-двадцать, тридцать, сорок, пятьдесят... Вот так!

КОМПЛЕКСЫ

Подъем в шесть, в одиннадцать — отбой: с чудовищным грохотом деревянной киянкой во всю мочь об железную дверь...

Но самое жуткое — радио, оно пострашнее круглосуточной лампочки.

«Доброе утро, товарищи! Шесть часов — московское время. Начинаем ходьбу на месте...»

Волк тамбовский товарищ тебе! Матюгальник, хрюкальник, дребезжальник!.. Сколько людей, сколько дней — столько проклятий найдется: палач многоопытный, прикинувшийся невинной воронкой светлосерой из плотной бумаги.

«Раньше, чем в прошлом году, началась ныне на полях страны массовая косовица хлебов...»

Что ни год — раньше! За полвека по неделе — вот и годик зажучили... И брюхом заметно: убирают, что не сажали еще! Зечкам бы такой календарь!..

«В четвертом году будущей пятилетки уже живут и трудятся передовые ткачихи камвольного производства на сидоровском трижды орденоносном швейном комплексе. Вчера на открытом партийном собрании они единодушно взяли на себя обязательство выполнить до конца текущего года план еще трех лет работы...»

Кобельно-сучьего производства!.. Трижды проклятого!.. А замуровано радио в полуметровой каменной нише и — хоть тут высшая справедливость! — как люди, за тремя решками...

«Одиннадцать часов — московское время. Начинаем производственную гимнастику! Ходьба на месте...»

Всё начинают, начинают, начинают!.. И не достанешь ничем, чтобы кончить, не удушить, не проткнешь, а только — бессильно кулаком по решке: раз, другой, третий — пока кровь не потечет по пальцам, и тогда в слезы: замолчи, заткнись, заглохни — палач!.. Но безо всякой пользы слезы...

«Начинаем передачи внутреннего радио изолятора. Прослушайте правила внутреннего распорядка, затем, по многочисленным просьбам заключенных, очередное повторение беседы врача областной больницы управления внутренних дел товарища Кузьки»

ной о профилактике кожных и венерических заболеваний в местах лишения свободы. Все отзывы передавать корпусному начальнику. Благодарим за внимание!..».

Ох-ох-ошеньки!.. А мужики умеют... Все умеют: даже спицу стальную у шмонялы откупить за часы и победно проткнуть говорильник — о, Валенсия, как вчера, все свежо в памяти, да здесь-то побольше проку от этого их публичного подвига! — а потом: еще, и еще, и еще, пока не захрипит в агонии, и — райская минута! — совсем умолкнет. Сделали радио!..

Но тотчас забегают, засуетятся корпусные и тот самый шмоняла, что спицу продал, явится и громче всех будет орать, дознаваться: где взяли и где спрятана? Вдруг ненадежно укрыли — тогда пеняйте на себя: тут — спортивная игра, кто кого, с призами: отыщет шмоняла, ищи опять что-нибудь на продажу, а нет — до следующего шмона, через неделю... Или скорей надо успеть новый динамик поставить, чтоб проткнули. Вот тогда-то!.. Уж тогда, со второго-то раза: не отдадут спицу — и в кондей кого-нибудь можно...

«С опережением графика началась комплексная уборка зерновых на полях области. Как всегда загодя подготовился к жатве комплексный отряд знатных механизаторов антоновского машинно-тракторного ремонтного комплекса...».

Но мужики — известное дело — жадные... Жаднющие! Спицу не пришлют «на коне» с этажа на этаж. Какую любовь ни пиши в записках... Жадные!

«Дополнительный миллион комплексных обедов сошел с конвейеров октябрьского пищекомплеса петровской фабрики-кухни с начала юбилейного года...».

Еще одного... Юбилейного, как всегда, текущего, проклятого, утекающего... Да хоть прядь волос исхитрись оторвать: и что им, горемычным, невымытые, по-

вядшие наши волосы! — и пришли в бумажке на нитяном коне... Хоть махорки от себя оторви, хоть фотку свою, столько прятаную, мятую-перемятую: «семьдесят четвертый год, Петергоф, весна...» — и чернила выцвели, еле видны на обороте... Хоть сала кусок из дачки с полчасночиной — все одно, на такой риск не пойдут: не одолжат спицу...

«Комплексная бригада ударников коммунистического производства, досрочно перевыполнив комплексное производственное задание, успешно завершила вчера ремонт комплексного стана новогорбальского металлургического комплекса...».

Хоть распахнись, безо всяких комплексов, на секундочку малую у глазка их двери, когда ведут коридором в баню! «Здравствуй, мой горячо любимый и пока незнакомый Коля! Сегодня я пойду с конца третьей, сразу следом за Марией, у меня каштановые волосы и немного выются, а глаза — серые, но и зеленые немножко, в общем, ты сразу узнаешь... Крепко целую! С нетерпением жду нашей встречи!...».

Хоть мелькни, как неделями в письмах просят, всем белым телом перед камерой: и тут же — пинок в спину со всей силы от цирички — ревнует, стерва! — все одно, дохлый номер, спицы не будет... И обманывать, обещать не станут... Любовь, дорогие сестрички, любовью, а спица — извините — врозь. Махорочки — это всегда пожалуйста... Спичек...

«Широко распахнул свои двери в этом году для будущих девушек-производительниц иваньковский комплексный учебно-производственный комбинат. Благодаря новой усовершенствованной комплексной программе производственного обучения, всего за шесть месяцев, вдвое быстрее, чем в прошлом году, они смогут полностью освоить здесь увлекательную современную профессию бетонщицы. Это означает, что еще до открытия съезда Ленинского Комсомола

новый отряд девушек-производственниц пополнит строительные комплексы страны...».

Вот они — рядышком, на соседних нарах, на полу — бывшие девушки-производственницы. В шесть — подъем, в одиннадцать — отбой.

Ах, отбой? И десятиэтажным матом в ответ — рифмованным, каждый день новым...

В одиннадцать — отбой, в шесть — подъем, с чудовищным грохотом деревянной киянкой со всей силы об стальную дверь...

«На бывшем пустыре вырос новый спортивный комплекс...».

Да обо...сь бы вы тыщу лет со своим спортивным комплексом!

А пока не вернулся циррик, пока грохочут киянки и матюги в конце коридора, быстро — скорей же! — папиросную пачуху на лампочку: иной раз полчаса провисит, пока не начнет желтеть-загораться картон от раскаленного стекла, или пока не ворвется с угрозами и грохотом надзирательница. «В кондей захотели, сикодявки! Счас устрою!». Ага, давай-давай: устрой — отыщи, кто из десяти повесил! Пугать нечего — пуганые!.. Тоже и меру надо знать — орать!.. Зайти-то боишься: ишь, на полшажка, за дверь двумя руками держась, и скорей бегом назад...

«И не вручную, как в дедовские времена, а с помощью малых технических комплексов, сняли в этом году первые персики и виноград в шибяевском экспериментальном комплексном садоводстве... Вскоре их урожай будет целиком отправлен на экспорт — чабанам дружественной Монголии...»

Да ножницы, что ли, их малые комплексы? Как не сойти с ума? Есть вот, оказывается, на белом свете и комплексный виноград, и ручные персики... О, Боже! Малый технический виноград и стальная экспериментальная птица... Ну, как достать ее!

ФИЛАНДРОВ Владимир — родился в 1947 г. в Ленинграде. Был внештатным сотрудником ленинградских газет. Провел три года в заключении за отказ от военной службы. В настоящее время живет во Франции.

ПАМЯТИ ЮРИЯ ТРИФОНОВА

Случайная смерть, стечение несчастных обстоятельств, отчего на душе еще тяжелее. Тем более, что в последние годы Юрий Трифонов становился в своей прозе всё серьезнее и значительней. Он принадлежал к баловням нашей системы. Уже в молодом возрасте Юрий Трифонов получил Сталинскую премию за свой первый роман «Студенты». Перед ним были открыты двери всех газет, издательств и журналов. Его привечали и ласкали в официальных инстанциях. Тем труднее и мучительнее далась ему переоценка еще вчера незыблемых для него ценностей и собственной писательской судьбы вообще. Он оказался одним из тех немногих в своем поколении, кто сумел пройти через этот возрождающий катарсис. Трифонов, правда, не пошел против течения, но и не пошел по течению, он, если можно так выразиться, стоял против него — этого течения, — что в условиях нашей системы тоже подвиг.

Он не мыслил себя вне страны, поэтому заранее отметал всякую мысль об эмиграции. Но, тем не менее, ему и в голову не приходило покупать себе душевный комфорт ценою беспринципных компромиссов или гражданского конформизма. Он не боялся открыто приходить на проводы коллег, уезжавших в эмиграцию. Он, к примеру, не побоялся так же открыто, на глазах у всех, встретиться со мною и Виктором Некрасовым у стенда «Посева» на книжной ярмарке во Франкфурте. И это по достоинству могут оценить те, кто знает волчьи законы тоталитарной мафии.

Трифонов умер в расцвете творческих возможностей, когда от него ожидали еще многого и многого, может быть, даже окончательного слова, которое оказалось бы решающим в его писательской и человеческой судьбе, но всё, к великому сожалению, обернулось иначе. От нас ушел еще один подлинный русский прозаик. Вечная ему память!

Владимир Максимов

СТИХИ

Виктор Кривулин

ГОБЕЛЕНЫ

Иное слово и цветные стёкла.
Чужие розы витражей.
На гобеленах времени поблекла
гирлянда бледная длинноволосых фей,

засох венков. Но были бы живыми —
всё не жили бы здесь,
где платьев синий пар в серо-зеленом дыме
неразличим, уходит с ветром весь...

Музейных инструментов мусикии
волноподобные тела
звучали бы для нас, как мёртвые куски
когда-то цельного поющего стекла...

Как хорошо, что мир уходит в память,
но возвращается во сне
преображённым — с побелевшими губами
и голосом, подобным тишине.

Как хорошо, как тихо и просторно
частицей медленной волны
существовать не здесь — но в море иллюзорном,
каким, живые, мы окружены.

Когда фабричных труб горюют кипарисы,
в зелёных лужицах вяьсь,

весь город облаков, разросшийся и сизый, —
вот остров мой и родина, и власть.

И связь моя чем призрачней, тем крепче,
чем протяжённей — тем сильней...
К тому клонится слух, что еле слышно шепчет; —
к молчанию времён, каналов и камней.

К тому клонится дух, чьи выцветшие нити
связуют паутиной голубой
и трепет бабочки, и механизм событий,
войну и лютню, ветер и гобой.

Так бесконечно жизнь подобна коридору,
где шторы тёмные шпалер
скрывают Божий мир, необходимый взору...
Да что за окнами? простенок ли? барьер?

Лишь приблизительные бледные создания,
колеблемые воздухом своим,
по стенам движутся — лишь мука ожиданья
разлуку с нами скрашивает им.

Так бесконечно жизнь подобна перемене
застывших туч или холмов,
длинноволосых фей, упавших на колени
над кубиками чёрствыми домов...

Так хорошо, что радость узнаванья
тоску утраты оживит,
что невозвратный свет любви и любованья
когда не существует — предстоит.

ОБРЯД ПРОЩАНИЯ

Обряд прощания. Стеклянного дворца
текут под солнцем тающие стены.
Всё меньше нас, всё тоньше перемены
в погоде и в чертах лица.

Я вынужден принять условия игры
И тактику условного пейзажа.
Почти не ощутимая пропажа,
но память задаёт прощальные пиры.

С красотостью, настолько явной, что
бессильны обвинения в безвкусьи,
воссоздаётся мир, куда вернусь я,
не сняв сапог, не расстегнув пальто.

Витиеватый парк. Ограда. Жар холмов
и пиршественный стол длиной до горизонта,
где синий город облачного фронта
или далёких гор истаявший дымок.

Итак, мотив прощанья окружён
приличествующим — и даже слишком — фоном.
Но стол уставлен звяканьем и звоном
невидимых стаканов. Но смешон

обычный жест: округлена ладонь,
приподнят локоть. Воздух полусогнут.
Цилиндрик пустоты сжимают пальцы. Дрогнут,
как декорация, едва их только тронь.

Фанерные деревья, чуть задень,
на луг досчатый валятся со стуком,
и холм уходит, пожираем люком,
и пиршественный стол скрипя втекает в тень.

Обряд прощания не примет красоты —
при всей тьятральности он пуст и непригляден,
и выглядит добро собраньем дыр и пятен,
стеченьем голых стен, где обомлеешь ты,

как рыцарь, над раскрытым сундуком.
Считать потери — звонкое занятие,
достойное и звания и платья,
ветшающего исподволь, тайком.

Всё меньше нас. Поэтому любой
себя не назовёт единственным — но многим.
Теряя, обретаю в эпилоге
Ничто — стеклянный пол и купол над собой.

Так Леонардо в комнате зеркал
обряд прощания довёл до высшей точки,
где множественный образ одиночки
в распаде и дробленьи возникал.

ТЕЛЕГРАММА... ТЕЛЕГРАММА... ТЕЛЕГРАММА... ТЕЛЕГРАММА... ТЕЛЕГРАММА...

Андрею Сахарову

В день Вашего шестидесятилетия наилучшие
пожелания Вам, Вашей семье и Вашим друзьям.

Андре Львов

(лауреат Нобелевской премии по биологии — Ред.)

ТЕЛЕГРАММА... ТЕЛЕГРАММА... ТЕЛЕГРАММА... ТЕЛЕГРАММА... ТЕЛЕГРАММА...

ЯСНЫЙ ВЕЧЕР НА ДОБРОСЛОБОДСКОЙ

посмотри на улицу
город домовит
город дымовит
мороком овит
пахнет хворью хлоркою
овощем и проч.
сыплется с лефортова
видимая ночь

ДОМ НА ДОБРОСЛОБОДСКОЙ

Тоска, братец ты мой!
Возвращайтесь скорее домой.
Возвращаюсь домой.
Дом наёмный, да мой.
Согреваюсь, дрожа,
испареньями ванн.
Полумесяц ножа,
чайник, чай да диван.
Я хожу и хожу
по кровавому мирному полу
в христианскую мудрую школу.
Только птицу я не завожу.

* * *

твёрдоплотный гранит
с подоплеками осп
где бузит реквизит
берёзобузин
где лежит имярек
попереками рек
комариными тучками взбучками
тупичков
впадин обломчивой скорлупой голубой
где любой

* * *

С перебитою лапой
скребусь у порога
папы,
хоть я с ним не согласен.
Мне дают пальто
из тёплого драпа.
Месяц январь
поразительно ясен.

РАССВЕТ В НОЯБРЕ

Прими трамваев дзен-буддизм
и куполов златую новость,
и большевизмо-меньшевизм
проезжих дам, и слов слоновость.

Ах, как не стать среди растяп,
среди карнавала с караваем,
когда вневременный октяп
в тебя Авророю вplyваем?

* * *

Причём тут, собственно, Дантес
и заговор, и свинство?
Не тот, так стало быть Данзас
или дантист из Двинска.

Что неуверенность в руке
и сплин, и непогода?
Ведь смерть его
в любой строке
тридцать шестого года.

ГЕРФ Евгений — родился в Москве в 1940 году. По образованию врач. Публиковался в альманахе «Аполлон - 76».

* * *

Ты мне не верь, как я себе не верю,
Когда разрывом брежу наяву.
Единственная в жизни есть потеря,
Которой точно не переживу.

Не верь словам усталости и боли,
Когда гримасой скашивает рот,
Когда я слепну и помимо воли
Вдруг зарываюсь в землю, точно крот!

Поверь тогда, когда сомкнутся руки,
Когда от счастья я едва стою,
Когда спасён от губельной разлуки,
Дышу на шею тонкую твою.

ГАМЛЕТ

Так значит, Гамлет, все-таки ты смог,
Когда уж самого свалили с ног.
А если бы не развезло Лаэрта?
И ты не знал, что лезвие натёрто?
Ты б умер, так и не успев убить,
Так и не зная... «быть или не быть»?
Качает Гамлет грузной головою,
Не справится с работой черновою.
Ни смуться принцу с королевских глаз,
Ни опереться на поддержку масс.
Интеллигент. Студент из Виттенберга,
Толпа с тобою Клавдия бы свергла,
Тебе бы только сладить заговор

И короля казнить, который вор!
Но ты не мстишь, как подобает сыну,
И маешься, врагу подставив спину,
Рискуя раньше жертвы умереть,
Пытаешься убийцу припереть.
Беги, беги из проклятого действия,
Где ты идешь на поводу злодейства,
Где поступаешь истине назло!
О, сколько жертв пижонство принесло!
Не воин ты, так лучше б и не брался,
Ведь это специальность Фортинбраса!
Ну, что ты миру нового сказал,
Когда рапирой Клавдия пронзал?
Ах, Гамлет, бедный принц,
сошедший с мерки!
Нет, видно, не спасут тебя от смерти.
Любимым сыном жертвует Земля,
Чтоб зло пронзить в обличье короля.
... Но медлит гений прибегать к рапире,
Чтоб сумму зла не увеличить в мире.

* * *

О нет, не жду я осени златой.
Нет, не ее замыслила природа.
Склоняется десятый месяц года
И стынет дуб, как памятник литой.

Все знаю я: деревья, не дыша,
Заканчивают действие хлорофилла.
Но на прощанье мир озолотила
Листа неповторимая душа!

И зелень, доживающая век,
Пронзительно сияет напоследок,

И день повис на окончанье веток,
Как будто хочет подтянуться вверх...

Все знаю я. Мучителен союз
Живого с мертвым, да и где граница...
Я больше не надеюсь — повториться.
Все знаю я. И правды не боюсь.

Но странная довлеет доброта
Вокруг меня, как поле силовое,
И полон мир словесностью живую —
Исповедальным шелестом листа.

ЗУГМАН Яков Наумович — родился в Одессе в 1931 году. Его отец был инженером-строителем. Яков стал врачом — и поэтом.

Чтобы жить в столице, Якову пришлось работать несколько лет на целине, в Казахстане, а потом начинать с самого низа врачебной карьеры в Мытищах — Москва так и не пускала вовнутрь. В Мытищенской больнице он проработал до конца жизни (он умер в 1977 г.), хотя в последние годы жил уже в Москве.

Стихи Яков Зугман писал больше двадцати лет, и в Москве он вскоре нашел единомышленников — поэтов всех возрастов, практически не печатавшихся. Это и была основная объединяющая их черта — неофициальность, и потому внутренняя и творческая свобода. В течение пятнадцати лет Яков был активнейшим членом такого литературного объединения.

Россия и действительность

Валерий Чалидзе

САХАРОВ И РУССКАЯ ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ

Я думаю, это началось в начале прошлого века. До этого культура в России существовала в основном в кругах, приближенных к трону, и существовала под покровительством короны. Но при Александре I — быть может, под влиянием его же неосуществленных либеральных намерений — какая-то часть талантливой и творчески настроенной публики отделила себя от покровительства трона и образовала еще не социальный слой, а лишь отдельные группы интеллектуалов, не только независимых от власти, но к этой власти настроенных более или менее оппозиционно. Это отделение происходило постепенно. Еще Пушкин, который известен своим свободолюбием и своей независимостью от власти, продемонстрировал в конце жизни, что такой отрыв культурной публики от власти и от сконструированной властью иерархической структуры был странен, неестественен: мы помним полуготовность Пушкина примириться с императором. Но, хотя не все это тогда осознали, отрыв культуры от власти в России произошел.

Почему я начал так издали? Потому что без понимания места интеллигенции в России, в российском обществе мы не поймем места Сахарова в теперешнем российском обществе. Сахаров — это не только героическая фигура, возбуждающая восхищение всего мира своим призывом к соблюдению прав человека и к свободе. Это также и трагическая фигура на

фоне русской истории, на фоне истории русской интеллигенции.

Кто виноват в этом конфликте власти и культуры в России? Наверно, обе стороны. Конечно, власть, желавшая подчинить развитие культуры своим целям, желавшая видеть в интеллигентах в большей степени пропагандистов имперского величия, чем свободных художников и ученых, и в то же время сами интеллектуалы, которые, вступив не в однодневный, а в двухвековой конфликт с властью, оторвали себя от участия в позитивном политическом процессе в России, избрали в этом процессе исключительно негативную роль, роль критиков, и в результате, в конце прошлого века, роль разрушителей существовавшей системы. Образовался особый, ни с чем не сравнимый слой — русская интеллигенция. Я не вижу ничего подобного в западных странах. Здесь есть интеллектуалы, здесь есть деятели культуры, противопоставляющие себя власти, но, вообще говоря, нет слоя, который играл бы в обществе ту же роль, что и русская интеллигенция.

История развития этого слоя в России и трагична, и величественна. Этот слой содействовал разрушению вековой российской империи, но после революции, когда власть переменялась, этот слой остался в оппозиции к власти и сама власть стала в оппозицию к слою, ее породившему. Быть может, это потому, что по сути, по идеологии этого слоя он должен находиться в оппозиции к власти. Мы много знаем о кровавом преследовании интеллигенции во времена советской власти, мы знаем о том, что истребить интеллигенцию не удалось и что интеллигенция по-прежнему существует в России и вклад ее в мировую культуру продолжает быть заметным. Но трагедия этого слоя не только в том, что он преследуем, трагедия этого слоя для истории России, для судьбы народа этой страны в том, что этот слой исключил себя из политического процесса. Этот слой не просто по стечению

обстоятельств, но принципиально по идеологии своей отказывается от всего, что приблизило бы его к принятию решений о судьбах страны. С точки зрения этики этого слоя, считается постыдным для человека, принятого в интеллигентных домах, занять какое бы то ни было положение, связанное с принятием государственных решений. Мало того, постыдным, с точки зрения этики этого слоя, является обычное, общечеловеческое стремление к успеху, к построению карьеры. Я вспоминаю своих друзей-интеллигентов в России, для них слово «карьера» — слово ругательное, постыдное. Главное, что ценится в этике этого слоя, — это более или менее беззаветное служение культуре, идеалам искусства и науки без явного стремления к признанию своих успехов обществом и властью.

С одной стороны, Сахаров по своему психическому складу, по своей этике, даже по характеру суждений, даже по убеждениям — это типичный представитель русской интеллигенции. С другой стороны, это человек, не только согласившийся на занятие государственных постов, но и достигший больших успехов в государственной иерархии и много сделавший для укрепления существующей в России власти. Всем известно, что он сделал большой вклад в разработку военного применения термоядерной реакции, что он много лет занимал руководящее положение в системе военно-промышленного комплекса и за успехи был удостоен высочайших правительственных наград. Такие случаи бывали. Интеллигенты, бывало, и раньше соглашались на занятие государственных постов и достигали успехов, но при этом они, как правило, переставали быть интеллигентами в специфически русском смысле этого слова, при этом интеллигенция уже не считала их своими.

Сахаров не перестал быть интеллигентом, он не потерял способность мыслить независимо не только в области науки, но и в области общественной, там, где

государственная иерархия не считает его вправе мыслить независимо. Он не потерял способности быть честным и не скрывать этого. После многих лет деятельности в государственной иерархии он в 1968 г. с шокирующей прямоотой высказал свои мысли о развитии российского общества и об опасностях, подстерегающих мир. Это было честное выступление, к которому властям следовало прислушаться. Но это было слишком непривычно — государственная иерархия исторгла Сахарова. Власть еще раз продемонстрировала симметрию в отношениях с интеллигенцией. Интеллигенция не приемлет власть всей своей этикой, фактом своего существования. Власть отвечает ей тем же. Симметрия, впрочем, неполная: власть сажает интеллигентов в тюрьмы или ссылает в места, подчас весьма отдаленные.

За годы своей общественной деятельности Сахаров стал символом свободы, символом неприятия тирании, за эти годы Сахаров сказал много разумного и хорошего. Но, когда я думаю о будущем, мне кажется, что в историю он войдет прежде всего тем, что он был одним из тех немногих смелых интеллигентов, которые пытались сломать барьер между властью и культурой, пренебрегая этическими запретами своего слоя и пренебрегая тем непониманием, которого он неминуемо должен был ожидать со стороны властей.

Такие попытки были и раньше, но власть и интеллигенция ни разу не пытались сблизиться одновременно: попытки одной стороны пойти навстречу разбились о непонимание другой. Александр II проводил прекрасные реформы, которые должны были импонировать интеллигенции, но, увы, тогдашняя интеллигенция не хотела ждать постепенных сдвигов; тогда, во второй половине XIX века, она начала оттачивать топор, который рубил ее же головы после 1917 года.

История — насмешница. Упущен был момент, не пошли навстречу реформам Александра II и мани-

фестам Николая II, и пришлось идти навстречу Брежневу — всё диссидентское движение началось с попытки диалога с властью. Но тут уж власть оказалась глуха и недалёковидна — не отозвалась на этот шаг интеллигенции. Так и нет внутреннего мира в стране.

Я не хочу делать рискованных прогнозов, но я не исключаю, и даже надеюсь, что будущее мирное развитие ситуации в России приведет когда-нибудь к тому, что власть осознает необходимость сотрудничества с интеллигенцией без того, чтобы пытаться интеллигенцию переделывать и мешать ей оставаться честной. И, быть может, когда-нибудь ситуация в России изменится настолько, что, как и в других цивилизованных странах, интеллигенция перестанет считать зазорным для себя участие в политическом процессе, а следовательно — в процессе управления своей страной. Это звучит утопично, но Сахаров дал пример того, что это возможно, дал пример того, что можно быть причастным к процессу управления страной и в то же время остаться интеллигентом, остаться честным и искренним человеком.

Историческая трагедия личности Сахарова не в том, что прервалась его государственная карьера, не в том, что в своих усилиях по защите прав человека он потерпел много неудач, не в том даже, что он подвергся ссылке. Трагедия этой личности в том, что он противопоставил себя двухвековому историческому заблуждению, противопоставил себя двухвековой розни между интеллигенцией, представляющей дух российского общества, и властью, представляющей его силу.

Я не пытаюсь какой-либо одной причиной объяснить многочисленные трагедии, постигшие Россию за эти два века, но эта рознь, это непонимание интеллигенции и власти — несомненно, одна из важных причин многих трагедий. Я не думаю, что гармоничное развитие российского общества в будущем воз-

можно без преодоления этого двухвекового конфликта. Этот конфликт слишком глубок, ни одна сторона не сделает первого шага в ближайшем будущем. Преодоление этого конфликта зависит только от смелости людей в том, чтобы побороть существующее непонимание, и Сахаров в наше время был первым выдающимся смельчаком, который, будучи государственным человеком, не только не перестал быть интеллигентом, но и продемонстрировал это.

«РУССКАЯ МЫСЛЬ»

Крупнейшая русская еженедельная газета на Западе

Почетный директор Зинаида Шаховская

Главный редактор Ирина Иловайская-Альберти

Редакция и контора: 217 rue Fb. St. Honoré,
75008 Paris

Стоимость подписки во французских франках:

	3 мес.	6 мес.	12 мес.
Франция	45	85	150
Заграница	54	95	170
Авиапочтой:			
США, Канада, Южн. Америка, Южн. и Центр. Африка	76	140	250
Сев. Африка, Греция, Турция, СССР	56	102	190
Иран	64	118	215
Австралия, Китай, Япония	95	180	340

ИМПЕРИАЛИЗМ И НАЦИЗМ

1. Оценка империализма

Прежде всего уточню, что я не придерживаюсь марксистского определения понятия «империализм». Империализм отнюдь не является «высшей стадией развития капитализма» и следствием «господства монополий и финансового капитала», которым, дескать, нужны были рынки для сбыта товаров и вывоза капитала (Ленин). Наоборот, капитализм является детищем империализма, а не его родителем.

Империи зарождались, существовали и распадались еще в рабовладельческие времена (Рим, Китай). Оттоманская империя (XV-XIX вв.) тоже создалась без участия единого капиталиста. Да и наша Российская империя ничем капитализму не обязана. Первым императором был Петр Первый, а имперские тенденции появились еще в шестнадцатом веке. Да так на чисто капиталистический путь она и не вышла. По не совсем верным словам того же Ленина, Россия «шагнула прямо из феодализма в коммунизм». Шагнула и увязла, как в кипящей смоле.

И распадались древние и современные империи не из-за «внутренних противоречий» и, тем более, не из-за «политического возмужания пролетариата», а совсем по другим причинам. Рим погиб из-за чрезмерного гедонизма, охватившего и угнетателей и угнетенных. Китай — из-за совершенно несвойственного империализму (по учению Ленина) изоляционизма. Оттоманскую империю разгромили другие, более могущественные империи (в основном, ради защиты единоверцев-христиан). Западноевропейские империи, превратившись в демократические государства, а не в

коммунистические (как рассчитывал Ленин), сами «распустили» свои империи. Только Россия как будто «выполнила завет Ильича», шагнув в коммунизм. И этот единственный случай исполнения пророчеств Ленина оказался самым катастрофическим для *всего* населения империи и всего мира. Катастрофичен даже для тех «угнетенных народов», которые больше всего способствовали воцарению коммунистов (китайцы, латыши и др.), а особенно немцев, выпестовавших ленинцев.

Учитывая эту полную несостоятельность марксистского учения, я буду придерживаться принятого на Западе определения понятия империализм. Обобщая различные западные толкования, можно сказать, что империализм — это концепция, имеющая целью образование империи, т. е. большого, объединенного под единым правительством государства (*imperium* — власть, господство). Империалисты стремились объединить несколько мелких, национально родственных государств, чтобы путем расширения территории и увеличения природных и человеческих ресурсов создать мощное государство, способное более успешно экономически развиваться и обороняться от своих соседей. Или — что греха таить — способное покорять слабеньких соседей (даже не с родственными народами) и весьма далекие заморские просторы, населенные дикарями. Но эта завоевательская тенденция появилась позже, когда исчерпались возможности расширять государство за счет родственных мелких государств. Аппетит пришел во время еды!

С наступлением феодального периода, когда право наследственности получили (в той или иной степени) все прямые наследники феодала, процветавший в древности империализм почти совсем сошел со сцены. Государства дробились, слабели и экономически беднели с каждым новым поколением «класса» властителей. Чтобы получить от отца владеньице побольше, на-

следники нередко убивали своих сонаследников-братьев. Чтобы расширить свое владение (тоже имперская тенденция) за счет соседа, нужно было уничтожить его армию и убить его самого. В результате, во второй половине феодального периода Европа превратилась в банку с пауками. Чтобы выжить, пауки должны были грызть друг друга.

Единственной объединяющей силой была власть Ватикана. Но она объединяла своих пасомых только для борьбы с иноверцами (мусульманами, православными, а потом и протестантами). Это и спасло Европу от посягательств могущественной Османской империи и, отчасти, татарского нашествия. Разделу же государств между наследниками Ватикан не препятствовал. Их объединение угрожало бы могуществу «имперского» Ватикана.

На этом фоне возрождение древних имперских идей безусловно представляется положительным явлением. Объединение наших многочисленных княжеств, французских, испанских, итальянских, великобританских и германских феодалов под единые имперские короны было необходимым условием для зарождения и развития современной индустрии, финансовой системы, модернизации сельского хозяйства; для быстрого распространения образования и развития научно-исследовательских работ. Все виды искусства тоже оказались в более благоприятных условиях (хотя они процветали и при феодализме).

Социальные условия жизни также претерпели изменения к лучшему. Вместо двух классов, всемогущих властителей и совершенно бесправных подданных, появился «средний класс» — промышленники, финансисты, коммерсанты, частные земледельцы.

Главнейшее же изменение произошло в «психологии» людей. Если при феодализме каждый житель маленького княжества (герцогства, графства) поневоле должен был считать врагами или, по крайней мере,

потенциально опасными иностранцами жителей соседних княжеств, то теперь весь народ слился в единую семью, нацию, хотя этнически зачастую и многонациональную (англичане, ирландцы, шотландцы или испанцы, каталонцы, галисийцы, баски). Тесно окружавшие враги отодвинулись теперь на сотни и даже тысячи верст. Жизнь «на осадном положении» кончилась. Наступила возможность жить и трудиться, спокойно думать не только о завтрашнем дне, но и о далеком будущем. Эти мирные условия очень способствовали развитию частного хозяйства, а с ним и хозяйства государственного.

Все это, конечно, только очень упрощенная схема. Переход от феодальной россыпи к имперским монолитам не проходил гладко, а тем более — мирно. Говоря по совести, издержки переходного периода были велики. Но с издержками перехода от империализма к «социализму» они ни в какое сравнение идти не могут. Да и результат этих издержек совершенно противоположен. Там было положено начало материального, социального, культурного и научного прогресса, а здесь — наоборот.

Наиболее отрицательной чертой империализма надо считать его экспансивность, которая, например, в Британской империи привела к тому, что в ней «не заходило солнце». Но и тут разные империи по-разному повинны в угнетении покоренных народов. Англичане и испанцы были наиболее жестокими. Французы и итальянцы — более мягкими. Русские не смотрели на покоренные народы как на рабов, и в «колониях» зачастую жилось коренному населению лучше, чем крестьянам в «метрополии». Лермонтов написал часто бросаемое коммунистами и нацистами нам в упрек стихотворение «Прощай, немытая Россия, страна рабов, страна господ...», уезжая не в демократическую Америку, а на Кавказ, в «российскую колонию», где жилось свободнее и лучше, где не было ни

рабов, ни господ. И если ни одного индуса или эфиопа мы не видели на правительственных постах Англии, то в Российской империи там встречались и грузины, и татары, и украинцы, и белорусы. А среди интеллектуальной элиты уж и совсем не было различий между «эллинами и иудеями».

Спору нет, между объединенными в одно государство народностями и нациями происходили трения, и не всегда они пользовались одинаковыми правами. А разве не было трений в национально «единокровных» государствах? Да и распри эти были несравненно меньшим злом, чем вражда между представителями одних и тех же народностей, расчлененных на мелкие княжества. И до определенного предела (во времени) эти внутригосударственные распри постепенно смягчались, старые обиды забывались, неравенство в правах сглаживалось; браки между представителями разных народностей очень способствовали этому.

2. Национализм — нацизм

Поворот в противоположную сторону произошел с момента зарождения ницшеанско-нацистских идей, когда вместо центростремительных сил начали развиваться центробежные. Даже в самых малочисленных нациях и народностях появились глашатаи несравненного превосходства данного народа и ничтожества и зловредности всех прочих. Угольки межнационального антагонизма долго тлели, не причиняя вреда государствам. Но с конца прошлого столетия кое-где вспыхнули большие пожары. Особенно в Германии, которая после замены империи демократией впала в такую «неразбериху», вконец разорившую ее и деморализовавшую, что, спасаясь от коммунизма, она кинулась искать спасения в национал-социализме. Последствия известны. Такими же были бы они, если бы Гер-

мания сдалась на волю коммунистов (в тридцатых годах).

И вот теперь, к концу XX века, некоторые политические деятели начинают все больше забывать о зле, учиненном миру интернационалистами-марксистами и национал-социалистами. Они обращают наше внимание не на них, а на зло, нанесенное империализмом и связанным с ним национализмом. Они призывают нас на борьбу не с существующим, тяжело гнетущим и быстро распространяющимся злом, а с давно отжившим — сменившимся на Западе демократией, а на Востоке советской тиранией — империализмом.

Здесь необходимо уточнить разницу между национализмом и нацизмом, между которыми нынче очень часто ставят знак равенства. Национализм, особенно христианский (а не безбожный, языческий), — явление интровертное. Он обращен внутрь своей нации и побуждает ее к единению, сплочению, внутреннему примирению и, главное, к внутренней национально-братской взаимопомощи. Короче говоря — к внутринациональной взаимной любви (следствие христианского вероучения). Этнически эти нации могут быть многонациональными (Россия, США и другие).

В мирных условиях сплоченная здоровым национализмом нация готова жить дружно и с другими народами. По нынешней терминологии — сосуществовать, вести культурный обмен (и торговый, конечно), находиться в «детанте». Среди цивилизованных стран так оно и было. Бывали и войны, но с наступлением мира сразу же все становилось на свои места. Никаких железных или бамбуковых занавесов не появлялось.

Нацизм экстравертен. Он тоже ратует за сплочение своей нации («расово чистой»), но не позитивными побуждениями, а сугубо негативными — противопоставляя свою нацию всем другим как высшую и разжигая звериную ненависть к другим нациям, особенно к соседям.

К сожалению, очень многие последователи разделения России (после освобождения ее) на ряд мелких государств опираются не на здоровый национализм, а на неподдельный нацизм. Они представляют это разделение не как раздел дружной крестьянской семьи в прошлом, а как «освобождение из тюрьмы народов», с непременным в таком случае озлоблением на всех, от кого данная народность отделяется. Такой «метод отделения» имеет корни не только в современном нацизме, но и в давно ушедшем в небытие феодализме, когда для приобретения себе лишнего клочка земли надо было убивать родного брата.

Чтобы убить брата, надо было и в себе и в своих подчиненных убить братские чувства и разжечь себя и их горячей ненавистью. Точно так же поступает и определенная часть наших «националистов» из «нацменьшинств». Вместо того, чтобы дать своему народу веские доказательства преимущества отдельной жизни (в области экономики, политики, культуры) перед совместной или «федеративной» жизнью, они предлагают только один тезис: русские — наши кровные, исконные враги, с которыми не только жить, но и дышать одним воздухом добрым людям нельзя. Или, пользуясь гитлеровской характеристикой, представляют русских унтерменшами. В «художественных произведениях» такого сорта националисты русских рисуют просто какими-то троглодитами.

Разжигание такой вражды никак не может пройти без соответствующих последствий. Тридцатые и сороковые года мы помним. Но предположим, что русские действительно заслужили (своим империализмом) жестокой кары. Предположим, что слезы Шевченки, кровь Шамиля и других национальных героев и негероев должны оплатиться русской кровью и русскими слезами. (Если забыть, что и русские за прошлое тысячелетие тоже пролили немало слез и крови, защищая и свои народы и чужие от многочисленных врагов.)

Предположим, что так по нынешним цивилизованным правилам необходимо поступать.

Что же получится? Во-первых, в любой войне, даже вражде без войны, страдает отнюдь не одна только сторона, а обе. Гибнут не одни подвергающиеся отмщению, но и мстители. Значит, пострадают не только «виноватые» русские, но и отделившиеся народы. Во-вторых, какое бы переселение народов ни произвели «националисты», начисто рассортировать распыленные по всей стране нации и народы вряд ли удастся. Да и невозможно все народы выделить в самостоятельные государства. В результате, на оставшейся в распоряжении русских земле, как и на отделившихся территориях, непременно останутся не только не имеющие своих «исконных территорий» евреи, греки, немцы, цыгане или слишком мелкие народности — якуты, тувинцы, юкагиры, но и представители «великих наций», давно породнившиеся между собою — с русскими и представителями других народов. Словом, и остаток России, и отделившиеся государства опять же окажутся многонациональными, если, конечно, последние не решат национального вопроса так, как гитлеровцы разрешали «еврейский вопрос».

В таком случае, за что же будут нести кару оставшиеся в России «нацменьшинства»? Ту же кару, которую готовят русским слишком рьяные «националисты». Это уж будет настоящее братоубийство.

В-третьих, — мой самый слабый довод в пользу мирной и дружной жизни (общей, отдельной или федеральной), — это христианство. Все мы, за малым исключением, виним коммунистов в их воинственном безбожии и в проистекающей из этого их бесчеловечности. Но разве разжигание межнациональной вражды согласно с христианским учением? А ведь очень многие «националисты» считают себя христианами. Православными или католиками — неважно. Да и люди, исповедующие другие религии, тоже разжиганием

ненависти грешат против своих моральных законов. Во всяком случае, я — верующий человек — совершенно уверен, что, буде народы нашей общей родины пойдут за проповедниками ненависти и тем, как в 1917 году, преступят Законы Божии, не будет и добрых человеческих законов. Из зла добро не вырастает. А жизнью во зле мы «наслаждаемся» уже две трети века. Не довольно ли с нас?

3. Здравый смысл

Понять все это и (потому) отвергать человеконенавистнические идеи может всякий здравомыслящий человек. Это отнюдь не является прерогативой «русских шовинистов», неких «единонеделимцев», а то и «черносотенцев». Достаточно быть непредвзятым, объективно мыслящим человеком любой народности и религии, чтобы понять, какое зло эти идеи таят в себе. И не только для тех, против кого носители этих идей разжигают ненависть, но и для их же нации и, в конечном счете, для них же самих. Германский пример и тут применителен.

Предлагаемое вашему вниманию (ниже) письмо составлено и подписано представителями разных народностей, религий и даже атеистов, но оно является ярким примером такого вненационального здравого смысла и в оценке «русского империализма» и «нездорового национализма». В 1951 году государственный секретарь США Дин Ачесон заявил о «кровной связи русского и советского империализма». Его «теорию» горячо поддержала газета «Нью-Йорк Таймс». Р. Абрамович, тогдашний редактор «Социалистического Вестника» (орган РСДРП меньшевиков, основанный Л. Мартовым), написал ответ в эту почтенную газету. Кроме него подписали письмо: М. В. Вишняк, нынешний редактор «Нового журнала» Роман Гуль, В. М.

Зензинов, Е. П. Иргизов, тогдашний редактор «Нового журнала» М. М. Карпович, А. Ф. Керенский, Б. А. Константиновский, И. А. Курганов, Б. И. Николаевский, Л. Б. Смирнов, Г. П. Федотов, В. М. Чернов и С. М. Шварц. Заподозрить этих старых революционеров, политиков и публицистов в приверженности «русскому великодержавному империализму» никак нельзя. И все же их здравый рассудок заставил их написать это письмо. Вот оно:

ПОЛИТИКА КРЕМЛЯ — НЕ НАЦИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА РОССИИ.

Открытое письмо редактору (газеты) «Нью-Йорк Таймс».

Милостивый государь!

Ваша передовая статья от 28 июня «Реализм по отношению к России», в которой комментируется речь Государственного Секретаря г. Ачесона, произнесенная в Хаус Форейн Аффферс Комити 26-го с. м., должна вызвать ряд серьезных возражений со стороны русских демократов, которые в свое время боролись за свободу против монархии, а теперь долгие годы борются за нее против большевизма.

Мысль, которая красной нитью проходит через речь г. Ачесона и, в еще более заостренной форме, через Вашу передовицу, сводится к тому, что, как Вы пишете, «советские властители следуют империалистическим русским традициям, с той только разницей, что к русской военной мощи они прибавили новые виды оружия: коммунистический заговор, революционную психологическую войну и косвенную агрессию».

Г. Ачесон со своей стороны утверждает, что Сталин является только продолжателем той политики завоеваний и экспансии, которую Российское

Государство вело на протяжении последних 500 лет.

Мы считаем эти утверждения совершенно ошибочными с исторической точки зрения. Но они еще гораздо опасней с точки зрения политической и для демократии русской, и для демократии мировой. Говоря об истории, не следует упускать из виду того, что не одно Российское Государство из маленького княжества, путем захвата и консолидации, превратилось в мировую империю. История всех других больших государств, возникших за последние столетия в Европе, и не только в Европе, — развивалась путем колонизации и экспансии, войн и захватов — всего того, что теперь принято называть экономическим и политическим империализмом. Ни в каких других терминах нельзя описать ни историю Британской Империи, ни историю Франции, Германии, Австрии — вплоть до конца XIX-го века. Но разве было бы справедливо, говоря, напр., о британском народе XX века, приписать ему стремление продолжать ту же политику захвата и колониализма, которую Англия вела в XVII, XVIII и в первой половине XIX века?

Русский народ не представляет в этом отношении исключения. Завоевательная политика русской монархии в основном закончилась в последнюю четверть XIX века. Попытка гальванизировать политику экспансии путем несчастной авантюры на Ялу (Манчжурия) в начале 1900-х годов встретила единодушное осуждение и вызвала сопротивление со стороны большей части русского народа, в особенности его передовых элементов. После революции 1905 г. и до 1914 г. русский народ и русская политика не были ни более воинственны, ни менее миролюбивы, чем политика других государств. И мы не слышали еще до сих пор со стороны ответственных политиков и писателей в США упреков в том, что Россия несет большую долю ответственности, чем ее союзники —

Франция, Англия и США, за общую оборону против австро-германской агрессии 1914-18 гг.

Первые шаги победоносной демократической революции в феврале 1917 г. были ознаменованы актами Временного Правительства, которые свидетельствовали о полном отсутствии у него каких-либо экспансионистских или воинственных намерений. Временное Правительство активно отстаивало перед союзниками мир без аннексий и контрибуций, на основах самоопределения всех народов, и само подало пример, добровольно дав захваченной царизмом Польше полную независимость.

Все эти меры в тот момент были поддержаны огромным большинством русского народа, который доказал не словами только, а на деле — в эпоху, когда он был свободен, — что так называемые «исторические традиции России» в смысле завоевательной внешней политики и угнетения национальностей отнюдь не являлись традициями самого русского народа.

Когда пришел большевистский переворот, историю и происхождение которого мы здесь сейчас не можем анализировать, — даже большевистская диктатура, которая была диктатурой с момента своего зарождения и уже тогда имела свои планы и перспективы будущего, — заняла — под давлением «не-традиционных» настроений огромных масс русского народа — позицию радикального отрицания каких-либо завоевательных или националистических настроений.

Лишь в результате своей внутренней эволюции, своей идеологии и всего своего политического существования большевистская диктатура, оказавшаяся по ряду исторических обстоятельств способной удержаться у власти в течение трети века, — создала государство совершенно нового типа, в истории еще никогда небывалого, — государства-партии, государства, в

котором всё: не только земля, недра, фабрики, дома, транспорт, но и самый народ является безраздельной собственностью диктаторской партии. Не Сталин — орудие в руках империалистического русского народа, а народ — орудие в руках партии Сталина. Эта партия, правящая методами неслыханного террора и насилия над народом, лишенным всякой свободы и всех возможностей сопротивления, ни по своим собственным воззрениям, ни объективно не является национальным правительством России. Она интернациональна по самой своей сути. Ее цели определяются не интересами страны и народа, которыми она правит, и даже не только заботой о своем самосохранении, а стремлением к безграничному расширению территории своего государства, в конечном счете, к господству над всем земным шаром. Но не в интересах российского государства или «великорусского племени», к которому, кстати, многие лидеры компартии вовсе и не принадлежат, — а в интересах международного коммунизма, для утверждения владычества возглавляемой ВКП мировой Компартии.

Именно непониманием этой основной истины, которую мы тщетно уже в течение многих лет старались внушить общественному мнению Запада, и объясняются очень многие роковые ошибки, совершенные союзниками до второй мировой войны, и во время ее, и после нее. Люди, сами стоявшие во главе своих стран и действовавшие в интересах своих народов, в первую очередь психологически не в состоянии понять душевного уклада людей из Кремля. Они их мерили своей меркой, приписывая им свои собственные мотивы и побуждения, и естественно, что их представления о вероятной политике Советской России неизменно оказывались ложными. Отсюда — Ялта, и Тегеран, и Потсдам, и политика по отношению к Китаю.

Ту же ошибку собираются теперь, по-видимому, повторить снова некоторые американские государ-

ственные деятели. Их в этом, к сожалению, поддерживает Ваш орган, пользующийся столь заслуженным вниманием во всем мире.

Объявляя Сталина, по существу, продолжателем «традиционной русской политики», Вы тем самым в известной степени отождествляете режим Сталина с русским народом, Вы возлагаете на русский народ, на его интеллигенцию, на его руководящие слои известную долю ответственности за политику Сталина. А это должно иметь свои политические и психологические последствия в самой России. Американские речи и статьи о тождестве сталинской агрессии с национальными традициями России будут подхвачены всей коммунистической пропагандой для построения своего антитезиса: «Значит, — скажут они, — борьба западных держав ведется не только против Сталина, как они до сих пор лицемерно утверждали, а против самого русского народа. Значит, Сталин в борьбе против Запада защищает не только себя, но и российское государство, но и русский народ».

Антинациональная и антинародная диктатура Сталина никогда не отказывалась прибегать к самой грубой пропаганде русского патриотизма, когда ей было это полезно. Так она поступила в самый критический период второй мировой войны, когда она лицемерно отказалась от интернационализма, от пропаганды коммунизма и всю свою пропаганду сосредоточила на разжигании патриотических и национальных инстинктов.

Мы считаем нужным предостеречь ответственных руководителей западных держав, в которых угнетенный русский народ видит своих естественных союзников, от опасной попытки — во имя исторических обобщений, не соответствующих исторической истине, — создать видимость общности интересов между сталинской диктатурой и русским народом. В той титанической войне, которая надвигает-

ся на них по вине сталинской диктатуры и только ее одной, одним из главных шансов победы демократии над варварством и рабством является активное содействие или, по меньшей мере, пассивное сочувствие широких масс русского народа. Этот шанс может быть потерян, если США и другие союзники не заявят без оговорок и ограничений, что борьба с их стороны ведется только против господствующей над народами России и сателлитов коммунистической диктатуры, но не против России или народов России.

Мы говорим о «народах России». Ибо российская демократия, в лице своих наиболее авторитетных и связанных с жизнью России течений, проявила твердую решимость к справедливому и демократическому разрешению вопроса о «национальных меньшинствах». Считая наилучшей формой будущей свободной России федеративную республику всех народов на основе равенства, российские демократы признают в то же время право каждого народа на полное самоопределение путем свободного демократического голосования под наблюдением Объединенных Наций.

Мы считаем, что нарастающая за последнее время атмосфера взаимного понимания и сотрудничества американской демократии и российской, проявившаяся в нарождении групп граждан, считающих российский народ своим союзником, и в заявлениях государственных деятелей и (печатных) органов, потерпит тяжелый урон, если ноты, прозвучавшие в речи г. Ачесона и в Вашей передовой, стали бы политикой США.

Нью-Йорк, 28 июня 1951 г.

Подписи: Р. Абрамович и др.

Еще за год до того, отвечая оппонентам из нашей эмиграции, Р. Абрамович писал («Соц. Вестник», июнь 1950): «Неправда, что она (сов. диктатура) соз-

дала в России подлинно-национальное государство и преследует национально-русскую, нужную русскому народу, политику. Ее политика вовне и внутри идет вразрез с самыми насущными и жизненными интересами народных масс... Моя главная задача... состоит в том, чтобы убедить русский народ там, что в той мировой борьбе, которая разыгрывается между сталинской диктатурой и демократиями, он (народ) тоже должен выбрать свой лагерь — в лагере демократии. Он может это сделать пока не физически, а морально, психологически. Но даже чисто моральное занятие позиций может сыграть огромную роль.

Мы будем отстаивать перед общественным мнением мира, что война должна вестись не против русского народа — который, по нашему твердому убеждению, не отвечает за поступки своего правительства; и мы будем открыто спорить с теми, кто будет уверять, что Сталин имеет глубокую поддержку в народе и что его политика является поэтому политикой всего русского народа».

Имена сменились, но положение остается прежним. Хотя теперь последователи осуждаемой Абрамовичем политики и выделяют из среды *всего русского народа* только великороссов, приписывая им одним «ответственность за поступки своего правительства», суть дела не меняется. Да даже если бы это было и так, нам, выходцам из СССР и коренным жителям Запада, следовало бы приложить все усилия к тому, чтобы оторвать и эту часть народа от правительства, сделать ее своим «моральным, психологическим» союзником. А тем более не следует ее (великорусскую часть народа) толкать в объятия рабовладельцев-правителей; не делать многомиллионный народ действительной базой коммунистической деспотии.

4. Мировая проблема

«Нездоровый национализм» охватил не только многих активистов из народностей, входящих в состав СССР (или России). Это мировая проблема. Даже внутри получивших свободу мелких и не мелких (Канада, например) колоний и доминионов европейских государств (да и в самих метрополиях) центробежные силы набирают мощь и в ущерб своим, зачастую и без того слабым и беспомощным государствам рвут их на клочки. Страдают при этом, как правило, больше всего именно те племена и народности, которые, по замыслу их национальных вождей, должны во что бы то ни стало отделиться, стать самостоятельными государствами, возглавляемыми этими вождями.

Не избежали этой участи и США. «Националисты»-негры проповедью ненависти к белым портят жизнь и белым, и государству в целом, а тем более себе. Известный журналист-негр Клод Льюис, например, принадлежит к числу очень умеренных националистов. Но и он из года в год, три раза в неделю муссирует «черную проблему», возлагая всю вину за межрасовую вражду, порождающую беспорядки, хулиганство, преступность, исключительно на белых.

Безусловно, белые работоторговцы и рабовладельцы былых времен безоговорочно повинны во всем. Но рабство давно ушло в небытие. По нынешним законам негры совершенно равноправны. Во многих социальных и экономических аспектах они даже пользуются значительными привилегиями. Но неравенство, как ни суди, все-таки есть. Льюис прав, говоря, что негров не с большой охотой принимают на работу, что негритянские дети в школах учатся хуже белых ребят, что арестам (пропорционально) черная молодежь подвергается чаще и т. д. И что, в результате этого, черные живут значительно беднее белых. Так оно и есть.

Но почему так получается? Исключительно потому, что разжигаемая «националистами» ненависть к белым делает негров «социально неуживчивыми» на работе. Они (конечно, далеко не все) нарушают рабочую дисциплину и вносят нестроения в рабочий коллектив, саботируют работу и т. д. Идущие в школу черные подростки (тоже не все) думают не о приобретении знаний, а лишь о мести ненавистным белым соклассникам, учителям и даже школам и школьному инвентарю. Эта же вдолбленная в их головы жажда мести подталкивает молодежь на преступления. Выходит, виноваты и не белые и не черные, а только те, кто сеет межрасовую ненависть и помогающие им умеренные «благожелатели», вроде Клода Льюиса.

Что же делать? Для выделения черных в особое государство у них нет своей территории. Да они выделения и не хотят. Расчет верный! В своем государстве жить нужно будет исключительно за свой счет, а не на «проценты с рабовладельческого капитала». И знают активисты, что разожженная ими злоба в своем народе, не имея другой цели, обратится на самих же себя. Что в районах «черных гетто» и наблюдается.

Остается один выход: вычеркнуть прошлое! Черным забыть о рабстве, а белым о том, что черные «националисты» натворили за последние десятилетия. И, отбросив человеконенавистничество, отбросив «нездоровый национализм», постараться стать единой, здоровой, дружной нацией. Именно — нацией, объединенной общими интересами семьей.

В США это почти неразрешимая проблема (при современных обстоятельствах). На нашей же родине, среди простого народа (преобладающего большинства) «нездоровый национализм» не пустил еще глубоких корней. Таких глубоких, как в США. Если при доброй воле всех народов, населяющих СССР, а особенно их национальных вождей, всю энергию, затрачиваемую

на совершенно ненужные междоусобные распри, обратиться на борьбу с общим врагом — коммунизмом, победа будет за народом. Пример тому маленькая Польша.

В это верил и Р. Абрамович, и многие другие представители всех политически активных народностей, входящих в состав СССР. Верю в это и я. Верят украинец д-р Богатырчук, и грузин Думбадзе, и многие миллионы других. И, как они, я верю, что *только* при условии такого всеобщего нашего примирения между собою мы можем освободить и себя от коммунистического гнета, и весь мир — от угрозы коммунизма. И тогда ни империализм, ни нацизм не будут страшны всем нам. Ни нам, ни всему миру.

И при этом больше всего выиграют не «великороссы», а именно те «угнетенные нации», о которых неумело пекутся экстравертные националисты.

Из трех наследников империализма — коммунизма, нацизма и демократии — я отдаю предпочтение последней. Хотя и она далеко не идеальна, но несравнимо лучше других. При ней могут существовать в мире и многонациональные государства и возможен прогресс в области государственного и социального устройства. Первые же два наследника — темная могила, в которой медленно умирают заживо погребенные и единонациональные государства, и многонациональные.

ЖЕНУК Сергей — родился в 1912 г. в семье священника Сибирской духовной миссии, в Томской губернии. Получил среднее образование. Во время войны оказался на Западе. Писать для печати начал в послевоенной Германии (1947 г.), после переезда в США начал сотрудничать в «Новом Русском Слове», печатался также в журналах «Русский Антикоммунист», «Новый Журнал», «Борьба» и газетах «Русская Жизнь» и «Русская Мысль», в конце 50-х годов писал передачи для «Голоса Америки». Работал в электронной промышленности. В 1980 г. рукоположен во диаконы.

РУССКИЙ ПАТРИОТ ВЛАДИМИР ОСИПОВ

12. В ПОИСКАХ КРЫШИ

Так назывался очерк Осипова о его странствиях в поисках работы и прописки после освобождения из первого заключения. Мне не довелось на воле читать его сочинений, в том числе этого очерка, но, видимо, сам он описал свои приключения сочнее, чем это могу сделать я в зоне, поэтому ограничусь мазками, случайными штрихами в этой главке — вряд ли они вошли в тот Володин очерк.

В поисках московской прописки Владимир Николаевич наткнулся на бывшую соученицу. Был у женщины муж, который не хотел с ней регистрироваться, была большая девочка от этого мужа, которая, однако, считалась внебрачной, была денежная работа и комната в Москве — для счастья и социальной уверенности в себе не хватало ей *законного мужа и законного отца* для ребенка. Была она лихой авантюристкой и, в общем, кажется, неплохой бабешкой, смышленной и хваткой. Предложила она разведенному «постзэку» интересную сделку: он фиктивно на ней женится и получает желанную прописку в Москве и соответственно работу... Потом разводится. Она же с этого оборота получит не менее желанный штамп в паспорте и отчество для ребенка.

«Брак» этот длился не то неделю, не то три, пока Осипов не догадался, что никакие «блаты» (главным приданным невесты, сыгравшим роль насадки на крючок, оказались знакомства в паспортном отделе) не

Окончание. Начало см. в № 27.

помогут перескочить барьеры, поставленные КГБ между ним и Москвой.

— Ведь знал я, что не надо мне ввязываться в эту махинацию, — почти восемь лет спустя еще досадовал Владимир Николаевич. — Есть люди для авантюры, для везения и удачи, у меня же никогда ни одна авантюра не выходила... И живет теперь где-то девочка с моим отчеством и фамилией.

— А ты не опасался, что она алименты будет выщигивать?

— Нет. Во-первых, не вышло бы: ребенок у нее родился, когда я прочно сидел в зоне. Ни один суд дела бы не принял, даже советский. Да не деньги ей нужны были — фамилия... Она не подлая баба, просто авантюристка. Я на нее не сержусь.

Долго он крутился в заколдованном круге работы-прописки: прописку не дают, пока не работаешь, работы — пока нет прописки. Не работаешь — посадят за тунеядство. (В таком же положении, кстати, оказался одновременно выпущенный его подельник Эдуард Кузнецов — их пути пересекались в это время. Кузнецов разорвал этот круг, скототив группу сионистов из Риги, которые решили угнать самолет и улететь на нем в Швецию, а оттуда в Израиль.) Осипов проломил это порочное кольцо, устроившись на единственную работу, куда взяли в СССР дипломированного специалиста-учителя: он стал бойцом пожарной охраны. Зарплата — 65 рублей в месяц (ниже установленного законом прожиточного минимума на 5 рублей). После этого его прописали по местонахождению «пожарки» в городе Александрове, Владимирской области (знаменитой когда-то Александровой слободе Ивана IV, а ныне захолустном городишке в захолустной области).

Все эти годы кочевий и гонений: из Калинина в Тарусу, из Тарусы в Струнино, из Струнина в Александров и т. д. — Владимир Николаевич усиленно

читал: славянофилов (Хомякова, К. Аксакова и др.), историков XIX века, а также устанавливал необходимые связи с московскими общественными кругами.

— Москва сильно изменилась по сравнению с тем, какой я ее оставил. Общественная жизнь оказалась на немыслимом раньше уровне. Людьями разных направлений обсуждались самые глубокие проблемы мира и жизни. В центре находились тогда Якир и его друзья. Только мое направление, направление русского патриотизма, находилось на отшибе: нашего голоса не было слышно. Я считал это несправедливым: я знал, что так, как думаю я, думают многие; это мысли значительной прослойки общества, и наш голос должен звучать для него. Знакомство с тогдашними москвичами утвердило меня в мысли, что издание «Вече» необходимо и время для этого издания наступило.

Среди знакомых, которых Осипов повстречал тогда в Москве, находилась Адель Найденович, «подруга через проволоку» Эдуарда Кузнецова. Она дружила с кругом Якира, жила у матери, известного московского врача, и московская милиция подвергала ее непрерывному моральному террору: каждую неделю в квартире появлялся участковый уполномоченный с неизменным вопросом: «Устроились на работу? Нет? И не замужем? А на какие средства живете? Если через месяц не устроитесь, передадим дело в суд по обвинению в тунеядстве». Но на работу опальную девицу никуда не принимали: «Закон о запрете на профессию», столь ненавистный коммунистам ФРГ, неукоснительно проводится в СССР, стране строящегося коммунизма, с той серьезной поправкой, что в Стране Коммунизма — работодатель один, и никакой работы неприятному работнику он не даст, и, кроме него, не даст никто! А за отсутствие работы полагается уголовное наказание... Таково было положение Адель Найденович: в любую удобную начальству минуту ее могли уволить в ссылку на 5 лет. Она спросила совета

у Осипова: как спастись? Ничего, кроме фиктивного замужества, он придумать не смог. (К тому времени развод его был оформлен.) Когда милиционер в очередной раз явился на квартиру Найденович, его поджидал Осипов: «Что вам нужно от моей жены? Она пойдет на работу, когда я этого захочу!» — «Извините, мы не в курсе...» — и Адель на какое-то время оставили в покое.

Так живут в Союзе ССР: из четырех браков Осипова два — фиктивных.

Один, чтобы купить право жительства вне «черты оседлости» для человека, освободившегося из заключения...

Другой — чтобы спасти одинокую женщину от тюрьмы, этапа, ссылки в отдаленнейшие места Сибири...

Такие бывают «многоженцы» в СССР.

Чтобы подвести черту под семейной жизнью Осипова, приведу напоследок два миниэпизода, касающиеся двух его фактических браков — первого и четвертого.

Как читатель помнит, первая жена Осипова, Аида, оставила его еще до ареста. Из заключения он написал ей письмо, в котором просил окрестить их дочь Катю. Получил ответный совет не вмешиваться в чужие семейные дела, ибо, оказалось, по советским законам отца, лишённого свободы на срок более 3 лет, не только разводят с женой заочно и без предварительного оповещения, но лишают отцовства точно так же — то есть не потрудившись даже *сообщить* отцу, что отныне он больше не отец собственному сыну или дочери... Случайно узнал Осипов, что его лишили не только свободы, но и — дочери.

Второй эпизод. Как-то я спросил Осипова, человека истово религиозного и страстно любящего свою жену (тоже, насколько можно судить издали, страстно религиозную), — венчаны ли они? К изумлению мое-

му, ответил — нет. Мы в то время были достаточно близкими людьми — возможно, поэтому он решил объяснить, в чем дело: «Конечно, я православный, но хочется, чтобы венчание происходило в стенах морально чистой церкви». — «Но разве отец Дмитрий Дудко..?» — назвал я имя его духовного пастыря, которого Осипов очень уважал. «Отец Дмитрий — христианин... — Владимир Николаевич говорил с трудом. — ...но хочется обвенчаться в церкви, которая не прислуживает атеистам. Если венчаться, то — в старообрядческой?.. Или в истинно православной?» — он замолчал.

Дочку Машкова, родившуюся в тюрьме и росшую долгие годы без родителей, любит он как родную. Собственного сына, родившегося после ареста отца, еще ни разу не видел, хотя сыну исполнилось уже четыре года. Рассказывала мне моя жена на свидании, что мальчик любит ходить, заложив руки за спину, и тогда мать набрасывается на него в слезах: «Господи, до чего ты похож на папку, арестантик ты мой!» — «Я похож на папу», — важно отвечает малыш. Когда он увидит отца, на которого так похож, ему исполнится восемь лет.

13. «У ПОЖАРНЫХ ДЕЛ ПОЛНО...»

Владимир Николаевич однажды сказал: «Я был неплохим пожарником — я ведь шустрый». И сказал это несколько горделиво.

«Пожарка» как место работы его устраивала, во-первых, потому, что ниже положения пожарника в Союзе ничего нет и уволить оттуда невозможно — ниже некуда. Во-вторых, режим работы (сутки в наряде, трое — дома) чрезвычайно нравился редактору нелегального журнала.

Но кто, кроме подпольщиков, согласен жить на 65 рублей?

Оказывается, две категории. Первая — освобожденные из заключения алкоголики, которых никуда не берут и которые никому ничего не могут предложить, кроме своей жизни — в огне пожара. Вторая категория — наоборот, крепкие хозяйчики, которым на работе нужны не деньги — их они зарабатывают на приусадебном участке, — а штамп в паспорте «место работы» (тем более штамп МВД — как известно, пожарники состоят в штате МВД) для предъявления участковому милиционеру. Те и другие равнодушны к службе, и Владимир Николаевич с юмором изображал какого-то алкаша-пожарника, прорывавшегося на горевшую кухню, чтобы спасти оттуда вот-вот готовую взорваться поллитровку. И когда огонь слизывал последние руины на пепелище, уже имелось чем обмыть несчастье хозяина...

По словам Осипова, пожарное начальство беспокоится только насчет государственных объектов — частным домам дозволено гореть «синим пламенем». Техника, которой снабжены пожарники, отвратительна (не хватает даже противогазов, и двое пожарников из районной команды задохнулись в дыму потому, что полезли в горящую квартиру без них); выучка — какая уж тут выучка!

Всё делается нахрапом, в расчете на русскую бесшабашную отвагу, на то, что на пожар наплевать, но и жизнь полупьяному пожарнику недорого, — он и без техники полезет в огонь, если вдруг раззадорится...

Забавная деталь их духовного облика: пожарные «бойцы», оказывается, любят слушать «Голос Пекина». Ругань по адресу властей и призывы против «ревизионистских собак» скроены как раз по их мозгам.

...Этот рассказ Осипов рассказал мне уже после отбоя, за баракком, где находились лагерные каптерки,

— очень он ему казался важным, не хотелось ждать до завтра:

— Вызвали на пожар. Забрались мы еще с одним бойцом по запасной лестнице на крышу, оттуда пробились на чердак. Смотрю я и вижу — тлеют перекрытия. Прикинул, понял: очаг пожара вон там — за трубой. Если пройти по балке, чтобы достать его водой — очаг погаснет, тогда с пожаром легко справиться. Понимаю, надо идти; а боюсь. Чувствую — может провалиться балка под ногами, ухну вниз, в огонь. Так и не решился. Пожар этот долго тушили, несколько часов, а если б я прошел — за час бы справились... Вспоминаю этот пожар почему? — иногда история человечества напоминает его. Если кто-то пройдет по перекрытию, достанет очаг, потушит, он выручит всех. Но как пройти, если тлеют под ногами балки, если можешь ухнуть в костер — и ради чего? Всё равно ведь потушат, только неизвестно, когда и сколько успеет сгореть. Но ведь тебя-то может не стать — и трудно решиться... Это в моих глазах стало символом выбора судьбы, который стоит перед человеком».

14. РАЗМЫШЛЕНИЯ О НЕПРОЧИТАННОМ ЖУРНАЛЕ

О «Вече» напишу относительно коротко. Я обещал Владимиру Николаевичу, что, выйдя на «волю», достану комплект, прочитаю и сделаю для него критический анализ прочитанного. Так и сделаю в будущем. Пока же могу скользить только по внешним фактам его истории, известной из рассказов Осипова, и давать оценки исключительно по интуиции. Честно предупреждаю читателя о недостатках того, что он узнает ниже.

Как я понял, «русская партия», органом которой являлось «Вече», возникла из стихийного объединения

нескольких оппозиционных кругов, интересы которых не совпадали иногда даже в самых принципиальных вопросах. По правде сказать, сходство между этими направлениями общественной мысли кажется мне куда меньшим, чем, скажем, между большевиками и меньшевиками, тоже состоявшими в одной партии (и чем это кончилось — все хорошо помнят).

Внешним толчком к созданию общего журнала столь несхожих общественных направлений стал разгон властями русофильской редакции журнала «Молодая гвардия» (кажется, в 1970 г.).

— Люди, которые идейно поддерживали «Молодую гвардию», — рассказывал мне Осипов, — были смертельно оскорблены разгоном ее редакции. Многие из них занимали важные кресла и кабинеты и считали, что, являясь «русскими патриотами», являются первыми защитниками советской власти. И вдруг она дала им такой пинок под задницу! Они-то и дали мне первые средства на издание журнала и первые литературные связи.

Так в партию, созданную «славянофилом», вошли и заняли ключевые позиции «государственники».

Конечно, он бы и без них все равно создал свой журнал. Но когда? Как? А тут власть обеспечила с самого начала мощных союзников и партнеров по «делу».

Он так рассказывал про «начало».

— Я сильно боялся, когда на обложке нелегального журнала открыто ставил свое имя, фамилию, адрес. Совсем недавно отсидел семь лет — и снова в зону идти? Но подумал, что, если меня арестуют, останется в истории след: не молчали в России, когда разогнали, когда заткнули рот патриотической редакции «Молодой гвардии». Дело русских патриотов не умерло даже в советские дни, и это должны узнать наши потомки.

Но его не арестовали.

КГБ поставил его под свой контроль и пытался использовать в своих интересах.

Техника маневра Комитета оказалась такой.

Когда Осипов появлялся в Москве, следом за ним сразу шел «хвост». «Объект» отрывался от слежки, но его находили снова и снова. Возникал милицейский патруль: «Проверка документов»... «Вам запрещено жить в Москве». — «Но я здесь не живу». — «Немедленно покиньте город» — и его волокли в участок. Так повторялось несколько раз, и в таких условиях выпускать журнал, опиравшийся, прежде всего, на московские силы и средства, было бы невозможно, если бы...

Если бы не существовало в Москве уголка, где, словно по мановению волшебной палочки, слежка его отпускала. Только бы добраться до квартиры Светланы Мельниковой, бывшей активистки с площади Маяковского, бывшей подруги Эдуарда Кузнецова, — и Осипов оказывался в точке спокойствия — в «глазу циклона». Тогда он писал на листке бумаги поручение к тому или другому литератору или активисту, подписывал: «Осипов, редактор «Вече» — и посылал с поручением куда угодно безотказную, послушную, работающую Светлану. По словам Владимира Николаевича, она исполняла любое дело «с удовольствием хорошей актрисы».

Светлана выражала в редакции точку зрения тех кругов, которых Осипов полуиронически называет «мой шовинисты» (демократ Сергей Солдатов обозначил их «национал-большевиками»). Но не ей, конечно, доверено было стать их вожаком. Идейным выразителем интересов этой фракции стал член редколлегии Иванов-«Скуратов», старый товарищ Осипова, продавший его некогда в КГБ.

Круг осиповских «шовинистов» — это, по-своему, интересное общественное явление, а само появление его — свидетельство идеологического кризиса КПСС.

«Шовинисты» часто занимают (или мечтают занять) места в официальной иерархии, иногда они сидят даже в значительных кабинетах по «идеологицкой части» (им, например, удалось свалить антагониста, заведующего отделом пропаганды ЦК Яковлева, отправив его послом в заокеанскую Канаду). Но в наше время занимать место в иерархии — означает существовать в омерзительном мире нелепой и циничной бездуховности. Поясню эту отвлеченную мысль таким личным примером.

...29 апреля 1974 года на допросе у начальника следственного отдела ЛенУКГБ полковника Баркова я объяснял хитроумнейшему Леонид-Иванычу, почему ну-никак не могу быть советским человеком.

— ...если бы ваши единомышленники, гражданин полковник, лгали, но хотя бы так, чтоб им можно было поверить! Во времена Сталина они были логичными: приняв их отправную точку зрения, я мог не беспокоиться об остальном. Одно неизбежно вытекало из другого. Как бы пояснее вам рассказать... — тут мои глаза остановились на свежем номере «Ленинградской правды», лежавшей на столе гражданина начальника: — Вот рубрика — «Новые книги». Сообщаете о выходе двух брошюр, одна — «Ленин — гениальный организатор КПСС», вторая — «Троцкизм — злейший враг ленинизма». Вам понятно, что если в одной говорится правда, то во второй обязательно — ложь?

Он отрицательно мотнул головой.

— Если Ленин — гениальный организатор партии, то именно он сделал Троцкого членом Политбюро. И, значит, член Политбюро Троцкий не мог быть его злейшим врагом. А если тот все-таки — злейший враг, значит, Ленин вовсе не был гениальным организатором... При Сталине это очевидное противоречие снималось срединным тезисом: Троцкий являлся гениальным шпионом и провокатором, причем двух или трех разведок сразу. Но великий шпион должен носить

непроницаемую маску. Вот почему агент «Интеллидженс сервис» и абвера Лев Троцкий сумел пробраться в доверие даже к гениальному организатору Ленину — он являлся по гениальности равновеликим Ленину лицемером и предателем. Примите допущение, что Троцкий — шпион, и, если очень нужно и хочется, всему остальному поверить можно. Но если нет шпионажа, то нельзя же поверить ничему остальному! Логическая цепь распадается... Даже при самом страстном желании нельзя поверить...

Барков напряженно слушал. Впоследствии, лучше узнав гебистов, я — уверен!! — понял, о чем он в тот момент думал: а не троцкист ли я?

На допросе, когда протокол печатался, следователь дал мне прочитать журнал «Политическое самообразование» со статьей «Зиновьев и Каменев — штрейкбрехеры Октября»...

— Вале-е-ерий Павлович, ты Михаил-Рувимовичу книжки даешь, — захохотал Барков. — Может, ДД-документы тоже?

Я не понял, что такое ДД-документы (уже в лагере догадался — «Документы Демократического Движения»), и продолжал:

— Представьте меня студентом в вузе и как я читал такую вот статью. Если Зиновьев и Каменев штрейкбрехеры — почему они и после Октября оставались в Политбюро и в замах у Ленина? ...Я стал диссидентом только потому, что у меня хорошая память, я помнил всё, чему меня учили на лекциях по марксизму. И, уверяю вас, любой студент советского вуза, если на лекциях по марксизму он думает о предмете занятий, обязательно станет диссидентом.

— Мы ведь составляли документ о том, что нужно улучшить преподавание марксизма в вузах, — тихо-тихо напомнил мой следователь Карабанов: невероятно смиренным пай-мальчиком сидел он в кабинете начальника.

— Да бросьте, Михаил Рувимович, об этом думать, — отмахнулся, как от комара, земной практичный господин полковник. — Кто эти лекции слушает! Спят на них все нормальные люди...

Всё, что мог ответить гебист-полковник, когда он не на трибуне!

И люди, которые сталкиваются с официальной идеологией не так, как Барков, спорадически, на допросе, а ежечасно и по долгу службы, становятся либо равнодушными обывателями-чиновниками, либо цепкими циниками из коридоров власти, которых каждый побывавший хоть раз в этих коридорах хорошо знает.

Но те, кто покрепче духом, те ищут какую-то идеологию для «внутреннего потребления». Идеологию, которая способна заменить вакуум на месте «марксизма-ленинизма-пролетарского интернационализма» и в то же время не помешает добросовестно исполнять — для сладкого прожитья — советскую работу. Такой идеологией становятся некоторые разновидности «русского патриотизма».

Если «патриотизм» выстроить в такую систему, что центром ее станет идея национально-государственного могущества (а такой вариант вполне допустим в общих рамках идеологии), тогда — при желании — вместо Правды, Справедливости или даже Русского народа легко подставляется вроде бы равновеликий объект культа — Родина! Интересы Родины — опять же, повторяю, при желании — легко слить с интересами начальства Родины. (Ибо начальство искренно стремится Родину вооружить, расширить ее пределы и укрепить ее внешний престиж.) Предположим, какому-то чиновнику нужно по службе совершать такие подлости, которые неприемлемы даже для эластичной советской совести, — как в такой ситуации не спиваться? «Русский патриотизм» может пригодиться: всё сие надо делать для укрепления могущества и величия Ро-

дины. Очень недурной протез для духовного равновесия личности, бьющейся в идеологическом капкане.

...Я немного знал людей этого круга. Осипов, кстати, никогда при мне не ругал своих «шовинистов». По-моему, он исповедует принцип Сент-Экзюпери: «Я никогда не стану обвинять своих перед посторонними... Если они покроют меня позором, я затаю позор в своем сердце и промолчу... Муж не станет ходить из дома в дом и сообщать соседям, что его жена — потаскуха. Таким способом он не спасет своей чести... Позоря ее, себя он не облагородит. И только вернувшись домой, он вправе дать выход своему гневу». Но именно после бесед с ним мое мнение о бывлых знакомцах из круга «национал-большевиков» упало так низко, как никогда я даже предполагать не мог.

Во-первых, от Осипова я узнал, сколько они давали на «Вече» денег. Мне даже неловко публично называть эту ничтожную сумму.

...Я вспоминал их, наших общих знакомых. Один «видный» литератор, оказывается, обещал Осипову: вот напишу новый опус и внесу деньги на «общее дело». Наконец, кирпич толстенного документального романа выпущен в свет, гонорар получен, и общественный деятель скромно признается, что ничего на журнал не может дать: «Всё потратил на девочек». (Осипов без гнева, наоборот, с юмором заметил: «Но знакомые мне сказали: на девочек-то он тратил, да не всё; главное лежит на книжке».) Я посчитал: половины гонорара от этого тома хватило бы на издание всех номеров «Вече» — со старта до финала! Другой литератор-«идеолог», любитель шашлыков, коньяков и футбола, щедро выдавал на каждый номер «Вече» по 30 рэ, и Осипов был от души благодарен ему за доброхотное даяние. Мне известно, что без всякого риска для себя «идеолог» мог расходовать на журнал «партии» минимум вдесятеро больше — этот человек мне лично знаком по издательским делам... Осипов

расходо­вал на журнал всю свою зарплату пожарника, зато (не забывал добавлять) «пока я крутился по гостиным и салонам, добывая материалы и средства, меня кормили — на еду в Москве я ничего не тратил... Бывало, мотаюсь несколько дней, добываю каких-нибудь рублей сорок, а мой ленинградский типограф Горячев телеграфирует: «Подам на Вас в суд за неуплату». Добуду деньги, переведу ему — сообщает: «Шеф, я в Вашем распоряжении».

Повторяю, Осипов не ругал своих «благотворителей» — это я за него удивляюсь и негодую! Он же относился к ним, как отец к неудачливым детям: да, конечно, не вышли ни духом, ни лицом, но все-таки свои, дети, других Бог не дал, — с терпением на зло, с благодарностью за малейшее добро.

Помню, рассказывал о своих отношениях с художником Ильей Глазуновым — эту фамилию называю только потому, что Осипов открыто прославлял его в «Вече». Говорить даже терпимо о Глазунове в политлагере — немислимо трудно. Недавно в «Огоньке» появилось его новое полотно — портрет Брежнева. Наш генсек изображен красавцем во цвете партийных лет, с висками, тронутыми благородной сединой, таким мудрецом-патриархом на фоне Кремлевских соборов, отцом-воеводой православного народа... Но Глазунов помогал «Вече» — помогал щедрее, чем другие сановные «шовинисты». Хоть небольшое, а всё же природное у него дарование; хоть ущербная, ущемленная, но всё же художественная натура... И Осипов, не в силах спорить, просто сказал: «Ко мне Глазунов был хорош. Не могу и не буду говорить о нем дурно».

...Понимаю, что жизнь сложнее, что у некоторых из этих людей «русский патриотизм» — не только приспособительная реакция на противоречия советской действительности, но где-то искреннее желание иметь в душе что-то святое. Все-таки и они, хоть советские,

а всё же люди, хочется для самоуважения не только казенной икры и казенного коньяка.

Второй круг, на который опиралось «Вече», — это славянофилы, не приспособленцы и даже не протестанты, а просто нормальные националисты, какие есть в любом народе — среди украинцев и поляков, французов и евреев... Они болезненно переживают потерю «корней» или «почвы», устоев национальной жизни, разрыв — да что разрыв, гибель старинных славянских связей, порчу языка, истребление национальной старины. Люди этого круга, насколько я их знаю, — честные, прекрасно образованные, часто необыкновенно, широко талантливые люди Духа. Они кто угодно — только не национал-обыватели.

(В скобках замечу, что именно с ними я спорил до потери голоса: не с «шовинистами» же спорить, эти-то истины не ищут!

Я всегда утверждал, что национализм русских не может быть таким же, как национализм украинцев, прибалтов, негров или арабов.

Национализм — *первичное* чувство политического сознания любого народа, и русские ещё в XVIII веке боролись при дворе с «немецкой партией». Но с тех пор прошло много лет, и к русскому сознанию я склонен предъявить требования покрупнее и поответственнее, чем к познанию народов, только выходящих на тропу независимого существования. Например, я признаю право угнетенного народа на комплекс неполноценности и связанные с этим национальное выпендривание и самовосхваление. Конечно, они все равно выглядят забавно — что обманывать! — когда хвастают своей древностью, мудростью и на 3/4 придуманной историей, но извинить их можно и нужно: это возрастное заболевание, какое часто наблюдается у юношей и девушек в возрасте созревания. Но русские на это прав не получили — в моих глазах, во всяком случае. Народ Пушкина и Толстого, Достоевского и Солженицына,

В. Соловьева и Сахарова, — имеет *обязанностью* — трезвую и серьезную самооценку и самопознание. К сожалению, слишком часто в их национальных кругах возникает детски-глупое, а иногда преступное по отношению к собственному народу сотворение «кумира из грехов своей родины».)

Почему честные люди «славянофильского направления» и безусловно высокоморальный человек, стоявший во главе редакции, — почему они не сумели отделить себя от национал-обывателей, в конечном итоге, от предателей собственного дела? Почему они были и остаются снисходительными к аморализму уже известных предателей?

Я много думал над этим. Мне кажется, что сама идеология «русской партии» в ее нынешней неоформленности и противоречивости позволяет и даже как будто узаконивает присутствие в ее рядах обывателей и прихвостней (я вовсе не хочу сказать, что другие партии этого отребья лишены, просто не о том речь в этом месте, да и причины у других — другие). И главное противоречие «русской идеологии», которое лишает ее цельности и внутренней силы, еще в начале века сформулировал министр Александра III и Николая II Сергей Витте:

«Вся ошибка нашей многодесятилетней политики — это, что мы до сих пор не осознали, что со времен Петра Великого и Екатерины Великой нет России, а есть Российская империя. Когда около 35% населения инородцев, а русские разделяются на великороссов, малороссов и белоруссов, то невозможно в XIX или XX вв. вести политику, игнорируя этот капитальной важности факт, игнорируя национальные свойства других народов, вошедших в Российскую империю — их религию, их язык и т. д.».

«Русские патриоты» с их приверженностью к государственной традиции — великокняжеской, монархической, «белой» (это все равно) — неизбежно прихо-

дят к идее Единой и Неделимой России. Но это не Россия, это, повторю вслед за Витте, — Российская империя. Это государство, где русские как этническая единица — в меньшинстве. И если они хотят сохранить с другими народами совместное государство, они вынуждаются логикой совместного существования поддаваться крови, обычаям и вере другого народа (как эти народы, в свою очередь, поддаются русским). Такой процесс в принципе возможен: именно так, в процессе длительного слияния народов возникли нынешние народы Западного полушария. Для укрепления и, проще говоря, для существования империи «от Берлина до Сахалина» русские *вынуждены* логикой жизни ассимилировать другие народы.

Но, ассимилируя других, русский народ неизбежно лишается собственной этнической физиономии, и неожиданно начинает создаваться на его месте иной народ — иная этническая общность.

Но что естественно для политики империльной власти, то же смертельно опасно для политики *национальной* партии. Опасность такую «вечевики» признавали. «Мы писали: насколько татарин русифицируется, настолько русский отатаривается», — рассказывал Осипов.

Конечно, если сохранять традиции имперского мышления, можно силой подавлять пробудившиеся национальные меньшинства (а кто не «пробудился» в век всеобщего национализма?), растрачивая на это подавление материальные и духовные ресурсы национального большинства и неизбежно отставая в развитии от народов, не обремененных «бременем белого человека»...

Можно решать проблему сосуществования разных народов в многонациональном государстве и не насильственно, а политически, т. е. ассимилируя этнические единицы в единую нацию...

Третьего — в пределах идеологии Единой и Неделимой — не дано.

(Времена, когда народ считал себя связанным не со своим национальным центром, а с той или иной династией, часто иноземной, — прошли безвозвратно).

Но оба возможных пути: и физическое подавление, и ассимиляция — подрывают силу русских именно как русских, как *народа* с его особенной этнической физиономией. (Хотя они же увеличивают силу государства, в котором русские — основной народ.)

Вопрос этот отнюдь не простой, и решение его для такого народа, как русский, неразрешимо сложно. Главным национальным даром, талантом русских является именно талант *государственного* строительства.

Посмотрите, как спокойно, а чаще с гордостью и любовью переваривали они иноземку на престоле, если она — талантливый строитель Российской империи. Обратите внимание, как они гордятся иноземными и инациональными министрами и генералами — не меньше, чем своими, — если те удачливо строили громадную империю: негром Ганнибалом, немцем Минихом, греком Канкриным, армянином Багратионом, шотландцем Брюсом или даже евреем Шафировым.

К 1977 г. это государство достигло высочайшей в истории точки внешнего могущества: господствует на Кубе и в Анголе, его офицеры контролируют армии Ханоя и Адена, а базы флота спрятаны в Тихом, Индийском и Атлантическом океанах... И «русский патриотизм», привязанный к государственному величию, не может всерьез, сколько бы он от него ни отрекался, отличаться от патриотизма советского!

Ибо с точки зрения укрепления и расширения Единой и Неделимой Империи именно советское государство ведет единственно правильную и, более того, единственно возможную политику, пользуясь обоими

способами: оно подавляет, насколько возможно, признаки самостоятельности у вассалов и одновременно содействует, тоже, елико возможно, созданию новой исторической общности — советского народа! Ничего лучшего для бытия Единой и Неделимой России никто, ни один русский патриот, если бы ему пришлось выступать как *практическому деятелю*, не придумает. Цитируя «Вече», выбор таков: либо русифицировать татар и отатариться самим, либо, если желания отатариться нет, — нужно отпустить на свободу всех татар и 99 других народов, а русским зажить своей, русской национальной жизнью. Коммунисты правы, когда осознают, что третьего — в рамках великого государства — не дано. А «русские патриоты»?

Им очень сложно спорить с советским государством; и неслучайно Файнер-Зайцев жаловался на отсутствие боевитости в «Вече»; и неслучайно Сергей Солдатов заметил мне: «Читал я 'Вече'. Это не политический, а культурный журнал»; а в другой раз он же ехидно заметил: «А ведь в одном очерке Володя писал, что в тюрьме переоценил свое отношение к Сталину и впервые понял, как много сделал Сталин для возрождения православия и русского самосознания после стольких лет господства троцкизма. Да, было это, из журнала не вычеркнешь». (По-моему, Сергей несколько ревновал меня к Владимиру: партийная ревность существует и на зоне.)

Кстати уж, к слову; меня эта реплика Сергея еще больше расположила к Осипову. Я ведь не политик, которому важнее всего платформы и программы, меня человек интересует. А в Осипове несомненно имеется эта русская, толстовская черта: если принятая на веру идея требует обрубить себе ноги — что ж, вздохнем и обрубим, но не усомнимся в истине. (Признавал же Лев Толстой, что если искусство должно быть народным и должно уходить корнями в толщу народных масс, то — ничего не поделаешь, Бетховен никуда не

годен, да и сам он, Толстой, остается в истории литературы разве что сказкой «Три медведя», — в отличие от Ленина и Клары Цеткин, которые тезис провозглашали, а вот последствий его принимать не желали вовсе.)

Осипов не мог не признать: если Единая, Неделимая, Могучая Россия есть благо, тогда Сталина следует признать великим русским государственным деятелем. Или — или... Чего ж тут от правды бегать!

Нет, не из одних тактических соображений Осипов утверждал на суде, что его журнал был «политически лояльным»; и не по либерализму власти разрешали несколько лет выходить журналу — пусть незарегистрированному, но открытому, с обозначением на обложке фамилии редактора и адреса редакции. «Удивительно, — признавался Осипов, — если б они не посадили ко мне в редакцию провокатора, пожалуй, дело бы кончилось на первом номере». Но КГБ надеялся, что, умело и осторожно играя на империальной стороне сознания «патриотов», ему удастся повести «русскую партию» на своем поводке.

Почему этот замысел не удался?

Объективно — потому, что, кроме русского государства, существует еще русский народ, заплативший за ленинско-сталинскую политику десятками миллионов жертв; существует церковь, которая по-своему оценивает, что сделал для нее Сталин, — правда, это не церковь патриархов Алексия и Пимена... И честный русский патриот, споткнувшись на меже между народом и государством, между национальным существованием и имперскими амбициями, начинает метаться в силках своей идеологии. Наконец, самые честные из них, признав право своего народа на национальное существование, не находят в себе духу отказать в этом праве и другим народам империи — и в то же время не находят сил, не смеют прийти к решительным выводам из основного постулата своей теории... В зави-

симости от преобладания «народа» или «государства» в основе мировоззрения, русские патриоты располагаются в партии целым веером фракций.

Фракция «шовинистов» (я предпочитаю называть ее «государственниками»), оказавшись, с одной стороны, на государственной службе, с другой — под угрозой преследований, не может не идти на определенный компромисс с властями. Но кто когда-либо шел на компромисс с администрацией, тот знает, что та никогда не удовлетворяется достигнутым соглашением. Любое соглашение — лишь прелюдия к капитуляции партнера. (Как ни удивительно, только тот, кто категорически не идет ни на какие компромиссы, их получает — причем безо всякого желания. Отсюда известный афоризм Солженицына: «Не бойся, не надейся, не проси».)

Опасность компромисса для «государственников» таится в том моральном, вернее, аморальном влиянии, которое на них неизбежно оказывает родное начальство — старший партнер в коалиции. Лгать, обманывать, предавать — это основа советской морали, кредо которой выдал одному зэку его следователь-гебист: «В борьбе с врагами допустимы любые средства, в том числе обман: так учит нас партия». (Излишне напоминать, что врагом может стать ближайший друг: кстати, ближайший друг — первый из завтрашних врагов...) И «государственники» волей-неволей уподобляются коммунистам: «тому в истории мы тьму примеров слышим»...

Зато честные и глубоко порядочные борцы из партии «патриотов», как бы они ни загоняли себя в рамки «лояльности», повинувшись догмам национальной теории, неизменно разбиваются о скалу противоречий, когда перед ними встают вопросы не мирового масштаба, а самые простые, житейские — вопросы личной чести, верности друзьям и единомышленникам, совести перед поруганным народом и его мучениками.

Все эти длинные и не очень, кажется, вразумительные рассуждения занимали меня по самым практическим поводам — в часы, когда, слушая Владимира Осипова, я пытался по его рассказам понять: почему погибло «Вече», почему арестовали его редактора, почему его предали и продали в КГБ его ближайшие соратники и сотрудники.

15. «С КЕМ ВЫ, ВЛАДИМИР ОСИПОВ?..»

По словам Владимира Николаевича, в первые годы новорожденный журнал травился довольно свирепо.

Стартовый удар нанесло ГБ по человеку, стоявшему в стороне от редакционной работы и связанному с «Вече» лишь в силу большой личной дружбы с его редактором, — по Адели Найденович.

Православная христианка, она в то же время была близка к самому влиятельному кругу тогдашней диссидентской Москвы — к кругу Петра Якира. Первоначально Якир принял осиповское издание в штыки. Однако он скоро убедился, что Осипов — деятель, понимающий, что поет партию в общем хоре оппозиции (а хор требует единства от поющих, даже ценой ослабления яркости и самобытности голосов поющих). После первого взрывчатого конфликта «Хроника текущих событий», главный орган советской оппозиции, дала вполне благожелательный анонс о появлении нового журнала. В мирном развитии отношений между «Хроникой» и «Вече» важную роль сыграла Адель Найденович. Возобновились угрозы, достаточно веско звучавшие для женщины, отбившей несколько лет в концлагере, но куда более ужасно поражающие сердце ее старой матери. После очередной проработки: «Посадим вашу дочь, снова посадим!» — мать Адели скоростигжно умерла. Осипов называет ее первой

жертвой «Вече». «Я сам заколотил ее гроб и первым выносил его», — рассказывает, и чувствуется, что придает этой смерти какое-то мистическое значение.

Потом на железной дороге в Сибири таинственно погиб (был зарезан) курьер «Вече» из бывших эков, молодой парень Анохин...

Но постепенно все как-то наладилось.

Спокойствие (относительное, конечно) наступило после того, как Осипов под воздействием Светланы Мельниковой рассорился с Аделью. «Мне уже начало казаться, что я неуязвим», — признался он как-то в минуту откровенности. И все-таки за ним явилось ГБ.

Почему?

... Об этом думают и на воле. Недавно в зону пришли слухи: бывший коллега Осипова по «Вече» Иванов-«Скуратов»* распустил слухи, что якобы Осипова посадили вовсе не за «Вече», а за некую его *личную* антисоветскую деятельность. Осипов ужасно кипятился по этому поводу, потрясая обвинительным заключением: две трети эпизодов в нем прямо связано с журналом (причем некоторые инкриминируемые Осипову материалы из числа анонимных, как признался мне редактор в гневе, принадлежат именно «Скуратову»). Но я вынужден здесь сознаться: мне тоже кажется, что фактическая правда в предположениях Иванова-«Скуратова» есть. Не только и не столько в «Вече» заключена причина ареста Осипова.

Примерно за год до появления гебистов в пожарке Иванов-«Скуратов» написал «Открытое письмо Владимиру Осипову» (так, впрочем, кажется, и не вышедшее за пределы редколлегии «Вече»). С кем Вы, Владимир Осипов, с нашим, русским государством или с

* Любопытно, что псевдонимом Иванов избрал кличку палача, который не только проклят народными русскими песнями, но известен в истории как палач очага русской вольности — Новгорода и убийца русского национального святого — митрополита Кольчева.

его врагами? Время выбирать, время определиться, Владимир Осипов! Сильно изменился Иванов-«Скуратов» после второй отсидки в дурдоме. Отчаянный нищееанец и террорист превратился в умудренного «государственника», в идеолога и «перо национал-большевизма».

— Он постоянно через мои связи собирал информацию о перестановках в кремлевских кабинетах, — рассказывал Осипов с наивным смущением. — Усиливается влияние Суслова? Личные качества Кириленко? Кого назначат новым замзавом по пропаганде?

Естественно, когда человека всерьез волнуют личные качества Кириленко, его обязана раздражать личность Солженицына. Когда человек мечтает о возвышении, скажем, Полянского, его не устраивает бестактное требование освободить Буковского или Григоренко. Это само собой понятно.

Иванову-«Скуратову», видимо, казалось, что Осипова посадили, например, за открытое письмо к Шону Макбрайду, тогдашнему председателю «Эмнести интернейшнл», в котором редактор «Вече» просил «Эмнести» вмешаться в дело Игоря Огурцова, отправленного на психэкспертизу. Осипов опасался, что Огурцова переведут из лагеря в дурдом. Кстати, письмо это, действительно, инкриминировалось в суде — причем инкриминировалось не содержание (что ж тут антисоветского даже для советского суда — в призыве вступить за человека, которого советская психэкспертиза все-таки признала здоровым), а именно адресат. Я сам читал формулировку: «Письмо к руководителю антисоветской организации Шону Макбрайду»*. Возможно, Иванова-«Скуратова» раздражало и

* Юмор ситуации, однако, в том, что пока Осипова держали в тюрьме, Шон Макбрайд получил в Москве Международную Ленинскую премию. Если бы экс-руководитель «Эмнести» опротестовал приговор Осипову хотя бы в этом пункте, можно было бы поднять вопрос о снижении срока Осипову: снятие эпизода влечет снижение срока даже в СССР.

«Открытое письмо» Осипова к председателю Комитета за освобождение политзаключенных США коммунистке Анджеле Дэвис (оно тоже упомянуто в «обвинилке»). По словам Осипова, он просил ее «использовать Ваше влияние для освобождения людей одного с Вами, марксистского образа мыслей» — назывались Григоренко и еще кто-то из тогдашних «неоленинцев»). Действительно, что за дело «русскому патриоту» до Григоренко? С кем вы, Владимир Осипов, со своим родным советским государством, которое, правда, чуточку вас недопонимает, или с его врагами?

Да, Иванов-«Скуратов» мог «грешить» на эти письма Осипова как на подлинную причину ареста главного редактора — это для него естественно. Но думается, что айсберг, о который раскололся корабль «Вече» и судьба Владимира Осипова, назывался иначе. Он назывался именем величайшего писателя и гражданина России в XX веке:

АЛЕКСАНДР ИСАЕВИЧ СОЛЖЕНИЦЫН.

16. МАСОНЫ, МАСОНЫ, КРУГОМ ОДНИ МАСОНЫ...

Осипов встречался с Солженицыным дважды.

Первый раз просил о сотрудничестве в «Вече». Писатель отказал: «Физиономия и уровень журнала еще не определились».

Не знаю, какое впечатление произвел Осипов на Солженицына, но Александр Исаевич поразил редактора. «Первый раз в жизни ощущал я физически незаурядность человека. Он целиком захвачен тем внутренним процессом, который в нем совершается. Прямо чувствуешь мысль, которая непрерывно движется в великом человеке — а ты его отрываешь от нее разговором».

Несмотря на неудачу переговоров о сотрудничестве, Осипов, однако, решил оторвать его еще раз от

хода дел: пришел предупредить насчет масонской опасности.

Здесь мне опять придется отвлечься от рассказов Осипова и немного порассуждать на темы, которые меня занимают в лагере: на темы, связанные со спецификой национального сознания в современном обществе. В данном случае — русского сознания.

В Осипове, по-моему, сильно выражена русская национальная черта — представление о том, что Власть и Авторитет окутаны непроницаемой Тайной. Простое, доступное повседневному объяснению и нормальной логике поведение Власти неинтересно русскому сознанию. Не я первый это открыл, да я, пожалуй, сам до этого бы не додумался. Это Сергей Солдатов как-то с одобрением цитировал Бердяева о «женственности» славянского сознания — о его пластичности, уступчивости и при этом постоянной «самости» и автономности. Но именно женщины совмещают житейский реализм и приземленность с затаенной тягой к необычному, таинственному, даже страшному... Что-то есть истинное в этом рассуждении — и насчет женщин, и насчет славян.

В первой части «Места и времени» я уже писал про рабочего Петра Сартакова, в сознании которого Тайна Советской власти — это «жиды, которые лезут в Кремль под нашими фамилиями». Такую концепцию Осипов, человек не менее русский, чем Сартаков, принять не мог, — хотя бы в силу своей образованности. Ведь он-то знал, что события 1917 г. истоком имели конец XVIII и первую половину XIX века, когда евреями на общественной сцене России еще не пахивало. Но принципиально Осипов, конечно, исповедует ту же сартаковскую идею, что нежелательные перемены в традициях национальной Власти произошли от вмешательства посторонних, чуженациональных сил. Только идея «оккупации России» позволяет ему надеяться на возврат в прошлое, к «корням» — после

избавления от «чужеземного ига». Справедливости ради добавлю, что это обычная, нормальная концепция любого национализма угнетенной нации: китайцев и негров, украинцев и литовцев, евреев и кубинцев. Но, конечно, в применении к русским, которые не только не покорены иноземной армией, но сами покорили двенадцать языков, такая идея потребовала специфического субъекта Зла. В концепциях русских патриотов таким Фантомом Зла стали масоны (рядом, конечно, с евреями).

Честно говоря, меня поражал этот романтический ужас перед Всемогущим Масонством. В сознании патриотов (я разговаривал с ними еще на воле) масоны стали ипостасью некоего темного Божества: они, кажется, могли всё, они управляли миром, как Ростропович — виолончелью. Всюду маячила тень злокозненного Масона — по соседству с выстрелом Гаврилы Принципа и отречением Николая II и даже расколом «Левого фронта» во Франции в наши дни.

Это вера романтическая — спорить было бессмысленно. Все равно, что уверять поэта-романтика, мол, муз не существует...

Но за этой романтикой скрываются и вполне земные и очень удобные для масонофобов интересы.

«Государственникам» из партии русских патриотов масоны необходимы в качестве объекта безопасного приложения их полемических усилий... Кто сокрушил веру православную? Кто сорвал корону с династии Романовых? Кто развратил народное сознание? Масоны.

Не улыбайтесь, это очень удобная, очень выгодная идеологическая позиция. Она дает право и возможность не бороться с коммунистами, которые в открытую, без всякой таинственности, честно и прямо оскорбляют православие и унижают церковь, обливают грязью дореволюционную Россию с ее императорами, а русских преобразуют в новую историческую общ-

ность — советский народ. Ведь связываться с коммунистами так опасно — могут быть неприятности на денежной коммунистической работе (я уже не говорю про такие ужасы, как вполне возможные тюрьма и концлагерь). И зачем вспоминать о далеких коммунистах, когда совсем рядом в качестве первопричины действуют злокозненные масоны... Патриоты-государственники напоминают мне мужественных европейских борцов с ядерным и нейтронным оружием, которые смело атакуют базы НАТО, но что-то не слышно о появлении этих «борцов за мир» в Семипалатинске или Тибете...

Занесло-таки меня в иронию. Но, когда вспоминаю знакомые претенциозные лики, горделивые осанки и, в сущности, хорохорящуюся трусость под «национальным покровом», трудно удержаться от усмешки.

Конечно, Осипов к таким людям не относился. Но романтической масонофобией заражен и он. Ему масоны необходимы как логичная причина зла, таинственного и всепроникающего, которое сбило православный народ с устоев и довело до царубийства и большевизма. Кроме того, я уже упоминал, что по натуре ему свойственно быть вторым — организатором, управителем, вожаком, но рядом с первым — идеологом-литератором. А первый, Иванов-«Скура-тов», сражался с масонами мужественно и последовательно, в каких бы уголках истории они ни затаились (по-моему, масонами считались даже Рыцари Храма Господня, Тамплиеры средних веков, но, конечно, переименованные в Рыцарей Храма Соломонова).

И вот, когда в жизни великого писателя России Александра Солженицына наступила личная драма — разрыв с первой женой, Натальей Решетовской, а потом пришла новая любовь, к Наталье Светловой, то эту глубоко личную перемену в судьбе писателя подготавливали кто? — конечно, масонские происки и интриги.

...Отношение «русской партии» к Солженицыну эволюционировало на моих глазах. Пока он только писал запрещенные цензурой романы и рассказы (до открытого письма съезду писателей), т. е. пока он был только *безвинной жертвой* режима, все фракции его поднимали и восхваляли: он стал своеобразным национальным фетишем. В то время духовная, секретная солидарность с Солженицыным практически не грозила никакими реальными опасностями: власти не преследовали писателя, а только «глушили» его.

После открытого письма съезду писателей Солженицын стал активной политической фигурой, бойцом, а не жертвой. Общение с ним, тем более — поддержка, приобретали теперь вид политической демонстрации. В «русских кругах» началась воркотня (слышал своими ушами): «Большой писатель — ну, и писал бы романы, а зачем ему вмешиваться в политику». Кстати, романов не печатали, но «шовинистов» это лично «не колыхало», а вот политическая борьба Солженицына за публикацию ставила «патриотов» в сложное положение. Требовалось выбирать между писателем, совестью русского народа, и всё более обозленным начальством этого же народа, воспринимавшим Солженицына как неожиданно вылезший гвоздь в мягком государственном кресле. Нетрудно понять, какой выбор сделали «государственники».

Но все-таки «и в подлости им хотелось сохранить» идеологическую осанку. Предавая национальную честь своего народа, хотелось все-таки в своих глазах, а если возможно, в глазах окружающих выглядеть не нормальными чиновничьими прохвостами, а Деятелями, отрекшимися от национального гения во имя более высоких, чем он, предметов: мощи Родины, славы и авторитета Родины и т. д.

И здесь им очень на руку оказался новый брак Солженицына: насколько я понял, Наталья Светлова была арийкой отнюдь не чистокровной. Всё уклады-

валось в схему: Солженицын бросил нашу, русскую женщину, потому что евреи или масоны — не так уж важно, кто — устроили ему новый брак, чтобы использовать его талант в своих интересах.

Понимаю, что все это в глазах здравомыслящего читателя выглядит фантастическим бредом, но я вряд ли ошибаюсь в своих оценках. Например, Солдатов пересказал мне свою беседу с видным московским «патриотом» (носившим немецкую — или еврейскую? — фамилию. Я не называю ее только потому, что не успел спросить у Сергея разрешения на публикацию их разговора):

«После второго брака Солженицына он перестал быть русским писателем. Он церкви уже изменил, смеет критиканствовать»... Передаю разговор, разумеется, в изложении; но за точность смысла ручаюсь.

Осипов, человек прямой и доверчивый к своим, явно не понимал игры, которая велась «государственниками» против Солженицына с целью «благородно» от него отмежеваться. С тревогой видя раскол между писателем и идеологами собственной партии, он попытался его предотвратить: вторично явился к Александру Исаевичу с поучением о вездесущих масонах, которые не могут оставить без внимания человека, ставшего мирового значения величиной. Будьте бдительны, Александр Исаевич!!! Солженицын ответил, что в масонах не видит реальной опасности и считает беспокойство Осипова и его друзей преувеличенным.

Признаюсь, мне было дико слышать из уст Владимира, что любовью, пусть даже общественного деятеля, можно заниматься как социальным мероприятием. Но «круги» (и Осипов в их сонме) полагали иначе.

Когда развод совершился, «Вече» во главе с Осиповым примкнуло к «партии Решетовской» (как своей чистокровной землячки). Решетовская, в свою очередь, помогала «Вече» и, кажется, писала что-то для жур-

нала. Как сказал бы соответствующий персонаж Владимира Марамзина: «Мы потеряли Салажонкина, зато Решетовская теперь наша. По-моему, приобретение небольшое».

Двойственность (не двуличие! именно двойственность) позиции Осипова, отражавшая двойственность состава «партии патриотов», отразилась в том, что, симпатизируя Решетовской по-человечески и поддерживая ее в качестве общественного деятеля, Владимир Николаевич вполне понимал поведение Солженицына и в душе его одобрял. Во всяком случае, когда я пристал с ножом к горлу, «почему все-таки Солженицын ушел от Решетовской», Осипов нехотя ответил: «Да ему в деле нужна жена-помощник, жена-борец, а Решетовская чудесный человек, но ей хотелось стать московской писательской дамой». Не знаю, так ли это было на самом деле, — суждение характеризует не ситуацию, а Осипова.

... К слову, я, конечно, несколько упрощаю конфликт между Солженицыным и «государственниками», когда свожу его причину лишь к трусости «патриотов», испуганных бескомпромиссным мужеством писателя. В основе этого конфликта лежали не только и не столько моральные, сколько идейные расхождения.

Позиция «государственников», объясняющая все отрицательные стороны русской истории и национальной психологии чуженациональным внешним влиянием, — позиция в истоках своих глубоко антирусская. Её исходным пунктом является молчаливое признание, что русский народ — это дурачок, которым любой ловкий иноземец или авантюрист (безразлично кто — еврей, масон, большевик) может играть, как фигурой на шахматной доске. В глубинах этого мировоззрения скрыто такое неосознанное неуважение к своему народу, какого закоренелый славянофоб не посмеет высказать.

Солженицын — патриот, который не только любит свой народ (кто же своих не любит? Вон даже лагерный прохвост капитан Зиненко, который первыми в очереди травит эков-украинцев, в тайниках души симпатизирует землякам и потому отвратителен вдвойне)... Солженицын русских уважает. За размах в самоотверженности, за безрассудную самоотдачу, за мощь Духа — даже во грехах. И за многое другое... Потому, анализируя в совокупности историю и характер своего народа, он пытается *изнутри* понять русскую трагедию XX века, а не считать ее случайной болезнью.

Мне не удалось прочитать на воле «Август четырнадцатого». Но, по отзывам советской печати, это начало художественной эпопеи, в которой прослеживается созревание русской революции в недрах России и осознается, что же в *действительности* произошло между народом и государством в 1917 г.

Не удивляюсь поэтому, что «Вече» поместило резкую статью против солженицынского художественного исследования: ее написал идеолог № 1 и лидер «государственников» Иванов-«Скуратов». Осипов не пересказывал мне ее содержания, только мельком обмолвился, что Солженицына обвиняли в антипатриотизме. Интересно, совпадала ли его аргументация с аргументацией внештатного гебиста Н. Яковлева в «Литературной газете»? Обвинение в «антипатриотизме», во всяком случае, оказалось одинаковым — в нелегальном «Вече» и полугебистской «ЛГе». «Патриот»-«государственник» закономерно пришел — и не мог не прийти! — к тем же идеям насчет творчества Солженицына, что и андроповский мегафон.

16. ХОТИМ НЕФТЕДОЛЛАРОВ!

Разрыв «Вече» с Якиром и демократами...

Разрыв «Вече» с Солженицыным...

Это не могло не вдохновить куратора из ГБ на новые подвиги.

Требовалось закрепить результаты работы с «Вече» и «патриотами» после появления разгромной статьи Иванова-«Скуратова» (на «Август четырнадцатого»). Вполне допустимо, что именно поэтому Мельникова и Скуратов предложили в очередном номере поместить статью в поддержку палестинского Фронта Освобождения.

Содержание номера обсуждалось редакцией в дни, когда после своего выступления в защиту Сахарова Солженицын подвергался идиотской до психобредомании травле в советской печати.

Услышав в первый раз про идею палестинской статьи (ее брался написать, кажется, сам Иванов-«Скуратов»), Осипов, по его словам, изумился. Да, конечно, палестинцы в изгнании, вполне допускаю, что они заслуживают сочувствия, — но мы-то тут причем? Мы — журнал, посвященный не международным, а внутренним, российско-культурным темам? Разве у нас нет своих, русских проблем — зачем заниматься делами Ближнего Востока? Да еще в то время, когда идет всероссийская травля нашего великого национального писателя!

Тут и разгорелась ожесточенная ссора.

На вопросы Осипова, по-моему, очень практично и делово ответила Мельникова. По ее словам, если арабы узнают, что «Вече» поддерживает палестинское дело, Муаммар Каддафи отпустит денег на издание «Вече». Иванов-«Скуратов» не снисходил до такой прозы, он орудовал в высоких идейных сферах. Мы, «Вече», должны показать всем, что мы не только на

словах борцы против сатанизма и сионизма. В том политический смысл этой публикации.

Кстати, я вовсе не уверен, что идея такой статьи зародилась обязательно в мозгу куратора. У «государственников» могли существовать свои, личные расчеты в проведении подобной политической линии. Ведь на том заседании Осипов настаивал, чтобы «Вече» напечатало неопубликованную ранее автором главу из «В круге первом» А. Солженицына и этой публикацией оказало моральную поддержку писателю. Возможно, противники редактора хотели статьей о палестинцах просто уравновесить солженицынскую главу и продемонстрировать начальству лояльность (или, как говорят в газетах, «единство взглядов») хотя бы в отношении к Израилю и евреям вообще — и тем как бы «подстелить соломки» в накаленной идеологической обстановке. Пожертвовав мелочью, да, в сущности, ничем не жертвуя, они могли надеяться спасти журнал от репрессий, неизбежных, по их предположениям, в момент «отмахиваний» ГБ после смертельного солженицынского удара.

Повторяю, учитывая нравы «дипломатии», вполне допускаю, что статья о палестинцах задумывалась Скуратовым как маневр с целью защитить журнал от карающего меча ГБ. Но ведь ГБ могло наложить «опалу» и за «мусульманский крен»: кто его знает, как отреагирует старший партнер на желание подкормиться из ливийских рук! Поэтому для корректировки подготовили другую статью — о крымских татарах. В ней доказывалось, что разорение их черноморского гнезда стало заслуженной карой за многовековые разбойничьи налеты степняков на Московию и Украину... То есть мусульман, живущих в СССР, как бы морально изгонять с их родной земли — со ссылкой на историю; зато мусульман, живущих вне пределов СССР, но в районе его «государственных интересов», морально вернуть на земли их отцов — и опять со

ссылкой на историю! Конечно, можно иронизировать над этой ловкостью, типичной для всякого советского приспособленца (приспособленцы существуют и в диссидентской среде), но, думается, куда полезнее понять, какая же путаница завязалась в мировоззрении «государственников»-«патриотов»... То, что логично, а потому, несмотря на аморальность, убедительно в действиях государства интернационалистского или партии коммунистов, не придающей принципиального (а только тактическое) значения национальному вопросу, тем паче «корням», «предкам», «крови», Родине, что логично и убедительно у партии, чья политика в национальном вопросе всецело определяется задачей расширения сюзеренитета Кремля, — то же самое выглядит нелепым противоречием в действиях и пропаганде партии «патриотов».

Осипов понимал это. Он насмерть уперся против обеих статей о мусульманах. Почему? Израилю он вовсе не симпатизировал, евреям — тем более. Но палестинцев, думается, не любил еще больше. Во-первых, они левые, а он — правый. Во-вторых, за то, что они террористы. Терроризм как крайнее проявление анархии вызывает у него почти физическое отвращение. Надо услышать, с какой радостью в голосе читал он в «Вопросах истории», что в рядах итальянских «правых» крепнет сопротивление экстремистско-террористическому крылу: «Вот это правильно. Как это может связываться — правые и террор? Я — правый. Я не могу себе представить, чтобы в какой бы ни было обстановке я одобрил террор». Палестинские акции террора в Мюнхене и Фьюмичино, в Вене и на севере Израиля вызывали у него инстинктивное омерзение. Вдобавок, лично он очень смелый человек, и нападение на безоружных — какими бы благими поводами это ни оправдывалось! — заставляло его подозревать террористов в самом страшном грехе — трусости. «Пусть у них цели хорошие, но зачем напа-

дать на детей или паломников? Если они хотят освободить своих товарищей — пусть нападут на израильский генштаб!» — вот типичное для Осипова рассуждение, кстати, очень русское по стилю. Нет, деньги Каддафи не соблазнили редактора безгонорарного и бесфондового журнала — не деньгами изменялись его политические принципы.

Но главное, конечно, заключалось в том, что публикация пропалестинской статьи в нелегальном журнале означала бы открытую демонстрацию солидарности с начальством. Иванов-«Скуратов» именно поэтому и хотел напечатать (даже написать) статью, а Осипов именно поэтому не хотел. «С кем Вы, Владимир Осипов?» Он не хотел быть вместе со своими тюремщиками ни в одном вопросе, даже в ближневосточном.

Публикация проправительственной статьи в «Вече» означала в его глазах переход «русской партии» в лагерь начальства, разрыв с оппозицией. «Я сказал тогда Бородину: если мы это напечатает, я стану политическим трупом»... Бородин, член редакции, бывший политзэк из ВСХСОНовцев, с ним согласился. Голоса в редакции разделились: двое на двое. Голос редактора — против, значит, статья не прошла.

Рассказывая мне об этом голосовании, Осипов предполагал, что ГБ имело коварный умысел. Уже решив его арестовать, Комитет задумал скомпрометировать его журнал в глазах оппозиции и тем самым лишить редактора после изъятия в следственный изолятор любой международной и внутренней поддержки. Могло быть, конечно, и так, но мне не верится...

По-моему, КГБ — организация примитивная,ходы у нее попроще, действует она поглубже, понаглее и попроще.

Если, действительно, «палестинская акция» задумывалась в оперотделе (что теоретически вполне допустимо), то думается, это было последнее деловое

предложение Осипову: с кем вы, Владимир Осипов? Куда поведете свою партию? Когда он выбрал Солженицына, а не Арафата с Андроповым, Андропов дал «добро» на его арест.

17. РАСКОЛ И «ЗЕМЛЯ»

...Группа фактов в это время возбудила подозрение Осипова против Мельниковой. Он мне пересказывал их, и, по совести, я не могу сказать, что они сто процентно убедительны: каждый из них допускает иное толкование.

Например, Осипов рассказывал, как по предложению Мельниковой он решил передать фото пленку с копией очередного номера «Вече» журналисту, которым интересовалось ГБ и знакомство с которым могло Осипова серьезно скомпрометировать (впрочем, как и того человека — знакомство с редактором «Вече»). Когда выяснилось, что журналист не пришел в назначенный заранее пункт и перенес встречу, Мельникова вдруг стала звонить по телефону Аиде, бывшей Топешкиной-Осиповой, чтобы сообщить ей о новом месте, хотя знала, что телефон Аиды прослушивается в ГБ. «Человек этот был вскоре обыскан, но ничего у него не нашли, — рубит сплеча Владимир. — Звонок Аиде был прямо приглашением гебистов на место нашей встречи, да я оборвал его!» Но это ведь могло быть просто проявлением растерянности неконспиративной и несобранной женщины...

Напоминал Осипов, как она выслеживала с помощью хитростей, обид и интриг его связи и контакты. Например, в Ленинграде он вступил в переговоры с бывшим активистом ВСХСОНа Конкиным, который согласился оказывать услуги «Вече» лишь при условии, что его фамилию никто из «вечевиков», кроме самого Осипова, не будет знать. Как же изумился

Осипов, прочитав на следствии показания Конкина: оказывается, во время вернисажа Ильи Глазунова прибывшая в Ленинград Мельникова посетила Конкина по делам «Вече». «Откуда она могла узнать про него? От меня она не получала его адреса», — спрашивал Осипов.

Вспомнил он и какую-то старушку, которая имела всепоглощающее хобби — коллекцию всевозможных материалов о Солженицыне. Она достала всё возможное в Союзе о жизни и творчестве Александра Исаевича и создала миниатюрный домашний музей. Однажды ей позвонил человек, голос которого она узнала: это был, по словам Осипова, близкий друг и «оруженосец» Мельниковой. Он пригласил ее на встречу с Владимиром Николаевичем к станции метро. Старушка отправилась, никого не застала и не дождалась, а когда вернулась домой, дверь была открыта (по-русски правильно сказать — вскрыта), квартира не ограблена — исчезли только материалы об Александре Исаевиче. «Не беспокойтесь о пропаже, мы тоже любим Александра Исаевича, и у нас эти материалы лучше сохраняются», — оставили ей записку неизвестные похитители...

Вспомнил он историю с тысячей рублей, которые передал на издание «Вече» один ученый, а он, Осипов, уже подозревая Мельникову в провокаторстве, пустил слух, что якобы деньги из зарубежных источников, — и наблюдал со стороны, как она ведет следствие, пытаясь выследить канал получения денег. Вспоминал, какой травле она подвергала его жену, Валентину Машкову: тут мне были рассказаны препоказные подробности о Мельниковой, которые не буду повторять, — они касаются чужой личной жизни. Скажу лишь одно: покарала судьба Осипова за его вмешательство в семейную жизнь Солженицына, «подобное лечила подобным»! Нерусская девичья фамилия его жены (Цехмистер — видимо, от «цейхмейстер», кто-

то из предков служил в артиллерии. Осипов сказал, что этнически она — чистокровная украинка. Да и вообще, что можно угадать по русским фамилиям о национальности владельца!) — так вот фамилия жены несомненно служила поводом для сплетен, мол, жидомасоны подобралась, вслед за Солженицыным, и к Осипову тоже, через новую Эсфирь, так сказать. Немного зная патологическую любовь к сплетням в «патриотических салонах», особенно на тему, кто с какой еврейкой спит (эту любовь они заимствовали из салонов более высокопоставленных), представляю, как перемывались там косточки Осипову и его жене.

Но эти же факты могут быть истолкованы и по-иному: ну, например, Мельникова влюбилась в Осипова, и ее дикое поведение вызывалось страстью и ревностью — вот первый проходящий в голову примитивный вариант.

Осипов на одном из вечеров-сходняков «партии патриотов» открыто обвинил Мельникову в двойной игре и потребовал гласных объяснений некоторых ее поступков. «Знаешь, — рассказывал он, — когда я стал перечислять некоторые факты, требовать объяснений, она смотрела на меня так необычно, так странно. Будто читалось на лице: а ты, оказывается вовсе не такой дурак, как я думала».

— Кто любит меня — идем со мной, — сказал он, покидая ту вечеринку. Почти никто не ушел вслед за своим вожаком. Он был оставлен сторонниками, большинством авторов, даже некоторыми из лагерных друзей (о предательстве которых сокрушается больше всего). Думаю, во всеобщем предательстве сыграла роль не подлость окружающих, а масонская легенда: масоны подобралась к Осипову через жену, как раньше они подобралась и соблазнили Солженицына*. Осипов — предатель «русского дела».

* Я своими ушами слышал разговоры некоторых «патриотов»

Сначала он пытался спасти единство редакции, передав редактирование товарищу и единомышленнику — Бородину. Но после того, как Бородин согласился, внезапно среди бела, как говорится, дня загорелся и через полчаса превратился в пепел деревенский дом Бородина со всем находившимся в нем имуществом. (Осипов по этому поводу припоминал пожар на квартире руководителя советского отделения «Эмнести Интернейшнл» Андрея Твердохлебова и некоторые другие таинственные пожары на квартирах у диссидентов — таинственные для него как для пожарника-профессионала.) Но, как ни судить о причине пожара, за полчаса превратился Бородин в бездомного пролетария и был выведен с поля общественной борьбы: не имея жилья и денег, нельзя редактировать журнал на общественных началах.

Тогда Осипов просто покинул «Вече» и начал подготовку к выпуску нового журнала — «Земля» (кажется, успел выйти первый номер). Он встречался в это трудное для него время с Андреем Амальриком, с Андреем Твердохлебовым: судя по некоторым намекам, «Земля» могла стать рупором славянофилов-«народников», идущих в русле Александра Солженицына. В соответствии с этим Осипов включился в полемику, которая тогда началась между Солженицыным и его «московским наместником Сахаровым» (именно так выразился рупор мирового коммунизма, журнал «Проблемы мира и социализма»: с удовольствием цитирую). Осипов, естественно, поддерживал Солженицына.

Сгруппировавшиеся вокруг Иванова-Скуратова и Мельниковой «вечевики» решили выпускать журнал

после изгнания Солженицына, мол, он *умышленно спровоцировал* кампанию властей против себя, а также свой арест, заранее рассчитав, что это даст ему возможность «красиво дезертировать» из России, оставив других патриотов под игом произвола властей.

без Осипова. Они опубликовали «манихвест» с обвинением Осипова в «измене русскому делу» и вдобавок в самозванстве (мол, журнал выпускал вовсе не он, а Мельникова, он же присваивал заслуги бедной Светы. Осипов с неподражаемой все-таки наивностью возмущался в зоне: «А почему тогда за «Вече» сижу я один!»). На его место главы редакции ввели... Иван-Григорьяча Овчинникова. Впрочем, о редакторских талантах новой редакции судить невозможно: она выпустила только один номер (кажется, десятый), подготовленный при Осипове, — и на том прекратила существование. Правда, этот номер, как рассказывал Владимир Николаевич, был выпущен в двух вариантах: со статьей о справедливом сталинском возмездии для крымских татар в выпуске для «своих» и без одной статьи — для всей остальной, несознательной общественности.

19. «ВОСЕМЬ ЛЕТ СТРОГОГО РЕЖИМА»...

Иногда думаю: может быть, именно статьи Осипова в поддержку Солженицына окончательно решили вопрос его тюремной судьбы?

По моим предположениям, всё так называемое «Дело № 15» ЛенУКГБ за 1974 год являлось местной антисолженицынской акцией. У ГБ и другого начальства вырвали из клыков Солженицына: их логика требовала, чтобы вместо Исаака заклали ягненка — Эткинда, Марамзина, Хейфеца, Осипова с помощниками...

Помимо прочего, это рассматривалось как воспитательная процедура по отношению к остальным советским литераторам: да, Солженицына мы вынуждены были отпустить, но — его одного! А вас, солженицынских поклонников, сажали и сажать будем! Подробно я не буду здесь останавливаться на системе доказательств этой теоремы: нет ни времени, ни же-

лания, да и по тематике — уходит в сторону. Просто пусть пока предполагаемый читатель поверит на слово: вся наша группа предназначалась в «зиц-солженицыны». Поэтому я думаю, что именно выступление Осипова в его поддержку (пусть даже против Сахарова) оказалось последним толчком.

Одновременно с моим обыском и арестом в апреле 1974 года ЛенГБ обыскало ленинградских «вечевиков». Но Осипов (по его признанию в лагере) все еще не мог поверить, что дело завершится арестом. Видимо, он был слишком «стрессован» предательством и клеветой бывших единомышленников, чтобы замечать опасность со стороны ГБ.

— Это было такое... В моей жизни опыт этого времени равен, может быть, тому дню, когда осознал себя русским патриотом и переломилась жизнь — до этого дня и после него. И тогда, когда меня предали, — второй раз она переломилась.

Началась нервная горячка вокруг постановки нового журнала «Земля». Одновременно он много писал... В той обстановке, конечно, надо было тщательно прятать написанное или даже уничтожить его.

— А я все оттачивал каждую фразу, каждую букву — нравилось мне то, что в те дни написал. И со всем этим загремел в ГБ.

Конечно, как опытный человек, он предусматривал некоторые меры на случай ареста. Один из товарищей-единомышленников дал ему слово — в случае «изъятия» редактора продолжить журнал. Осипов крепко на него надеялся. Уже стоя перед судом, он призывал своих товарищей (и, прежде всего, этого редактора) издавать журнал, издавать «Землю». Но тот человек, хотя и был, кажется, честным славянофилом, выпустил без Осипова всего один номер, да и тот весь подготовленный еще Владимиром Николаевичем. Что тут явилось причиной: испуг ли нового редактора, профессиональная его недостаточность или

страх уже не редакции, а авторского актива — я не знаю. Осипов скрытно, но сильно переживает прекращение «Земли». Однажды вырвалось:

— Мы идем на минное поле. И, когда идешь, договариваешься с товарищем: если я взорвусь, ты уже знаешь тропу, по которой я шел, можешь от этого места пройти дальше. Если пройдешь еще хоть немного, значит, и я недаром шел до того места, где взорвался. И если после меня он не пошел — обидно. Очень. Обидно тому, кто взорвался. Не за то, что тот струсил или не смог, — с человеком всякое может случиться, а за то, что раньше пообещал. Не надо обещать!!

В другой раз, когда мы обсуждали на крыльце пустого барака дело Петра Якира, Осипов сказал:

— Якир предал своих, а гебистов победил. Раз после его измены «Хроника» продолжается, победил он, а не ГБ. А я вот держался на следствии неплохо, мне не в чем себя упрекнуть, а победили они. Потому что ни «Земля», ни «Вече» не выходят...

Его арестовали на работе, в «пожарке», и привезли во Владимирское ОблУКГБ. На первом допросе, сразу после предъявления обвинения он встал и сказал: «Объявляю голодовку». — «Вы нас не запугаете», — завизжал следователь. Осипов голодал 14 суток, потом прекратил: «Знаешь, было неприятно, когда засовывали эту кишку в пищевод, — смущенно скривился. — Да я им показал уже свой характер». За весь период следствия он не подписал ни одного протокола, кроме единственного — того, в котором следствие сняло с него обвинение в передаче материалов журнала иностранным журналистам (этот допрос — отдельная и очень забавная новелла, но я вынужден кончить рукопись сегодня. Тоже — «на потом»).

Он читал в деле показания Светланы Мельниковой: «Мы, редакция «Вече», являлись русскими и советскими патриотами, признававшими правильность

линии... Но среди нас действовал антисоветчик Владимир Осипов, который пытался разлагать...»*. Читал показания Овчинникова, его «преемника», который темпераментно доносил на всех, на кого мог, но больше всего — на Мельникову! Читал показания Иванова-«Скуратова» — они были не лучше всех остальных («Потом он, на суде, когда понял, что его не будут привлекать, держался приличнее, но что за мерзости наговорил на следствии...»). Предали, продали. Не все — оставались и честные люди, но сколько вокруг дерьма, трусов и предателей, сколько ренегатов!

Твердо и последовательно отрицая свою вину, он утверждал, что его действия и его журнал были «политически лояльными». Видимо, Осипов произвел сильное впечатление на Владимирский облсуд: ему выдали не максимум концлагеря (10 лет), а восемь, причем не дали дополнительной меры — ссылки, и режим определили не как рецидивисту «особый», а более легкий — «строгий». Все-таки город Владимир — город русский, и судьи русские; стыдно, наверно, им было судить русского патриота. Более того — окольными путями, уже после приговора, принесли ему судьи свои оправдания: пусть Осипов нас простит, больше снять со срока мы не могли. Что возможно — всё сделали. А по первому делу он уже имел 7 лет, и по второму никак не мог получить меньше восьми. Вот если бы по первому приговору дали меньше, мы бы тоже меньше дали. А сейчас — просто не можем.

Не знаешь, кого больше жалеть — гордого и строгого подсудимого или этот несчастный, униженный суд...

* Агент, тем более, если ГБ хочет оставить его вне подозрений, не может дать таких показаний, приложенных к доступному обвиняемому делу. — Прим. Э. Кузнецова.

ПРИМЕЧАНИЕ, СДЕЛАННОЕ ЧЕРЕЗ ЧЕТЫРЕ МЕСЯЦА

Очерк-интервью об Осипове я писал в марте-апреле нынешнего года. Закончил последние строки утром 21 апреля — в день начала стодневной забастовки с требованием Статуса политзаключенного, в которой участвовали мы с Осиповым. Все главы, написанные до «Вече», были им просмотрены и одобрены. «Вече» же я писал буквально в последние перед забастовкой дни, у меня не было времени их ему читать, и он был занят организацией борьбы (на нашей зоне он стоял во главе акции, задуманной на зоне № 3/5 Вячеславом Черновилем). Просто он сказал: «Теперь я знаю, как ты пишешь, и доверяю». Но посылка, в которую была вложена рукопись, пропала при пересылке.

Оказавшись после забастовки в должности кочегара, я решил восстановить потерянную рукопись во время моих ночных дежурств. Это очень трудно: Солдатов, которому посвящена первая глава, увезли в Таллин, на перевоспитание. Осипов тяжело заболел в карцере в страшно холодную ночь с 22 на 23 июля (мне повезло — именно в эту ночь у меня оказалась пересменка между карцерами: вечером кончился срок, а снова посадили только утром). Его теперь увезли в больницу...

Но я все-таки восстановлю, что помню. Конечно, это не такая рукопись, как та, первая, — но что поделаешь: «Мы привыкли терять, и в этом наша сила», — как сказал Сергей Солдатов, узнав о пропаже посылки. Надо работать, пока есть условия: а то мой срок кончается, и, кажется, «дырка в заборе» для наших посылок может закрыться еще скорее.

На волю, конечно, хочется выйти. Но не лицемерю — тяжело уходить, оставляя товарищей в зоне. Иногда думаю: хорошо, что на волю здесь так же

етапірують, как и в другую зону: насильно. А если бы добровольно — кто знает, может, и не ушел бы. Нелепо, знаю. Но здесь в зоне вся жизнь нелепая.

Прощайте!

Писано в концлагере № 19 Мордовского управления концлагерей кочегаром-зольщиком Михаилом Хейфецем в августе-сентябре 1977 г.

ПІДТРИМУЮТЬ «РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКУ ЗАЯВУ»

В другій половині 1980 року в українській і російській пресі була надрукована «Російсько-українська заява» підписана 10-ма діячами. З української сторони під нею поставили підписи: Роман Барановський, Михайло Воскобійник, Роман Ільницький, Дмитро Корбутяк, Степан Процик, Марта Богачевська-Хом'як, Ростислав Хом'як. З російської сторони: Владімір Буковській, Наталя Горбаневская, Владімір Максимов (всі члени Ред-Колегії журналу «Континент», Париж).

«Заява» викликала живий відгомін серед української і російської спільнот, чого доказом є й те, що десятки українців і росіян зголосили свою підтримку для неї. Між зголошеними є політики, публіцисти, професори, письменники, поети, мистці, громадські і культурні діячі. Підписані росіяни — це найновіші емігранти-дисиденти з міцними зв'язками з російським народом і з поважними впливами на його публічну опінію.

Подаємо перший список заголошених: (без наукових титулів):

Українці: Олекса Біланюк, Ярослав Білінський, Роман Борковський, Василь Витвицький, Олег Волянський, Йосип Гірняк, Василь Гришко, Михайло Добрянський (Англія), Олексій Коновал, Григорій Костюк, Дмитро Кузик, Анатолій Лисий, Юрій Луцький, Василь Маркусь, Ярослав Пеленський, Петро Потічний, Микола Радейко (Норвегія), Іван Лисяк-Рудницький, Роман Савицький, Михайло Смик, Атанас Фіголь (Німеччина), Олекса Яворський. (Країна подана тільки при тих особах, які живуть поза США і Канадою).

Росіяни: Кронід Любарскій, Галіна Салова, Вадім Нечаєв, Віктор Некрасов, Владімір Марамзін, Віолетта Іверні, Васілій Бетакі, Оскар Рабін, Александр Глезер, Кіра Сапгір, Ернст Неівестний, Вадім Делоне, Владімір Аллой, Едуард Кузнецов, Валерій Чалідзе, Павел Літвінов. (Цей список був проголошений в 26 числі російського журналу «Континент», Париж).

ПОДДЕРЖИВАЮТ РУССКО-УКРАИНСКОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

Во второй половине 1980 года в украинской и русской прессе было напечатано «Русско-украинское заявление», подписанное десятью деятелями. С украинской стороны под ним поставили подписи: Роман Барановский, Михайло Воскобойник, Роман Ильницький, Дмитро Корбутяк, Степан Прцик, Марта Богачевская-Хомяк, Ростислав Хомяк. С русской стороны: Владимир Буковский, Наталья Горбаневская, Владимир Максимов (все члены редколлегии журнала «Континент»).

Заявление вызвало живой отклик среди украинской и русской общественности, доказательство тому — десятки украинцев и русских, выразивших ему свою поддержку. Среди них политики, публицисты, профессора, писатели, поэты, деятели искусства, культурно-общественные деятели. Подписавшие заявление русские — диссиденты из новой эмиграции, сохраняющие тесные связи с русским народом и серьезное влияние на его общественное мнение.

Приводим первый список поддержавших:

Украинцы: Олекса Биланюк, проф. Пенсильванского ун-та, Ярослав Билинский, проф. Делаваарского ун-та, Роман Борковский, публицист, ОУНз, Василь Витвицкий, музыковед, Олег Волянский, врач, Йосип Гирняк, актер, Василь Гришко, почетный глава УРДП, Михайло Добрянский, публицист (Англия), Олексий Коновал, инженер, лидер УРДП, Григорий Костюк, литературовед, Дмитро Кузик, редактор «Нашего Голоса», Анатолий Лысый, врач, Юрий Луцкий, проф. Торонтского ун-та, Василь Маркус, проф. ун-та Лойола, Ярослав Пеленский, проф. ун-та штата Айова, Петро Потычный, проф. ун-та Гамильтон, Микола Радейко, врач (Норвегия), Иван Лысяк-Рудницкий, проф. ун-та Эдмонтон, Роман Савицкий, музыковед, Михайло Смык, редактор газ. «Українські Вісті», Атанас Фиголь, глава УДР (Германия), Олекса Яворский, глава УНДР. (Страна указана только для тех, кто живет не в США и не в Канаде.). Все подписавшиеся — члены УДР (Украинского демократического движения).

Русские: Кронид Любарский, Галина Салова, Вадим Нечаев, Виктор Некрасов, Владимир Маразмин, Виолетта Иверни, Василий Бетаки, Оскар Рабин, Александр Глезер, Кира Сапгир, Эрнст Неизвестный, Вадим Делоне, Владимир Аллой, Эдуард Кузнецов, Валерий Чалидзе, Павел Литвинов. (Этот список был опубликован в 26-м номере «Континента».)

Михайло Михайлов

ВОЗВРАЩЕНИЕ ВЕЛИКОГО ИНКВИЗИТОРА

О политических выступлениях Александра Солженицына

ОТ РЕДАКЦИИ: Мы не согласны ни с одним существенным положением этой статьи, но, по установленному у нас правилу, каждый член редколлегии имеет право напечатать один принципиальный для него материал под свою ответственность. Следуя этому правилу, мы и публикуем ниже статью Михайло Михайлова.

Редакция обратилась к доктору исторических наук Михаилу Геллеру с просьбой высказать свое мнение по поводу этой статьи, которое, кстати сказать, мы *целиком и полностью* разделяем.

В своей статье «Чем грозит Америке плохое понимание России» Солженицын углубляет и повторяет все основные свои политические идеи, уже раньше высказанные в «Письме вождям Советского Союза» (1974), в своей нашумевшей гарвардской речи (1978), в статье «Коммунизм: у всех на виду и не понят» из журнала «Time»*, и во всех своих интервью по политическим вопросам. Свободно можно охарактеризовать статью в «Foreign Affairs»** — законченным и

Статья «Возвращение Великого Инквизитора» входит в сборник статей М. Михайлова «Планетарное сознание», который в 1981 году будет напечатан издательством «Ардис» (Анн Арбор). В «Континенте» печатается с сокращениями, сделанными самим автором.

* Русский оригинал — «Русская мысль», 1980, 21. 2. — Прим. ред.

** «Чем грозит Америке плохое понимание России». Русский оригинал — «Вестник РХД», 1980, № 131. — Прим. ред.

полным идеологическо-политическим credo Александра Солженицына.

Конечно, нельзя не согласиться с Солженицыным в том, что политика западных демократий в отношении тоталитаризма чаще всего вызывает один лишь пессимизм у вдумчивого наблюдателя. Однако мне приходится признаться, что еще больший пессимизм, по моему мнению, могут вызвать взгляды Солженицына на то, как противостоять общемировому злу тоталитарного коммунизма. Сразу же хочется подчеркнуть, что если бы в этой, в некотором смысле программной идеологическо-политической статье Солженицына все было неверно, то я бы не стал писать, а просто бы махнул рукой. Однако именно своеобразная смесь верного и неверного, правдивого и ложного делает так опасными идеологическо-политические призывы Солженицына именно в наше время.

В чем же состоит опасность взглядов Солженицына? С тех пор, как существует коммунизм, не прекращается постоянный спор о том, как можно ему противостоять. По существу, есть только две идеологическо-политические концепции. Одна, которую можно было бы условно назвать интернационально-демократической и в основе которой лежит убеждение, что против интернационального зла коммунистического тоталитаризма можно бороться тоже только интернациональным объединением, ратующим за плюралистическое демократическое общество, свободу личности и то, что ныне называется правами человека. Несмотря на долгодетный газетный шум так нелюбимых Солженицыным «либералов», надо сказать, что до сих пор нигде и ни разу эта интернационально-демократическая концепция не получила перевеса над второй идеологической концепцией. Только несколько месяцев в начале президентства Картера казалось, что общемировая борьба за права человека становится определяющим фактором в сопротивлении коммунистическому тоталитаризму западных демократических стран. Однако очень скоро выяснилось, что борьба за права человека была лишь временным средством, а никак не целью даже американского правительства. Вторая идейно-политическая линия, которую тоже условно можно было бы назвать национально-авторитарной, начиная с 1917 года и, к сожалению, по сей день все еще является определяющей в стратегии и тактике борьбы западных демократий против коммунизма. Главную опасность последних политических выступлений Солженицына я вижу в том, что он, критикуя западные демократии за якобы следование по путям первой интернационально-демократической концепции, систематически подменяет борьбу за свободу и

права каждого отдельного человека борьбой за национализм, за возрождение национализма, за права наций. Солженицын не замечает, что за многими разговорами о демократии и правах человека, к сожалению, все еще внешняя политика западных демократических стран, включая США, определяется именно сугубо национальными интересами, в результате чего демократический мир отстает перед тоталитаризмом на всех фронтах.

Вполне логично, что если самое важное в борьбе с коммунистическим тоталитаризмом — возрождение национализма и так называемого «национального самосознания», — то под удар попадает и демократия. Дело в том, что никакой национальной демократии нет и не может быть. Сама демократия базируется на равенстве прав, независимо от национальной, религиозной, идеологической, расовой или политической принадлежности человека. Вот поэтому демократия всегда интернациональна, и тот факт, что западные демократические государства, к сожалению, все еще ведут национальную внешнюю политику, является величайшим недостатком и непоследовательностью демократий. Солженицын же призывает на путь утверждения этого недостатка, несмотря на его абсолютно противоположное, чем у западных политических деятелей и многих западных ученых, отношение к русскому национализму. К сожалению, надо признаться, что никто до сих пор не дал столько аргументов профессору Ричарду Пайпсу, чем сам Солженицын. На меня более угнетающе действуют идеологическо-политические статьи и высказывания Солженицына, чем тоже не совсем уж объективные работы проф. Пайпса. Однако, в книгах и статьях гарвардского профессора речь идет о прошлом России, а у Солженицына — о ее будущем. Вот это-то и трагично.

В ЧЕМ СОЛЖЕНИЦЫН ПРАВ

В самом начале статьи Солженицын подчеркивает, что очень распространены две ошибки в понимании коммунизма. Одна — это непонимание полной враждебности коммунизма всему человечеству и что нет никаких «лучших вариантов» комдиктатуры, а также, что либо коммунизм прорастет человечество, как рак, и убьет его, либо человечество должно от него избавиться. Вторая ошибка, по мнению Солженицына, это то, что мировую болезнь коммунизма неразделимо смешивают с той страной, которой он овладел первой, — Россией. С одними этими утверждениями можно согласиться, до-

бавив, однако, что трудно найти лучшие варианты диктатур и некоммунистических. Все диктатуры не могут существовать без террора, также и националистические диктатуры. Верно и то, что чрезвычайно вредно отождествление коммунистической опасности только с Советским Союзом, как это происходит в наше время, когда на Западе трагедию китайского коммунизма или югославского практически не замечают. Полностью прав Солженицын, называя чудовищной резолюцию Конгресса США от 6-8 июля 1959 года «О порабощенных нациях», где всемирный коммунизм назван русским, России приписано порабощение континентального Китая и Тибета, и русским отказано числиться в составе угнетенных наций. Сотни раз Солженицын прав в том, что угнетенные народы являются лучшими союзниками демократического мира и что непонимание этого приводит западные правительства к непоправимым ошибкам. Замечательно верна критика Солженицыным передач «Голоса Америки», из которых убирается все, что могло бы раздражить правящих коммунистов. Если бы Солженицын слушал передачи «Голоса Америки» на Югославию, то он бы мог намного резче осудить бездарное использование «самого могучего средства, которое находится в руках Соединенных Штатов, для того, чтобы установить взаимопонимание и даже союз с угнетенными народами». Правда в том, что:

«Коммунизм нельзя остановить никакими уловками детанта, никакими переговорами, — его может остановить только внешняя сила или развал изнутри. Гладкое, легкое, многолетнее шествие западного отступления должно было кончиться когда-то, — и вот оно кончается: пусть не последний рубеж, но уже предпоследний. Не защитив дальних границ, придется защищать ближние. Уже сегодня весь Запад под опасностью большей, чем нависала в 1939 году. ...Накануне планетарной битвы между мировым коммунизмом и мировой человечностью хотя бы ясно видел Запад, где враги человечности и где друзья ее, и не искал бы союза врагов, но искал бы союза друзей. Так много уже уступлено, отдано и расторгнуто, что сегодня Запад уже не может устоять даже при единении всех западных государств, — а лишь в союзе с порабощенными народами коммунистических стран».

Все это полностью верно, однако является результатом именно отсутствия интернационального подхода к проблеме коммунизма. Тогда, когда отождествляется русский народ с коммунистами, то это является лишь националистическим пережитком демократических стран, правда, с совершенно противоположным знаком, чем

у национализма Солженицына. Однако Солженицын прав, констатируя факт непонимания природы коммунизма Западом, хотя его объяснение и, главное, его средства борьбы против тоталитаризма отнюдь не лучше, чем западные. Пафос критики Солженицыным несопротивленчества демократического мира напору тоталитаризма в планетарном масштабе и является той правдой политических высказываний Солженицына, правдой, которая может увлечь очень многих, желающих бороться с мировым злом, на ту ложную и опасную дорогу, на которую зовет Солженицын в девяти десятых частях своей большой программной статьи.

РАСКОЛ ИЛИ ПЛЮРАЛИЗМ

Ныне уже ни для кого не секрет, что среди диссидентского движения в Советском Союзе, а также и на Западе, существует идеологическое столкновение, вызванное отношением к т. н. «возрождению национализма». И, несмотря на то, что людей, как, например, академик Андрей Сахаров или Милован Джилас, ни в коем случае нельзя назвать «ненавистниками России», тем не менее всякая идеологическая критика националистических взглядов Солженицына вызывает именно обвинение в ненависти к России, а иногда и прозрачные намеки на то, что несогласные с солженицынскими взглядами желают внести «раскол» в антикоммунистическое движение и, значит, являются агентами или же только инспирированными со стороны КГБ. Об этом, например, пишет Александр Глезер в статье «Хоть бы кто объяснил» в нью-йоркском еженедельнике на русском языке «Новый американец», от 11-16 июля с. г.:

«Впрочем, может подойдет такое простое объяснение: каким-то действительно влиятельным, а не мифическим русским силам очень нравится тот раскол, который вносят в русскую эмиграцию вышеупомянутые господа...».

Другие защитники Солженицына, как, например, Владимир Буковский (в 23-м номере журнала «Континент»), напирают на идею, что, дескать, Солженицын не политический деятель и не политик, а просто художник, писатель, и что поэтому не стоит и не надо критиковать его политические высказывания. Однако журнал «Foreign Affairs» является сугубо политическим, и в своих статьях Солженицын преследует именно политические цели. Многие защитники Солженицына признают в его взглядах явные нелепости, но считают, что его никак нельзя критиковать за это, так как якобы все дело

диссидентской борьбы падает вместе с ним, уже давно ставшим символом диссидентства. Этот взгляд очень напоминает советский запрет критиковать «своих» в условиях «вражеского окружения». Также нередко говорят, что в своих политических выступлениях Солженицын прав в основном, хотя во многих частностях он ошибается. Мне же лично кажется, что он неправ в основном, а что во многих частностях он совершенно прав. Однако абсолютно подавляющим отношением к идеологическому спору со взглядами, защищающими русский национализм, и особенно к критике Солженицына, является замалчивание. Просто какая-то типично советская боязнь публичного столкновения идей. Вот Солженицын пишет, что «возрождение русского национального сознания — единственно что может противостоять коммунизму изнутри» (статья «Коммунизм: у всех на виду — и не понят»), и почти в то же время академик Сахаров из своей горьковской ссылки посылает свою статью «Тревожное время», в которой находятся вот эти слова: «Националистическая идеология, как я убежден, опасна и разрушительна даже в ее наиболее гуманных, на первый взгляд, «диссидентских» формах» («Новое Русское Слово» 1980, 14 июня). И нигде в зарубежной свободной русской прессе не найти комментариев, полемики, идеологического анализа этих совершенно противоположных идейно-политических установок двух самых в мире ныне известных русских свободомыслящих. Всякая же попытка полемики и открытого обсуждения вызывает обвинение в расколе. Сахарова и Джиласа, очевидно, от этих обвинений спасает лишь то, что они находятся на самой первой линии борьбы с коммунистическим тоталитаризмом.

По-моему, тревогу вызывает не плюрализм идейно-политических установок и отсутствие единомыслия в диссидентском движении, а величайшую тревогу вызывает факт попытки замолчать и затушевать всякую критику поклонников националистической идеологии. Благодаря атмосфере умолчания и попытке представить перед лицом западного мира некое якобы единомыслие диссидентов, настоящим праздником для свободного духа явился 23-й номер «Континента», в котором напечатана критическая статья Чалидзе о национализме Солженицына.

НЕСКОЛЬКО ПРОТИВОРЕЧИЙ

Прежде чем начать анализ основного заблуждения Солженицына, мне хочется выявить несколько явных противоречий в его

статье, но которые как-то мало замечаются. Солженицын осуждает западные демократические страны за корыстный союз с коммунистами во время Второй мировой войны для борьбы против Гитлера: «...А между тем, при бесстрашной преданности принципу *всеобщей* универсальной свободы он не должен был покупать ленд-лизом помощь кровавого Сталина, укреплять его господство над народами, ищущими своей свободы. Запад должен был открывать независимый фронт против Гитлера и сокрушить Гитлера своими *собственными* силами, и эти силы у демократических стран были, но их жалели и предпочли загородиться несчастными народами СССР». И почти что на той же странице, оправдывая нежелание бороться с немцами в первый год войны миллионов красноармейцев, он говорит: «Для них весь смысл новейшей войны был — освобождение от коммунистической чумы. Народ, естественно, стремился в первую очередь решить не европейскую задачу, а свою национальную — освободиться от коммунистов».

Упрек Солженицына Западу был бы полностью уместен, если бы западные демократии не на словах только, а в самом деле были бесстрашно преданы принципу всеобщей универсальной свободы. К сожалению, это не так, и западные демократические страны вели именно национальную политику, которую Солженицын оправдывает, когда идет речь о русском народе, и, наоборот, осуждает у Запада.

Отсюда же вытекает и второе противоречие — Солженицын совершенно справедливо осуждает тенденции изоляционизма Соединенных Штатов и в то же время настаивает на том, что для выздоровления русского народа необходимо 150-200 лет «мирной национальной России», посвященной внутреннему оздоровлению и никак не вмешивающейся в мировую «толкучку». Правда, он пытается сгладить это противоречие утверждением, что, дескать, одно дело изоляционизм мирового защитника США, а другое дело изоляционизм мирового агрессора Советской России. Однако ведь не о коммунистической России идет речь, когда он говорит о 150-200 годах выздоровления. И теперь, когда процесс борьбы с тоталитаризмом охватил всю планету, совершенно бессмысленно думать не только о двух веках самоизлечения без участия в мировой «толкучке», но с полной уверенностью можно сказать, что не будет даже полтора года и ни для одного народа такой спокойной жизни, посвященной только внутренним задачам. Ведь даже если бы осуществилась мечта Солженицына, остается огромный коммунисти-

ческий Китай и все другие многочисленные коммунистические страны в Азии, Африке и Южной Америке.

Также противоречиво обвинение Солженицыным западной прессы. По Солженицыну, за 30 лет не нашлось «ни одного честного пера» в западной прессе, которое описало бы выдачу антикоммунистических сил Сталину в 1945 году. Солженицын возмущается — «свободная, гордая, ничем не связанная английская и американская печать... промолчала об этом предательстве своих правительств». И дальше — «бесперебойная гласность Запада вдруг в этом случае отказала». Обвинение Солженицына, конечно, имеет смысл, но только в том случае, если признать, что западная пресса не такая уж свободная и все-таки кое-чем связанная. Другими словами, западную прессу можно критиковать, но отнюдь не за ее чрезмерную свободу, а наоборот, за то, что и она все же недостаточно свободна. Но вот несколькими страницами дальше в своей статье Солженицын выступает за ограничение западной прессы, однако, как он говорит — ограничение «не свободы слова, а только безответственных аморальных злоупотреблений ею». И сразу же иллюстрирует, что под этим подразумевает: «Но нас, проживших суровые годы, оскорбляет получать от прессы подробности, что у бывшего британского премьера оперировано не что-нибудь, а именно яичко, и какое одеяло у Жаклин Кеннеди, и какой напиток предпочитает певица дешевых песен». Позволительно поставить вопрос — а кто же это заставляет Солженицына читать эту легковесную прессу, тем более, что на Западе огромное количество серьезных газет и журналов, в которых таких сплетен не найти. Ведь не существование же желтой прессы виновно в том, что за 30 лет серьезная западная пресса молчала о выдаче антикоммунистов Сталину и Тито?

И вот еще одно странное противоречие: говоря о безвылазной бедности существования в Советском Союзе, Солженицын пишет: «Такая материальная пропасть существования — и уже полвека! — ведет и приводит к биологическому вырождению нации, к упадку телесному и духовному — тем более усиленному отупляющей политической пропагандой,... свободой для одного лишь пьянства,... и ограблением детского ума. Падение бытовых нравов — жестоко, но не потому, что так плох народ, а потому, что коммунисты лишили его пищи физической, пищи духовной...» Кому не памятно слова Солженицына из гарвардской речи, что «смертно давящая жизнь Востока выработала характеры более глубокие, чем регламентированная жизнь Запада». Вспомнил об этих словах и Солже-

ницын и попытался снять законное недоумение читателей: к чему же по существу коммунизм приводит, к вырождению и упадку телесному и духовному или же, наоборот, к выработке характеров более глубоких, чем на Западе? Делает это он таким способом: «Но открытое давление Зла не так коварно растлевает людей, как его привлекательное вползание». Так что же все-таки лучше — открытое давление зла или же его привлекательное вползание («жир благополучия»)? Ответа нет, хотя вся деятельность Солженицына направлена на уничтожение или же только ослабление этого давящего зла.

В таком же плане противоречива критика Солженицыным молодых американцев, не желающих отбывать воинскую повинность, и его собственное предложение — «освободить нашу молодежь от обязательной всеобщей воинской повинности». Всюду повторяется эта *двойная мерка*, — критика то с одной стороны, то с совершенно противоположной. Америка критикуется за нежелание взять на свои плечи интернациональную задачу планетарной борьбы с коммунизмом, и в то же время оправдывается и восхваляется национализм и желается России 150-200 лет внешнего покоя и терпеливого занятия «внутренними проблемами». Пресса демократических стран то критикуется за чрезмерную свободу, а то — за отсутствие ее. И так во всем.

СМЕШЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО И РЕЛИГИОЗНОГО

Однако в статье Солженицына есть нечто и похуже, чем критика, высказываемая то с одной точки зрения, то с совершенно противоположной, первую точку исключаящей. Если такого типа критику можно еще и объяснить неосознанной идейной путаницей, то постоянное смешивание религиозного, духовного, национального, православного и христианского возрождения скорее смахивает на вполне сознательный прием. Этот прием помогает защитить так называемое возрождение национализма от критики. В своей статье в «Foreign Affairs» Солженицын пишет, что «новейшие информаторы Запада спешат уверить, что это нескудеющее христианство и есть величайшая опасность». Никто нигде не утверждал, что христианство и религиозное возрождение является величайшей опасностью. Однако очень многие, начиная с академика Сахарова и Джиласа, критиковали, и очень резко, идею национального авторитаризма, каким-либо образом связанного с православной церковью. Если же

всюду смешивать, как это делает Солженицын, и писать то о национальном возрождении, то о христианском возрождении, то о православном возрождении, то о религиозном возрождении, нигде и никак не отделяя одно понятие от другого, — то тогда, конечно, можно критику национализма воспринимать как критику религиозного и даже вообще духовного возрождения. Необходимо сразу же подчеркнуть: *национализм сам по себе, а религиозное возрождение само по себе*. И между ними нет ничего общего. В мире существует русское православие, сербское, румынское, но нет, не было и не может быть никакого русского христианства или же русской религии. Тем более бессмысленно упоминание национальности, когда речь идет о духовном возрождении. Именно христианство явилось первой в истории общечеловеческой религией и поэтому столкнулось с религией национальной — иудаизмом. Разве опять надо повторять слова Апостола Павла о том, что «нет больше ни Иудея, ни Еллина, ни Скифа» (Послание Колоссянам, 3, 11; Галатам, 3, 28). Существование же разделенных церквей сами христиане воспринимают болезненно.

Особенно хочется напомнить Солженицыну слова Гегеля о том, что до Христа существовали народы, а после Христа — личности. Вот поэтому именно на христианских корнях могла расцвести первая в истории общечеловеческая демократия в Соединенных Штатах, так как демократия возможна только там, где свобода личности ставится выше вообще всех других ценностей. Национализм часто сравнивают с принадлежностью каждого человека к своей семье, но именно Христос говорил о том, что — кто не оставит мать свою и отца своего и не пойдет за Ним, не спасет своей души (Лука, 18, 29; Марк, 10, 29). Или: «Враги человеку — домашние его» (Матф., 10, 36). Другими словами, между национальным и религиозным нет абсолютно ничего общего. Общее только то, что возрождение национализма совпало по времени с возрождением духовным и вообще с возрождением всего, что десятилетиями в России было загнано в подполье. За последнее десятилетие в Советском Союзе можно наблюдать также и возрождение всевозможных христианских и нехристианских сект, теософии, спиритизма, джазовой музыки, абстрактной живописи и даже наркомании. Однако не станет же Солженицын смешивать все это и употреблять то одно, то другое понятие, как это он делает с национальным, религиозным, духовным, христианским и православным возрождением?

Смещение религиозного и национального особенно опасно. Именно это смещение, которое Солженицын все время делает, и

является благодатной почвой для русского мессианизма. В своей статье в журнале «Foreign Affairs» Солженицын так прямо и пишет, что никакого русского мессианизма нет и что это «сочиненный вздор» и «бредовая выдумка». К сожалению, это отнюдь не так. Солженицына надо отослать к книге Николая Бердяева «Истоки и смысл русского коммунизма». Вспоминается также статья редактора самиздатского журнала «Вече» Осипова, так прямо черным по белому и написавшего: «Но посуху приходят к нам лжепророки. 'Бог не есть Бог русских, но всего мира', — говорят они... Но слова их ложь. Бог живых не может быть Богом мертвому миру... Да грядет русский Бог во спасение мира!» (Владимир Осипов. Предисловие к журналу «Земля», № 2, Самиздат, Москва). Однако необходимо добавить: не сам по себе плох мессианизм, а опасно его содержание, когда он связан с национализмом. Разве плох христианский мессианизм или тот, приписываемый в свое время президенту Картеру «американский мессианизм» в борьбе за права человека?

Невозможно не испытывать восхищения при взгляде на тот вклад в дело борьбы за свободу, который уже десятилетиями дает католическая церковь в Польше. Однако для всякого знающего новейшую историю вполне законно сомневаться в том, что монополия католической церкви в Польше была бы намного лучше, чем нынешняя монополия коммунистической партии. Как это ни прискорбно, но самый полный, законченный тоталитаризм возможно построить только на авторитарно-теократической, церковной основе. Тогда, когда в руках монопольной власти находится не только физическая жизнь человека, но и власть над спасением или гибелью человеческой души. В наше время религиозно-церковная монополия была бы в сотню раз хуже атеистической. Испанская католическая инквизиция с нынешней техникой — это было бы почище Советского Союза. Именно *программный атеизм* коммунистического тоталитаризма можно расценивать как его *самую слабую сторону*, затрудняющую использование присущего человеку религиозного импульса на дело зла.

САМАЯ ГЛАВНАЯ, ОСНОВНАЯ НЕПРАВДА СОЛЖЕНИЦЫНА

От начала и до конца всей своей программной статьи в журнале «Foreign Affairs» Солженицын бесконечное число раз повторяет слова — «национализм, национальное самосознание, национальный дух, национальная душа», и так далее, и по существу задача всей его

статья заключается в том, чтобы доказать, что только национализм является единственной силой, которая может противостоять коммунистическому тоталитаризму и спасти весь мир. Не борьба за свободу, не демократическое общество, не плюрализм, а только возрождение национализма. Отнюдь не надо быть коммунистом для того, чтобы считать национализм, всякий национализм, злом. Я лично тоже принадлежу к тем людям, которые видят в возможности возрождения идеологии русского национализма намного большую опасность, чем в существующей марксистско-ленинской идеологии. Дело просто в том, что советским коммунистам в самом деле, кроме миллионной бедноты в южноамериканских странах, — никто больше не верит. В наше время коммунизм держится только на голой физической силе. Национальная же идея, как и все десятилетиями запрещенные в Советском Союзе идеи, тем более после вынужденной долголетней изоляции от всех духовных течений демократического мира, — еще как может увлечь многих и многих людей. Опасность национализма не только в том, что он может быть использован коммунистической властью, как это произошло во Второй мировой войне, и не только в том, что национализм не может быть демократическим, а исключительно авторитарным, но главная опасность его в том, что он подрывает основы, на которых единственно только и можно противостоять мировому тоталитаризму. Коммунистический интернационализм, несмотря на свою «пролетарскую» ограниченность, все же является первым в новейшей истории общемировым движением с общечеловеческими целями. Для всякого думающего человека несомненным является факт создания в наше время одного-единственного мирового общества. Если в XIX еще столетии могло произойти такое, что колониальные войска Англии и Франции воевали между собой где-то в Африке, в то время как Франция и Англия в Европе не воевали, — то в наше время малейшее политическое изменение в каком-либо тихоокеанском микроскопическом островном государстве сразу же отзывается во всем мире и влияет на судьбу всего человечества. Вот эта происходящая планетаризация всего человечества, взаимосвязанность, необходимость наднациональной идеологии именно и давали силу в XX столетии коммунистическому движению. И противостоять интернациональному движению никакое национальное не может. Солженицын с опозданием в полвека повторяет ошибки всех антикоммунистов, выступающих против коммунизма с позиций *докоммунистических*. Результатом этого страшнейшего заблуждения, что национализм может противостоять коммунистическому

интернационализму, и является нынешнее положение вещей, когда почти две трети человечества находится в тоталитарном рабстве.

Лучшим примером может послужить гражданская война в Югославии. Националистические силы сербов, хорватов, словенцев, албанцев вместе взятые были намного больше, чем силы коммунистические. Но тем не менее, благодаря именно национальной междуусобице и *отсутствию наднациональной идеи* сопротивления коммунистической диктатуре, победили коммунисты. Югославия в этом смысле может послужить прообразом нынешнего мирового положения. Если не будет наднационального демократического движения, если не возродится общемировая, интернациональная борьба за защиту прав отдельного человека, — то так же, как и в Югославии во время Второй мировой войны, коммунизм победит во всем мире. Марксистский интернационализм является ложным ответом, но на совершенно правильный вопрос. А вопрос этот — вопрос идейных и духовных основ для объединения всего человечества в единое общество. И если это мировое общество не будет плюралистическим и демократическим, то оно может быть только тоталитарным. *Третье не дано*. В будущем совершенно невозможно, кроме как на короткий срок, национальные авторитаризмы, либо основанные на «человеколюбивых» началах, за что ратует Солженицын, либо какие-то другие. Никогда не лишне повторить критику национализма, высказанную русским философом Николаем Бердяевым: «Даже в 'интернационализме' есть больше правды и русской правды, хотя и связанной с ложным мирозерцанием» (Н. Бердяев. О социальном персонализме. — «Новый Град», 1933, № 7, с. 58).

Странно, что человек, с такой огромной художественной силой в своих произведениях описавший неистребимую жажду свободы, невероятную силу сопротивляемости одиночки в самых страшных условиях сталинских концлагерей, начиная говорить о мировой политике, как бы забывает все то, что он написал, — отдельный человек полностью исчезает из его взгляда, и единственной реальностью являются нации, даже не просто народ, а национальные объединения. Слова — русский национализм, национальное самосознание, национальное возрождение повторяются и склоняются бесчисленное количество раз со всевозможными прилагательными. Тут и: «подымающееся русское религиозно-национальное самосознание», и «национальные круги в СССР, преследующиеся всеми уголовными методами», и «последний конец национальных традиций», и «уничтожение русского национального существования», и

«биологическое вырождение нации», и «исключительно подавленное и униженное всем происшедшим русское национальное сознание», и «элементы религиозно-национального сознания», и «мирная национальная Россия», и «русское национальное возрождение и освобождение», и «антирусская кампания западных информаторов», и «угнетенный русский народ», и «истинные поиски национального духа», и «возрождение национальных чаяний», и «национальная задача», и «природа коммунизма всегда антинациональна», и «возрождение здоровой национальной России», и «сдача национального самосознания», и «разумная национальная политика», и «затаенно-мстительные отношения наций», да бесчисленное повторение сочетаний: «национальные силы», «национальный дух», «национальные чувства». В то время, как в художественных произведениях Солженицына самой глубинной, единственно все определяющей реальностью является дух человеческий, дух именно отдельного человека, — как только Солженицын перестает быть художником и начинает выступать в идеологическо-политической сфере, все то, им же самим с такой силой описанное в его произведениях, просто исчезает. *Остается одна-единственная реальность — нация.* И оказывается, коммунизм ведет борьбу не против свободы человека, именно свободы каждого отдельного человека, а только против национальной жизни. Причем даже другой мотивировки для поступков человека, кроме «поисков своих религиозных и национальных истоков», Солженицын вообще не видит. Поэтому совершенно логично его осуждение выехавших из Советского Союза по израильской визе, но не уехавших в Израиль, а выбравших своим местожительством какие-либо другие демократические страны. Желание жить и творить свободно, просто быть свободным, как мотивировка для поступков человека в политических статьях и выступлениях Солженицына отсутствует полностью. И даже национальная принадлежность, по Солженицыну, определяется «не одним происхождением..., но душою, но направлением преданности». Не трудно себе представить, какое огромное число русских людей, то есть все, не разделяющие взгляды Александра Исаевича, включая Сахарова и Бердяева, а не только Брежнева, оказались бы исключенными из русского народа. Как это ни прискорбно, но все же и Леонид Ильич Брежнев по национальности — русский. Вот из этого оригинального *определения национальности по идеологической преданности* совершенно логично вытекает и утверждение Солженицына, высказанное им в известном интервью для Би-Би-Си полтора года тому назад: «Не может быть, чтобы тысячелетнее существование нашего народа в какой-то

еще неизвестной нам форме не пересилило 60-летнего оголтения коммунистов! Все-таки наша жила крепче, и мы должны пересилить их, отряхнуться от них!» («Посев», 1979, № 4).

Само собой понятно, что если единственную реальность представляют нации, то, конечно, только национальное возрождение может противостоять коммунизму. Солженицын в этом настолько не сомневается, что даже пишет: «Ибо только национальные характеры во всей истории создавали общества». Пишет он это, находясь в стране, которую и сам признает все еще сильнейшим оплотом против коммунизма, в стране, созданной именно выходцами из всевозможных европейских наций, видящих в духовной свободе высшую ценность, чем принадлежность к своей национальной родине. Кстати, всякий национализм, всякое общество, построенное на началах националистических, не может не быть антисемитским, хотя, конечно, антисемитизм может принимать намного более мягкие формы, чем в нацистской Германии или в Советском Союзе. В фашистской Италии евреев не уничтожали, и тем не менее никак нельзя утверждать, что еврей был равен в правах с итальянцем. Если единственной, важнейшей реальностью является национальная и если жизнь общества определяют «национальные чувства, национальный дух и национальная душа» — то само по себе происходит то, что люди, не имеющие этого духа, души и чувств, воспринимаются как инородное тело или даже как болезненные бактерии. Опять-таки, благодаря смешению, производимому Солженицыным, национального, религиозного и православного, Солженицын смог заявить, что «эти люди (имеет в виду своих критиков. — М. М.) и эти перья то бесстыдно сплетают православие с антисемитизмом, даже отождествляют их» (статья «Персидский трюк» — «Русская Мысль», 1979, 22 ноября). Критиковали ведь национализм за антисемитизм, а не православие.

Мысленно озирая солженицынские произведения, что-то никак не могу вспомнить образ русского националиста. Среди заключенных, описанных Солженицыным в «Одном дне Ивана Денисовича», в «Круге первом», в «Архипелаге ГУЛаг», с большой художественной силой изображены десятки и сотни заключенных — и эсеры, и принадлежавшие к всевозможным внутрипартийным оппозициям, и религиозники, и иностранцы, и украинские да балтийские националисты, и «истинные ленинцы», попавшие главным образом в лагерь за то, что критиковали Сталина с марксистско-ленинских позиций, а к таким принадлежал и сам Солженицын в то время, когда его посадили. Вспоминаются описанные Солженицыным

бывшие власовцы, пленные немцы, русские эмигранты-антикоммунисты, добровольные возвращенцы с Запада, служавшие Китайской восточной железной дороги, оптом посаженные в лагеря, редкие монархисты, раскулаченные крестьяне и многие, многие другие. И все же никак мне не удастся вспомнить образ русского националиста. Очевидно, такие люди, как Огурцов или Осипов, — явление новейших дней. И тем не менее, в этом нет ничего странного. Русский национализм такого типа, какой проповедует Солженицын, не говоря уж об Осипове, — явление в некотором смысле совершенно новое. На протяжении всего XIX столетия, во время расцвета великой русской культуры, можно буквально на пальцах одной руки насчитать всех выдающихся деятелей русской культуры, ратующих за «национальное самосознание». Банальным стало уже повторять, что непреходящей ценностью великой русской литературы является именно всечеловечность, христианский универсализм, но ни в коем случае не русский национализм. И это совершенно понятно: национализм является болезненной реакцией угнетенных, обиженных людей и народов, и поэтому маленькие народы намного более примчивы к националистической идеологии, чем большие. Национализм можно рассматривать как симптом и реакцию на болезненное состояние, но ни в коем случае не как средство излечения общественного организма.

Очевидно, именно потому, что я воспитан почти что исключительно на русской литературе и культуре XIX столетия, а также и потому, что я прожил почти что всю жизнь в многонациональной стране, в которой все еще свежо воспоминание о кровавой межнациональной резне и разгуле многочисленных национальных страстей, в результате чего все еще в Югославии коммунисты успешно поддерживают свою диктатуру, — у меня нет никаких симпатий к какому-либо национализму: русскому, сербскому, хорватскому, еврейскому или французскому. Поэтому я себя так прекрасно чувствую в космополитическом Нью-Йорке. Однако, будь я националистом, то, по правде говоря, я бы обиделся на Солженицына. Дело в том, что, несмотря на свое преклонение перед «национальными духом, душою и чувствами», Солженицын не находит лучшего сравнения, чем постоянное уподобление национализма лошади. В статье, напечатанной в «Foreign Affairs», даже есть такой подзаголовок — «Когда коммунизм едет верхом?». Конечно, как пишет Солженицын, — «коммунизм оседлал русский национализм, убийца оседлал полуубитого», «оседлание спасло западный мир от Гитле-

ра», и так еще десяток раз спрягается глагол «оседлать» с маленькими вариациями, как «толкать конем под коммунистического всадника», а в статье «Коммунизм: у всех на виду — и не понят» можно прочесть даже такое интересное политически-кавалерийское предложение: «Сейчас коммунистическая верхушка со своей одряхлевшей идеологией снова мечтает оседлать русский национализм для своих имперских целей, — а такие западные руки толкают коня под всадника — под всадника против себя самих! — не оставляя коню никакого другого выхода, никакой надежды». Будь я националистом, с полным набором националистических «души, духа и чувств», — право, я бы обиделся за такое сравнение. Да и странно как-то, коммунизм: то сравнивают со всадником, а то с болезнью.

.....

Потеря художественного чувства у большого писателя является первой и вернейшей приметой того, что он занимается делом, к которому у него нет никакого призвания. Должен признаться, что меня просто коробило от вот таких стилистических перлов: «коммунистические убийцы народной души», «зарезать Россию кривым ленинским ножом», «соскрести Россию с лица земли брежневским бульдозером», «откормленный дракон коммунизма, занесший ракетно-танковую лапу», «освобождение от коммунистической чумы», «помощь кровавого Сталина», «мерзость коммерческих передач», «кровожадно-империалистическое развитие коммунизма», «трусливый террорист в Западной Европе» (террористы, конечно, злодеи, однако вряд ли верно их назвать трусами), «злое Политбюро» и так далее, и так далее. Осуждая профессора Пайпса за тенденциозный подбор подходящих для его тезисов русских пословиц, Солженицын пишет: «На меня этот прием производит такое же впечатление, как, вероятно, на ухо Ростроповича произвел бы волк, севший играть на виолончели». Разве в самом деле один и тот же человек написал «Один день Ивана Денисовича», «Архипелаг ГУЛаг», «Бодался теленок с дубом» и эти статьи, переполненные убогими метафорами с конем и волком, да такими детски-банальными выражениями как «кривой ленинский нож», «кровавый Сталин», «злое Политбюро»?

.....

Как это обыкновенно водится, у Солженицына нашлось сразу же немало последователей. Когда недавно, во время московской Олимпиады, в Италии был напечатан экземпляр якобы «Правды» с антикоммунистическим содержанием, то оказалось, что он весь

выдержан в духе солженицынского национализма. Вот, например, в статье «Логика самоопределения» написал Василий Бетаки: «Борьба за национальную независимость других народов — самое действенное оружие против тоталитаризма вообще, ибо он может держаться лишь в государстве многонациональном, действуя по принципу 'разделяй и властвуй'. Следовательно, задача борьбы против тоталитарного коммунизма — это прежде всего борьба национально-освободительного характера». И дальше: «Главная сила современности — национальное самосознание». Не надо бы обращать внимание на то, что, по Бетаки, — «задача борьбы... прежде всего борьба», однако смехотворно утверждение, что тоталитаризм возможен только в многонациональных государствах. Первое европейское демократическое общество создала именно многонациональная Швейцария, а величайшая демократия нашего времени — это — тоже многонациональная — Америка. И, наоборот, коммунистический тоталитаризм процветает и на Кубе, и в Албании, и в Румынии, то есть в странах совершенно национально однородных. А как обстоит дело с Китаем? Если считать, что Китай не многонациональная страна, то, очевидно, Бетаки неправ, взяв во внимание, что китайский тоталитаризм в полном расцвете. Если же считать Китай многонациональной страной, то, очевидно, ликвидация коммунистической диктатуры в Китае будет означать и его раздробление на несколько десятков государств. Ведь в Китае нет даже общего языка, и жители разных провинций могут общаться только с помощью иероглифов, единых для всех, — главным же ханским наречием, которое изучают иностранцы, говорит, и понимает его, только одна десятая китайского народа. Как быть? А если же серьезно поверить Солженицыну в том, что дореволюционная Россия в самом деле была такой замечательной, здоровой, свободной страной, то тоже не совсем понятно, как это — ведь Русская Империя была именно многонациональной.

Дело просто в том, что совершенно никакого значения не имеет по отношению к коммунистическому тоталитаризму — многонационально ли государство или нет. Так же, как существуют многонациональные демократические общества и национально однородные демократические страны, существуют и многонациональные тоталитарные государства и национальные тоталитарные. По существу национальной может быть только культура и быт, а не общественно-политический и государственный строй. Общественно-политический строй может быть только или недемократическим, или демократическим. В национальной коммунистической Албании

не больше свободы, чем в многонациональном Советском Союзе. Демократическая Дания или Норвегия мало чем отличаются от демократических многонациональных Соединенных Штатов. Поэтому верно сказать — *национальное само по себе, а тоталитаризм сам по себе*. И видеть в возрождении идеи национального государства панацею против тоталитаризма просто нелепо. Нелепо тем более, что ныне даже исторически сложившиеся большие национальные объединения, какими являются Франция, Испания, Англия, например, все чаще бывают потрясемы возрождением маленьких местных национализмов, как, например, бретонский, корсиканский, баскский, шотландский, уэльский и т. д. Именно этот процесс показывает, что даже без всякого коммунистического влияния идет раздробление больших национальных организмов и подготовка человечества к общемировому единению. Конечно, вопреки желаниям носителей нынешних мини-национализмов, ведущих борьбу с макси-национализмами. Я глубоко уверен в том, что если осуществится идея Солженицына о возрождении России как национального государства, очень скоро и в России можно будет наблюдать то же самое, что ныне происходит во Франции, Испании или Англии, то есть возрождение или же рождение местнических «национализмов» с идеями независимой «Казаккии» или «Уралии», ныне существующих только в резолюциях американского Конгресса. Все это показывает, что даже национализм демократических стран отжил свой век и что дело идет в общемировом масштабе к поляризации между такими обществами, как многонациональная демократическая Америка, с плюрализмом всевозможных культур и традиций, и тоже многонациональным, но тоталитарным строем с полным подавлением всех вообще национальных культур и традиций. Проповедь Солженицыным возрождения русского национализма является ни в коем случае не выходом из тоталитарного тупика, а попыткой возврата в предтоталитарную, предкоммунистическую эпоху. Необходимо подчеркнуть, что раздробление больших национальных объединений на меньшие, местные национальные единицы отнюдь не является концом этого процесса. Возможные национальные объединения басков, корсиканцев, бретонцев, белорусов, украинцев и т. д. сами по себе были бы подвержены ударам еще более местных «национализмов». В пределе речь идет о раздроблении на роды, семьи или даже одиночки. Выходом из этого зачарованного круга все более умножающихся «национализмов» является только интернациональная борьба за права отдельного человека, интернациональная именно потому, что *нет и не может быть никаких нацио-*

нальных прав личности. Немыслимы русские, немецкие или китайские права человека. Моральная величина нынешнего Израильского государства отнюдь не в том, что оно в некоторых аспектах является теократическим, а наоборот, что, несмотря на десятилетия полувоенного положения, Израиль является демократической страной, в которой свободно и нормально существуют даже две коммунистические партии.

В нынешней борьбе между коммунистическим тоталитаризмом и демократией, конечно, западные демократические государства очень и очень виноваты. Однако как раз в противоположном тому, в чем их обвиняет Солженицын. Несчастье как раз и состоит в том, что большинство западных государств, включая даже США, придерживается тех самых принципов, за которые ратует автор «Архипелага ГУЛаг». Не в том виноваты западные демократии, что не поддерживают так называемого «национального возрождения», а в том, что не довольно поддерживают борьбу за интернациональные, универсальные права человека. Не в том беда, что природа коммунизма «антинациональна» (антинационален и всякий национализм по отношению к маленьким местным национализмам), а в том, что он подавляет свободу каждого отдельного человека, вне зависимости от его национальной принадлежности или так называемого национального самосознания. И так как путь планетаризации человечества необратим, в чем и состоит правда «пролетарского интернационализма», то попытка Солженицына вернуть вспять историческое развитие может только прибавить силы международному тоталитарному движению. Ну, что же, остается только и Сахарову, и Джиласу, и мне, и многим другим неустанно повторять западному демократическому миру, что в наше время планетарного столкновения между демократией и тоталитаризмом нет более опасной дороги для защиты демократии и противостояния коммунизму, как та, на которую зовет Солженицын.

НАЦИОНАЛИЗМ И АВТОРИТАРНОСТЬ

Возвращение к поклонению дохристианской идее духовно-национального вполне законно приводит к критике демократии и к восхвалению авторитарного строя. Хотя в статье в журнале «Foreign Affairs» Солженицын оговаривается, что у него насчет выбора между демократическим и авторитарным строем для будущей России нет окончательного мнения, однако именно в этом своем

выступлении он подверг критике не только недостатки демократии, но и самую ее идею. В этом смысле статья «Чем грозит Америке плохое понимание России» является принципиально новой по отношению к предыдущим политическим высказываниям Александра Исаевича. Вот что он пишет: «По исконным русским представлениям истина не может быть найдена голосованием, большинству не обязательно лучше видеть ее (а по особенностям массовой психологии скажем чаще и хуже)... Создание партий, то есть частей, борющихся за свои частные интересы за счет других частей народа, представляется нелепостью. (Да и не соответствует достоинству человечества, каким ему пора бы стать)». И дальше: «Я не считаю, что осуществлялась воля английского народа, когда Англию годами губило лейбористское правительство, избранное всего лишь сорока процентами населения. Или воля немецкого народа, когда левый блок имел в парламенте перевес на одно место. Или воля всякого народа, когда половина его, разочаровавшись, не является к избирательным урнам. Я не могу отнести к достоинствам демократий их бессилие против малых террористических кучек или расцвета гангстеризма или безудержной наживы капиталистов в ущерб морали народов. И я напому, что страшный тоталитаризм, родившийся на земле, скажем, четырежды, ни один раз не родился из авторитарной системы, но всегда из слабых демократий: февральской, веймарской, итальянской, чан-кай-шистской. А ведь большая часть государств в человеческой истории были авторитарными, — а вот тоталитаризма никогда не рождали».

Совершенно верно то, что демократии пока что не нашли способа борьбы с терроризмом. Однако не нашли этого способа и авторитарные страны. Несмотря на весь разгул терроризма в Западной Европе, он ни в какой счет не идет с терроризмом в правых авторитарных странах, например, в Южной Америке. Успешно бороться с терроризмом пока что может только тоталитарный строй, сам по себе являющийся террористической властью. Полностью ликвидировали гангстеризм и вообще организованную преступность только Гитлер, Муссолини, Сталин, Мао Цзе-дун. Утверждать, что авторитарные страны на протяжении всей истории никогда не порождали тоталитаризма, — просто бессмыслица. Тоталитаризм — явление XX столетия, и утверждение Солженицына ничем не более оправдано, как если бы мы сказали, что средневековые войны были гуманнее, чем нынешние, так как их участники ни разу не сбросили атомной бомбы. Наоборот, все, абсолютно все нынешние тоталитарные страны — это страны с вековой авторитарной традицией,

не сумевшие вовремя подняться на высокую ступень общественного развития, то есть не ставшие демократическими. И ни одна-единственная демократическая страна не подпала под коммунизм, если не считать советских завоеваний Второй мировой войны в Восточной Европе. Необходимо также подчеркнуть, что и немецкий народ не избрал Гитлера в диктаторы, а что Гитлер после победы его партии на выборах и после того как он стал канцлером — совершил по существу государственный переворот и разогнал оппозиционные партии, воспользовавшись поджогом Рейхстага. О демократии в Китае говорить вообще не приходится, однако нельзя забывать, что началом долголетней гражданской войны, приведшей коммунистов к власти, явилась резня всех левых элементов в Шанхае и Кантоне в конце двадцатых годов. С полным основанием можно сказать, что авторитаризм удобряет и подготавливает почву для тоталитаризма. Конечно, тоталитарный строй нельзя просто назвать продолжением авторитарного. Однако соотношение тут можно сравнить с курением табака и раком легких. Рак легких ни в коем случае не является *продолжением* курения, однако курение его подготавливает. Менее всего можно противостоять тоталитаризму авторитарным строем.

В то время как демократический строй не устраняет возможности процветания национальных культур и национальной самобытности, — к примеру, Франция и Япония, демократические страны, тем не менее это два различных мира, — общества, построенные не на демократическом, а на национальном принципе, то есть в которых идея и суверенитет национального бытия ставится выше прав отдельного человека, не могут не быть авторитарными. Ну, к примеру, Солженицын преклоняется перед идеей вечной России, а другой кто-нибудь предпочитает копченую колбасу. В демократическом обществе это нормальное повседневное явление, не вызывающее никаких трений по той причине, что свобода отдельного человека является краеугольным камнем демократии. Если же этим краеугольным камнем становится так называемое «национальное бытие», то само собою дело доходит до создания авторитарного строя, так как никаким другим путем невозможно заставить людей преклоняться перед одной-единой ценностью или же делать вид, что они преклоняются. Солженицын ссылается на то, что он имеет в виду «авторитарный строй, основанный на человеколюбии, ... авторитарность — с твердой реальной законностью, отражающей волю населения, ... устойчивый покойный строй, не переходящий в произвол и тиранию, ... отказ от негласных

судов, от психиатрического насилия, от жестокого мешка лагерей... допустить все религии без притеснений... свободное книгопечатание, свободная литература и искусство». Эх, и угораздило же написать человека! Все это — твердая реальная законность, отражающая волю населения, строй не переходящий в произвол и тиранию, и все остальные свободы еще как существуют, однако исключительно в демократическом обществе. Никогда не было, нет и быть не может *по определению* такого авторитарного строя. А что, если «по особенностям массовой психологии» большинство не будет ставить интересы «вечной России» над интересами, ну, скажем, личной свободы? Или вдруг станет объединяться в политические партии, против чего выступает Солженицын? Как же тогда со всеми свободами? Или же свободы относятся только к тем, признающим главенствующую идею самого Солженицына? Солженицын, конечно, прав, что истина не может быть найдена голосованием, однако нигде никто никогда и не ищет истину голосованием. Голосованием определяются цели и методы демократического общества, что, конечно, не имеет ничего общего с поисками истины. И нет ничего хуже и опаснее, как связывать политическую и государственную жизнь с вопросом об истине. Все равно, идет ли дело о «единственно истинном научном марксистском мировоззрении» или о «вечных, непреходящих истинах православной церкви». Как бы то ни было, в обществе, где существуют такие свободы, какие Солженицын приписывает своему воображаемому авторитарному строю, само собою сразу бы сложились политические партии. Позволительно заметить, что «достоинству человечества, каким ему пора бы стать», менее всего соответствует единомыслие, что в сфере общественной является отсутствием политических партий. Ну, вот, к примеру, в уже упомянутой недавней статье «Тревожное время» Сахаров пишет: «В перспективе, вероятно, нужна многопартийная система и устранение партийной монополизации всей идеологической, политической и экономической жизни». Можно было бы процитировать десятки и десятки схожих утверждений советских и несветских диссидентов, ратующих именно за многопартийную плюралистическую систему. Значит, самоочевидно, что взглядов Солженицына очень и очень многие не разделяют. Значит — взгляды Солженицына являются взглядами одной части (часть — это и есть part, партия) русского народа, и посему их можно назвать сугубо *партийными*. Вот поэтому *всякая борьба против многопартийности по существу является не чем иным, как борьбой за монополию своей партии*, монополию своей политики и идеологии.

Это так же верно в отношении к Солженицыну, как и к «единственно истинной научно-марксистской идеологии». И совершенно прав профессор Роберт Такер, написавший в ответ на солженицынскую статью в следующем номере «Foreign Affairs», что идейно-политические взгляды Солженицына разделяются некоторыми людьми в России и некоторыми людьми на Западе, однако, так как очень многие и в России, и на Западе придерживаются прямо противоположных мнений, то нет никакого основания считать, что Солженицын представляет «русский взгляд на мир и историю», которому якобы противостоит западный, как это Солженицыну кажется.

Перед лицом ужасающей политической, духовной, информационной и экономической ограниченности, в которой живут люди в коммунистических странах, совершенно уж фантастически звучит уверенность Солженицына в том, что только самоограничение может спасти нынешний мир. Солженицын так и пишет: «А я — не вижу никакого спасения человечеству, кроме самоограничения каждого человека и каждого народа. И в этом — дух идущего сейчас в России религиозно-национального возрождения». Очевидно, призывы к самоограничению направлены не по адресу, и надо думать, что Солженицын имеет в виду западный мир, а не Россию. И в западном мире, это следует из всех высказываний Солженицына, «самоограничению» на первом месте подлежит плюрализм, многопартийность и вообще «чрезмерная свобода». Вот как это самоограничение толкует один из последователей Солженицына Владислав Краснов в статье «Русский склад ума и западное состояние умов»:

«По мере того, как нынешнее пораженческое состояние умов на Западе будет увеличивать угрозу окончательного соблазна коммунистическим тоталитаризмом, западные демократии неизбежно окажутся перед выбором: или доказать свою жизнеспособность посредством самоограничения своих свобод, как это было сделано, например, в борьбе с национал-социализмом и фашистским тоталитаризмом, или уступить свое место более авторитарным режимам, тысячелетняя история которых доказывает, что они не только сами по себе никогда не приводили к тоталитаризму, но и могут послужить наиболее надежным заслоном демократии против тоталитарной угрозы... Все остальное — перекалывание вины, но не с больной головы на здоровую, а с дурной на несчастную; с западного состояния умов на русский склад ума. Как рыба гниет с головы, так и современное человечество — с Запада» («Континент» № 17).

Несмотря на то, что Солженицын в своей статье в «Foreign Affairs» впервые критикует саму идею демократии, плюрализма и свободных выборов, — он все же оговаривается, что авторитарный строй он видит лишь как переходный для посткоммунистической России. В то время как авторитарные страны со слабыми демократическими традициями легко и быстро переходят в коммунистический тоталитаризм, весь опыт борьбы с коммунистической диктатурой в восточноевропейских странах и Советском Союзе говорит о том, что из коммунистического тоталитаризма переход возможен только в демократический плюралистический правовой строй, а ни в коем случае не в авторитарный.

.....

Надо думать, что если демократический мир все же в предстоящем столкновении одолеет тоталитаризм, то никаких национальных объединений, государств, основанных по национальному принципу, вообще в мире не будет. А национальными останутся только культуры. В наше время в самом деле происходит поляризация между тоталитаризмом и демократией, но ни в коем случае между тоталитаризмом и национализмами. Так называемое «возрождение национализма» является возвратом на исходные позиции, с которых и началось победное шествие тоталитаризма.

Солженицын, конечно, прав, что вредно и неверно отождествлять коммунизм с русским народом или же с китайским и т. д. Несвобода, так же как и свобода, не имеет национальных признаков. Когда некоторые западные обозреватели приписывают все грехи коммунистической диктатуры русскому народу, то они делают то же самое, что и Солженицын, утверждающий, что русский народ ничего общего с коммунизмом не имеет. Коммунистический тоталитаризм так же мало или так же много присущ русскому национальному характеру, как и национальным характерам какого-либо другого народа, несмотря на то, что, конечно, тысячелетняя авторитарная традиция русского государства во многом подготовила почву для него. Тем не менее считать русский большевизм чем-то завезенным из-за границы просто смехотворно. К сожалению, в каждом народе, в каждом обществе, включая даже Соединенные Штаты Америки, антидемократические и тоталитарные идеи и движения находят всегда немало последователей. В Соединенных Штатах это не только левые студенческие группировки, но и мощные правые организации, с восторгом воспринимающие критику демократии со стороны Солженицына. И тем не менее сговора

Александра Исаевича по поводу «конца связи с землей, последнего конца национальных традиций, быта, очевидно — и народного характера, конца русского пейзажа», — не могут не вызвать улыбки даже у самых правых американцев. В Соединенных Штатах в «связи с землей», в земледелии, живёт и работает только 3 процента американцев, то есть в 10 раз меньше, чем в Советском Союзе. В Америке этот «отрыв от земли» намного основательнее, чем в России.

Конечно, ничем особенным русская история не отличается от истории всех других европейских стран. Никаких специфических ужасов, которые мы не смогли бы найти в истории Франции, Англии или Германии, не было и в русской истории. И, тем не менее, Солженицыну надо было бы найти какой-нибудь более веский аргумент, чем просто возмущение по поводу того, что профессор Пайпс в своей книге «Россия при старом режиме» указал на то, что «Уложение о наказаниях Российской Империи» 1845 года является первым в истории законодательным актом тоталитарного строя. Профессор Пайпс пишет: «Законодательство такого типа и создаваемые для его проведения полицейские органы после революции 1917 года получили распространение сперва в фашистской Италии и в национал-социалистической Германии, а затем в прочих авторитарных государствах Европы и на других континентах. Таким образом, можно с полным основанием утверждать, что разделы 3-й и 4-й российского «Уложения о наказаниях 1845 года» есть для тоталитаризма то же, что «магна карта» — для свободы» (Ричард Пайпс. Россия при старом режиме. Кембридж, 1980, с. 395). Негодованием тут делу не поможешь, факты остаются фактами: идеологический тоталитарный строй был заложен именно в российском государстве, хотя сам профессор Пайпс признает, что до 1917 года у власть предержавших в России не было никакой физической возможности последовательно применять свои же законы. Правда, в книге профессора Пайпса полностью отсутствуют существование и расцвет величайшей русской культуры и литературы, однако и Солженицын менее всего сетует о загубленной русской культуре, а печалится более всего о «биологическом упадке нации» и об «угнетенном национальном духе». Даже сдачу в плен миллионов красноармейцев в первые годы войны Солженицын объясняет этим самым «угнетенным национальным духом» со стороны коммунистов, а не просто человеческой жадной свободой. И в то время как в самом деле нельзя сказать, что русские «любят рабство», как это иногда пишут поверхностные западные наблюдатели, к сожалению, самодержавная и авторитарная система Российской Империи действи-

тельно явилась подготовкой к коммунистическому тоталитаризму. Как это ни печально, однако большевики лишь увеличили масштабы даже в таком деле, как употребление монастырей в качестве мест заключения, как, например, Соловки. Практически все русские монастыри по совместительству веками служили в то же время и тюрьмами для политических противников.

В то время как нелогично и нелепо приписывать русскому народу «любовь к рабству», совершенно справедливо расценивать историческое русское самодержавие ответственным за подготовку почвы для коммунистического тоталитаризма. В то время как нет в мире народа или человека, которые добровольно избрали бы рабство, — о чем свидетельствует история многочисленных бунтов, восстаний, декабристов, революционного движения в Российской Империи, а потому и обвинять русский народ в «любви к рабству» — нелепо, еще более нелепа защита исторического русского самодержавия. К счастью, в русской истории существует также и традиция борьбы за демократию, за свободный парламент, за свободные выборы. Поэтому есть все основания надеяться на то, что *повторится Февраль* и повторятся свободные выборы в Учредительное Собрание, и никакие враги демократического, плюралистического строя с левой или на этот раз более вероятно с правой националистической стороны, не смогут его разогнать. Вспоминая слова священника Меерсона-Аксенова о труднейшем тоталитарном опыте, создавшем в людях неприятие какой-либо несвободы, хочется надеяться, что урок Февраля, точнее его конца, будет воспринят правильно. Февраль пал не из-за чрезмерной демократии, а именно из-за того, что вожди Февраля медлили с проведением первых демократических выборов. Падение Февраля учит прямо противоположному тому, что пытается доказать Александр Солженицын (интервью Солженицына Би-Би-Си).

НЕСКОЛЬКО ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ МЫСЛЕЙ

Родина человека — это свобода, а не географическая, государственная или национальная принадлежность. В борьбе с коммунистическим тоталитаризмом единственное реальное значение имеют только права человека, каждого отдельного человека и его духовной свободы, и борьба эта совершенно невозможна без духовного и религиозного возрождения, восстанавливающего высшую ценность, — ценность каждой отдельной человеческой личности. Националь-

ное возрождение тут совершенно ни при чем, хотя, несомненно, в будущей демократической плюралистической России, если коммунистический тоталитаризм когда-либо будет уничтожен в мировом масштабе, — «национальная партия» Солженицына, конечно, будет свободно участвовать на выборах. До тех пор, пока ценностью высшей, чем ценность отдельной человеческой личности, будет — Россия (или Германия, или Франция) — не выйти из заколдованного круга исторической несвободы. До тех пор, пока в свободной русской прессе не будет возможным печатание карикатур главы русского правительства в виде, например, поросенка с перышком в зад, как это возможно во всех демократических странах, — русскому народу быть поработленным. И, не в обиду Солженицыну сказано, никакой свободной прессы не может быть, если не будет свободы и для желтой прессы, занимающейся сплетнями. Кстати, даже такая желтая пресса намного больше говорит и читателю, и историку, чем «идеологически выдержанная», представляющая людей как некие беспольные абстракции, не имеющие никакой личной жизни.

Что же, — замалчиванием делу не поможешь. Идеологическое столкновение между приверженцами плюрализма и демократии, с одной стороны, и Солженицыным с его национализмом, с другой, намного серьезнее, чем столкновение между национализмом и коммунизмом. В одном случае речь идет лишь о смене идеологии, в другом же о ликвидации самой авторитарно-тоталитарной структуры при полном плюрализме всех идеологий, включая марксистскую. Кстати, очень интересно было бы посмотреть на то, как русские националисты смогли бы сговориться, например, с украинскими националистами, причем не в абстрактном признании каждой национальности права на самобытное государство, а совершенно конкретно о разделении территорий. Таких же проблем в мире почти столько же, сколько и народов. Даже без постоянной угрозы коммунистического тоталитаризма совершенно немыслима переделка планеты в том смысле, что каждый народ будет иметь свою отдельную территорию и государство. К счастью, для процветания национальных культур и традиций этого отнюдь не требуется. Требуется одно — плюралистическая демократия.

.....

С тех пор как существует мир, все общественно-политические критики разделялись на тех, которые критиковали существующее, имея перед собой образ возможного будущего, и тех, которые

идеализировали прошлое. Еще в древнем Риме последних называли *laudatur temporis acti* (те, которые хвалят прошедшие времена). Солженицын именно и принадлежит к таким *laudatur temporis acti*. Однако именно теперь, когда ведется такая страшная борьба между всемирным рабством тоталитаризма и все еще свободной частью человечества, такая позиция чревата чрезвычайно опасными последствиями. Противостоять коммунизму можно только с пост-коммунистических позиций, а не с до-коммунистических, как это пытается делать Солженицын. Никто не знает, сумеет ли человечество спасти духовную свободу, последнее решающее столкновение еще не началось. К тому же нельзя забывать, что тоталитаризм еще как может изменить свои формы и даже отбросить атеизм. То единственное, чего тоталитаризм никогда не может принять, — есть свобода. Отнюдь не обязательно, что в мировом масштабе победит именно нынешний вариант марксистско-ленинского коммунистического тоталитаризма. Возможен вариант еще более худшего, неатеистического тоталитаризма.

В знаменитой легенде о «Великом Инквизиторе», в романе «Братья Карамазовы», Достоевский вложил в уста самого Инквизитора интереснейшее видение будущего, которое настанет после нашей эпохи гуманизма, науки, атеизма и т. д. Достоевский устами Великого Инквизитора отнюдь не предвидит, после эпохи расцвета атеистической секулярной культуры и всех зверств рабства и тоталитаризма, возвращения ко Христу с Его свободой, *а наоборот* — еще худшее рабство «во имя Христа», которое будут проводить инквизиторы. Интересно, что никто до сих пор не заметил этого места в легенде о Великом Инквизиторе. Вот что говорит Инквизитор Христу: «О, пройдут еще века бесчинства свободного ума, их науки и антропофагии, потому что начав возводить свою Вавилонскую башню без нас, они кончат антропофагией... Знаешь ли Ты, что пройдут века, и человечество провозгласит устами своей премудрости и науки, что преступления нет, — а стало быть, нет и греха, а есть лишь только голодные. «Накорми, тогда и спрашивай с них добродетели!» — вот что напишут на знамени, которое воздвигнут против Тебя и которым разрушится храм Твой. На месте храма Твоего воздвигнется новое здание, воздвигнется вновь страшная Вавилонская башня, и хотя и эта не достроится, как и прежняя, но все же Ты бы мог избежать этой новой башни и на тысячу лет сократить страдания людей, — ибо к нам же ведь придут они, промучившись тысячу лет со своей башней! Они отыщут нас тогда опять под землей, в катакомбах, скрывающихся (ибо мы

будем вновь гонимы и мучимы), найдут нас и возопиют к нам: «Накормите нас, ибо те, которые обещали нам огонь с небеси, его не дали». И тогда уже мы и достроим их башню, ибо достроит тот, кто накормит, а накормим лишь мы, во имя Твое, и солжем, что во имя Твое... О, мы убедим их, что они тогда только и станут свободными, когда откажутся от свободы своей для нас и нам покорятся. И что же, правы мы будем или солжем? Они сами убедятся, что правы, ибо вспомнят, до каких ужасов рабства и смятения доводила их свобода Твоя. Свобода, свободный ум и наука заведут их в такие дебри и поставят перед такими чудами и неразрешимыми тайнами, что одни из них, непокорные и свирепые, истребят себя самих, другие, непокорные, но малосильные, истребят друг друга, а третьи, оставшиеся, слабосильные и несчастные, приползут к ногам нашим и возопиют к нам: «Да, вы были правы, вы одни владели тайной Его, и мы возвращаемся к вам, спасите нас от себя самих».

Очень и очень многое в политической проповеди Солженицына, к сожалению, напоминает слова Великого Инквизитора. Тут и «самоограничение свободы», и предложение изменить только идеологию, а не структуру авторитарной власти, и многое другое. Особенно же надо иметь в виду то, что в наше время гонимы и в катакомбах находятся не только свободолюбцы, но и инквизиторы. И все же надо надеяться, что пророчество Великого Инквизитора Достоевского, может быть, и не осуществится, несмотря на то, что, как показывают идеологически-политические статьи Солженицына, опасность этого реально существует. Солженицын в статье в журнале «Foreign Affairs» пишет: «Какой путь я действительно предлагаю — я закончил этим гарвардскую речь и могу повторить: *путь вверх*. Я считаю, что роскошно-материальный XX век слишком передержал нас в полуживотном состоянии, — кого от избытка, кого от голода». Совершенно верно то, что экономическое благосостояние не может быть целью жизни ни отдельного человека, ни всего человечества. Даже сама жизнь теряет свою ценность тогда, когда она становится самоцелью. Есть ценности высшие, чем материальное благосостояние или вообще чем сама жизнь. Всюду, где появилось демократическое общество, его основали люди, которые ставили свободу человеческого духа, свободу каждого отдельного человека выше, чем самое физическое бытие. Однако это не имеет ничего общего с бытием национальным, так как история показывает немало примеров национального возрождения и процветания при полном ограничении всякой свободы. Результаты же подавления

свободы либо в национальном государстве, либо в многонациональном обществе всегда одни и те же — плачевные. Возрождение идеи свободы как ценности высшей, чем жизнь, и вытекающего отсюда образа мирового свободного плюралистического демократического человечества, единственно и может противостоять тоже общемировому образу коммунизма. Надо надеяться, что борьба за права человека, которая в первые месяцы президентства Картера, казалось, стала краеугольным камнем внешней политики Соединенных Штатов и всего демократического мира, опять возродится и перестанет быть только средством внешней политики, а станет целью.

Идейно-политические статьи в журнале «Time» и в «Foreign Affairs» Солженицына, к сожалению, этому отнюдь не способствуют. Хотя на словах Солженицын предлагает человечеству «путь вверх», на деле он призывает на дорогу, ведущую круто вниз.

Сентябрь 1980 г.

Журнал «БЪДЕЩЕ»

(«Будущее»)

на болгарском языке, ежемесячник,
издающийся в Париже

Журнал посвящает большое количество статей современному положению в Болгарии, условиям жизни и труда болгарского народа, борьбе за освобождение его. В последнем номере журнала опубликован ряд материалов о сопротивлении болгарских писателей, о положении болгарских крестьян, рассказ о советских концентрационных лагерях.

Адрес редакции: 18 bis, Rue Brunel,
75017 Paris, Tel. 380-57-64

Годовая подписка: 120 Fr. (70 DM, 30 \$
Par avion: 50 \$)

ВРЕМЯ БРОСАТЬ КАМНИ?

В добрые времена, когда психиатрические больницы служили для лечения больных, рассказывали такую историю: всем здоров человек, но была у него мания. Он постоянно делал рогатки, подбирал камни и стрелял куда ни попадя. Его посадили в сумасшедший дом (так это тогда называлось), а после лечения представили комиссии. Для проверки комиссия спросила: что вы будете делать, если останетесь наедине с женщиной? Вылеченный пациент стал отвечать правильно: обниму, поцелую, начну раздевать. Довольные врачи кивали головами, и председатель комиссии пододвинул к себе, чтобы подписать, распоряжение об освобождении. Но бывший больной закончил свой ответ: сниму трусики, вытащу резинку, сделаю рогатку — и буду стрелять.

Старая эта шутка стала мне вспоминаться в последнее время при чтении многочисленных статей, интервью, эссе, заканчивающихся, как в анекдоте: автор вынимает резинку, делает рогатку — и стреляет в Солженицына. Стреляют русские эмигрантские публицисты, стреляют западные публицисты, советологи и кремлеведы. Прежде всего американские.

Нетрудно, мне кажется, найти причины этой повальной моды. Камнешвыряние русских авторов можно объяснять, обратившись к Фрейду, утверждавшему, что сыновья обязательно хотят убивать отцов. Вспоминается еще как объяснение что-то там у дедушки Крылова, и так далее. В США американская левая интеллигенция переживает очередной медовый месяц увлечения марксизмом, и камень в Солженицына входит там в ритуал посвящения. Это, однако, как сказал

бы Чехов, сюжет для маленькой статьи. Или для средней.

Мои замечания относятся к частному случаю: статье Михайло Михайлова. Следует признать, что Михайло Михайлов не дожидается конца, чтобы кинуть камень. Он это делает в заголовке статьи: «Возвращение Великого Инквизитора. О политических выступлениях Солженицына». Александра Солженицына обзывали уже по-разному. Михайло Михайлов вносит свой вклад: клеймит «великим инквизитором».

Статья Михайло Михайлова привлекает внимание не только своим объемом. Она любопытна как модель жанра, как образец эмигрантской публицистики особого рода. Самая замечательная и самая примечательная черта статьи — великолепная, абсолютная уверенность автора в своей правоте.

Михайло Михайлов никогда не сомневается. Свою мысль он всегда строит по принципу: или-или. Он пишет: «*есть только две идеологическо-политические концепции*» (подчеркнуто, как и далее, мною. — М. Г.); «демократия *всегда* интернациональна», «*всякий национализм зло*»; «*третье не дано*»; «*всякое общество*», «*ни в коем случае*»; «*нет и не может быть*»; «*не могут не быть*»; «*никогда не было, нет и не может быть*». Перечень можно бы продолжить, но любопытный читатель без усилий продолжит поиски сам.

Михайло Михайлов не сомневается никогда и не рекомендует другим сомневаться в его выводах. Он предупреждает: «Для *всякого* думающего человека *несомненным* является факт...». Очевидно, что тот, кто сомневается в утверждениях Михайло Михайлова, теряет право на звание «думающего человека».

Абсолютная уверенность Михайло Михайлова в своей правоте объясняется тем, что он знает будущее. Точно и безошибочно. Факт, в котором не имеет права усомниться ни один «думающий человек», это — «создание в наше время одного-единственного мирового

общества». Происходит, как выражается автор, «планетаризация всего человечества». Из сноски к статье мы узнаем, что в 1981 г. выйдет сборник статей М. Михайлова под заголовком «Планетарное сознание». Можно даже предположить, что «Возвращение Великого Инквизитора» — итог размышлений над социально-философской системой, которую Михайло Михайлов называет «планетаризм».

Михайло Михайлов признаёт, что эта идея не является совершенно новой. Ее предшественником является «коммунистический интернационализм», который, «несмотря на свою «пролетарскую» ограниченность, *все же* (подчеркнуто мною. — М. Г.) является первым в новейшей истории общемировым движением с общечеловеческими целями». Великодушно простив «коммунистическому интернационализму» его «пролетарскую» ограниченность, Михайло Михайлов принимает его в предшественники своей системы. Таким образом, «планетаризм» становится высшей стадией «коммунистического интернационализма».

Общий тон статьи Михайло Михайлова — оптимистичен: он знает будущее, а в будущем — «третье не дано», «путь планетаризации человечества необратим». Другими словами — неизбежен. Хотел этого автор или не хотел, но логически получается, что нет Бога, кроме «планетаризма», и Михайло Михайлов — пророк его.

И, казалось бы, чего лучше! Но нет... На пути к светлому будущему, порог которого поднялся чуть выше — из коммунизма в планетаризм, появилось препятствие. Встал Александр Солженицын — и пытается «вернуть вспять историческое развитие». Как любили выражаться — хочет он повернуть колесо истории вспять.

Не удивляет поэтому, что имя Солженицына всегда сопровождается в статье существительным: «опасность». Иногда — для стилистического обогащения —

используется прилагательное: «опасный». Михайле Михайлову, увы, не удалось избежать некоторой монотонности: «опасны идеологическо-политические призывы Солженицына»; «опасность взглядов Солженицына»; «опасность последних политических выступлений Солженицына»; Солженицын «зовет на ложную и опасную дорогу»; «нет более опасной дороги» и так далее и так далее. Но стилистическое однообразие возмещается простотой мысли: Александр Солженицын опасен! Более того. Александр Солженицын — главная опасность!

Михайло Михайлов не щадит автора «Архипелага ГУЛаг»: «идеологическо-политические статьи и высказывания Солженицына» действуют на автора «Планетарного сознания» «угнетающе»; Солженицын «неправ в основном»; «противоречив»; применяет «двойную мерку»; «постоянно смешивает» и так далее.

Михайло Михайлов подводит итог: Солженицын «занимается делом, к которому у него нет никакого призвания». Михайло Михайлов идет дальше — его коробят не только взгляды писателя, его «коробят... стилистические перлы» Солженицына, «художественная слабость» статей. Не исключена возможность, что найдутся читатели, которые отдадут предпочтение идейно-политическим взглядам Михайло Михайлова перед взглядами Александра Солженицына. Но трудно себе представить, чтобы нашлись знатоки, предпочитающие стилистику автора «Планетарного сознания».

Михайло Михайлов совершенно прав: отказывая Солженицыну в разрешении заниматься «делом, к которому у него нет никакого призвания» — ни идеологического, ни художественного, — идеолог «планетаризма» ведет борьбу с главной опасностью для человечества. А тут уж стесняться не приходится. Как верно заметил великий польский поэт Юлиуш Словацкий: не время жалеть розы, когда пылают леса. Когда, другими словами, на кону судьба планеты! Михайло

Михайлов излагает свою позицию ясно, точно, недвусмысленно: «Я лично тоже принадлежу к тем людям, которые видят в возможности возрождения идеологии русского национализма намного бóльшую опасность, чем в существующей марксистско-ленинской идеологии». Поразительная откровенность этого заявления заслуживает всяческих похвал. Создается впечатление, что автор этой великолепной формулы, выражающей взгляд всего «антисолженицынского потока», не знает, как хорошо и полно он формулирует.

Присмотримся к этому замечательному определению главной опасности: *возможность* возрождения русского национализма представляет собой «намного бóльшую опасность» чем *существующая* марксистско-ленинская идеология. То, что *может* произойти, представляется как нечто гораздо более опасное, более страшное, чем то, что *есть*, что *существует* и *действует*. Как действует — Михайло Михайлов должен бы знать. Насколько известно, не националисты держали его в тюрьме. Не они вынудили его переселиться в США. Но — как у всех утопистов — реальность не находит места в его философско-политических построениях.

Опасность для него — это не Брежнев в Кремле. Это — Александр Солженицын, гарцующий на белом жеребце перед Боровицкими воротами. Вот-вот отворят ему, въедет он — и тогда-то наплачемся...

«Планетаризм» Михайло Михайлова стоит на двух китах: он верит «правде 'пролетарского интернационализма'», он не верит ни слову из того, что говорит Александр Солженицын. «Планетаризм» покоится на незыблемых истинах: «демократия всегда интернациональна», «всякий национализм — зло»; «самый полный, законченный тоталитаризм возможно построить только на авторитарно-теократической, церковной основе». Можно бы возразить: была ли «интернациональной» родина парламентской демократии

Англия или демократические США; согласится ли афганский борец за независимость, что «*всякий* национализм» — зло; действительно ли не удалось создать «полного, законченного тоталитаризма» Сталину и Пол Поту, а сможет это сделать только Солженицын? Можно бы возразить, если бы не был Михайло Михайлов заморожен словами: «демократия», «интернационализм», «коммунизм», «национализм», смысл которых давно выпотрошен советской пропагандой.

Легко возражать Михайле Михайлову. И очень трудно — ибо он не слушает, не верит. Потому что знает — как надо. Были бы мои размышления над статьей Михайлова еще одним пустым разговором с глухим, если бы не «польское лето» 1980 г. Не мог, как мне кажется, не заметить его даже Михайло Михайлов, живущий в «планетаристском» будущем.

Впрочем, уверенности, что он обратил внимание на события в Польше, нет. Ибо в своей статье Михайло Михайлов о Польше высказался — приговор вынес и подписал. Как обычно в форме категорической, не подлежащей обжалованию. «...Для всякого знающего новейшую историю* вполне законно сомневаться в том, что монополия католической церкви в Польше была бы намного лучше, чем нынешняя монополия коммунистической партии». Идеолог «планетаризма» остается верен себе: возможность кажется ему страшнее того, что есть, снятая ему угроза «монополии католической церкви», не вообразимой сегодня нигде на свете, представляется более страшной опасностью, чем реальная «монополия коммунистической партии».

События в Польше не подтвердили прогнозов Михайло Михайлова, которому кажется, что у него прямой провод в будущее. «Польское лето» 1980 г. мо-

* Одно из загадочных утверждений М. Михайлова: почему достаточно знать «новейшую историю Польши», чтобы понять зловещую роль католической церкви, существующей тысячу лет?

жет быть по своему значению сравнимо с октябрём 1917 г. В России к власти пришла коммунистическая диктатура. В Польше впервые была продемонстрирована возможность освобождения от нее. Михайло Михайлов утверждает, что «национализм не может быть демократическим, а исключительно авторитарным», он предупреждает: национализм «подрывает основы, на которых единственно и только можно противостоять мировому тоталитаризму». Гданьские рабочие, а за ними весь польский народ, не читавшие Михайло Михайлова, не знакомые с необратимо грядущим планетаризмом, вдохновленные национализмом и верой, нанесли тяжёлый удар тоталитаризму.

Первый памятник, воздвигнутый в коммунистической стране жертвам коммунистического режима, представляет собой три креста и — на них — три якоря. Символика креста не нуждается в объяснениях; якорь — был знаком польского Сопротивления, Армии Крайовой, в годы гитлеровской оккупации. Польские рабочие знали, что делали, выбирая Крест и Якорь — Веру и Национальное чувство — для своего памятника. Они отдали долг силам, которые позволили им выдержать натиск коммунистической идеологии.

Можно многое сказать об особенностях национальной истории Польши, об особенностях польской католической церкви. Но никто — даже знаток новейшей истории Михайло Михайлов — не станет отрицать, что в Польше с 1944 г. реально существует коммунистический режим. И жители страны с 1944 г. протестовали против политики этого режима. Они не боялись того, чем пугает Михайло Михайлов: «В наше время религиозно-церковная монополия была бы в сотню раз хуже атеистической. Испанская католическая инквизиция с нынешней техникой — это было бы почище Советского Союза». Нет сегодня на земном шаре страны, которой бы грозила «испанская католи-

ческая инквизиция»*. Но есть очень много стран, в которых царит «меньшее зло» по Михайлову — коммунистический режим, и есть много стран, которым он — коммунистический режим — грозит.

Польская оппозиция, в том числе левая и атеистическая, поняла значение объединения всех сил для духовного и национального освобождения. Один из руководителей Комитета общественной самозащиты КОР Адам Михник написал на эту тему книгу: «Польский диалог: церковь — левые». Нет сомнения, что этот диалог способствовал тому, что польский публицист назвал «народным сговором». И нет сомнения, что этот «народный сговор» создал условия для возникновения — Солидарности.

Статья Михайло Михайлова с его фантастическими категорическими утверждениями — вроде того, что «нет и не может быть никаких национальных прав личности» — осталось бы курьезом, очередной утопией, из числа тех, которые изобразил Евгений Замятин. (В романе «Мы» — где место человека занял номер — изображен мир победившего «планетаризма».) Она перестает быть курьезом, ибо открыто говорит о том, о чем умалчивают все те, кто — вместе с Михайловым — объявили «главной опасностью» «национализм», который может родиться, и Александра Солженицына.

В этих взглядах — с обезоруживающей прямоотой выраженных Михайлой Михайловым — чувствуется страх перед необходимостью перерезать пуповину, все еще соединяющую с советским домом. Если Солженицын — главная опасность, то Брежнев, коммунистический строй — неглавная, второстепенная. Может, и менее того. Самое страшное — впереди. Лучше со-

* Читателю, дошедшему до этого места статьи Михайлова, ясно: испанская инквизиция, может быть, и не грозит, но «великий инквизитор» Солженицын — у ворот!

хранить — и защищать — то, что есть, — ибо будет только хуже...

Сказано: есть время собирать камни, и время разбрасывать камни. Где разбрасывать, в кого разбрасывать, в кого швырять камни? Екклесиаст ответа не дает. А бросать камни охота неумоготу. И бросают в «главного врага» Александра Солженицына. Не о нем забота. Не то он выдержал. Но чем больше камней швыряют в него, тем меньше думают о «неглавной опасности». Швыряние камней превращается в игру, вред которой понять нетрудно.

Академику Сахарову

Дорогой Андрей Дмитриевич!

Поздравляю Вас с 60-летием, за которое Вы успели проделать такой редкий душевный путь от избыточных к угнетенным. Никакие испытания не сламыают сильного характера, но закаляют его. Желаю Вам, чтобы вопреки насилию ссылка оказалась для Вас духовно плодотворна и открыла бы Вам новые глубины в служении своему народу. Обнимаю Вас

А. Солженицын

* * *

Дорогой Андрей Дмитриевич,
сегодня, как и всегда, мы все — с Вами.

Владимир Максимов

«Русская Мысль», 21.5.1981

Запад — Восток

Борис Суварин

ПАНАИТ ИСТРАТИ И КОММУНИЗМ

Сегодня русскому читателю имя Панаита Истрати вряд ли говорит что-нибудь. А между тем, когда в 1927 г. в Советском Союзе была проведена анкета о любимом писателе, в числе первых называлось имя Панаита Истрати, автора «Киры Киралины», «Гайдуков», «Домницы из Снагова». В 1929 г. на экраны вышел фильм, снятый по роману «Кира Киралина».

Статья о писателе в «Малой советской энциклопедии» заканчивалась словами: «Истрати является выразителем идеологии деклассирующегося крестьянства. Его революционным стремлениям свойственен поэтому анархистский уклон. К 20-й годовщине Октябрьской революции Истрати приехал в СССР, где прожил больше года». Не успела просохнуть типографская краска третьего тома «МСЭ», как в четвертом томе «Литературной энциклопедии» (оба тома вышли в том же 1930 г. с интервалом в несколько месяцев) статья о Панаите Истрати завершалась приговором: «оказался наглейшим ренегатом, его интервью, а позднее и целые книги оказываются тупыми, циническими контрреволюционными пасквилями».

Треть века спустя, в 1966 г., «Краткая литературная энциклопедия» повторяет в несколько более изысканной форме обвинение: «Мелкобуржуазное восприятие свободы помешало писателю понять новые отношения между человеком и обществом, сложившиеся в Советской России после Октябрьской революции; вследствие этого и его книга о Советском Союзе «К другому пламени» (т. 1-3, 1929), написанная в сотрудничестве с двумя публицистами, представила советскую действительность в искаженном виде».

Публикуемые ниже воспоминания Бориса Суварина, близкого друга Панаита Истрати, проливают свет на причины превращения писателя с «революционными стремлениями» в «наглейшего ренегата» после 16-месячного пребывания на родине пролетариата всего мира. Эти воспоминания — свидетеля и участника событий — восстанавливают правду об Истрати, Христиане Раковском, Ромене

Роллане, Андре Жиде — именах забытых или залганных. Одновременно они помогают понять, как препарировался образ Первой Страны Социализма в умах западной прогрессивной интеллигенции.

Переводчик

В середине октября 1927 г. в парижском ресторане «Казнав» обедали трое друзей. Это были: Христиан Раковский, посол Советского Союза во Франции; Панаит Истрати, румын по национальности, французский писатель, бывший маляр, грузчик, бродячий фотограф и просто бродяга, прославившийся первой же своей книгой «Кира Киралина»; третьим был автор этих строк, посвященных памяти двух покойных друзей и рассказывающих неизвестную историю трех книг Панаита Истрати о советском коммунизме: «К другому пламени. После 16 месяцев в СССР»; «Советы в 1929»; «Нагая Россия» (3 тома, изд. Ридер, Париж, 1929).

Двое румын, ибо Раковский также был румыном по происхождению, но родившимся в Болгарии, чтобы затем стать советским гражданином на Украине, должны были на следующий день выехать в Москву. Посол был отозван своим правительством в связи с бешеной кампанией против него парижской прессы — или под этим предлогом. Истрати — знаменитый писатель, открыто сочувствующий коммунизму, — был приглашен принять участие в пышных празднествах, готовящихся по случаю десятилетия «Октябрьской революции».

Я смотрел на них и слушал, завидуя предстоящему отъезду. Я был исключен из коммунистической партии и III Интернационала в 1925 г., т. е. после смерти Ленина, исключен по обвинению в недисциплинированности и нонконформизме; у меня не было никакой надежды когда-либо увидеть Россию, которую я так люблю и судьба которой не перестает меня в высшей степени интересовать. В этот вечер Раков-

ский, обычно блестящий собеседник, был задумчив, молчалив, временами казалось, что он отсутствует. Казалось, что он поглощен мыслями, которыми не может с нами поделиться, лишь время от времени он включался в разговор.

Истрати не умолкал: в эйфории, возбужденный мыслью о паломничестве в «Мекку коммунизма», которое ему предстояло начать на следующий день и о котором он давно мечтал, Истрати не переставал выражать свой энтузиазм по поводу революции и светлого будущего, открывающегося перед ней. Он не был членом партии, но разделял популярные представления о «заре, встающей на Востоке», как тогда говорили, и резко критиковал «буржуазное» общество, его слабости и пороки, возлагая на него ответственность за недавнюю страшную войну, ее ужасы и последствия.

Он ничего не понимал в марксизме, что его несколько не смущало: чувства заменяли ему доктрину, инстинкт определил его место на стороне бедных, эксплуатируемых, жертв. На стороне всех бунтарей. Идеология Истрати была чем-то вроде гуманитарного анархизма, свободного от теоретических мотивов. О советском режиме он знал лишь одно, что тот враждебен капиталистическому миру. Но этого казалось ему, неспособному ужиться ни в одном коллективе, достаточным, чтобы строить проекты переселения на постоянное жительство в Россию. Как если бы независимая личность могла существовать в стране, в которой все население заключено, по своей воле или насильно, в тесные клетки государственных и полицейских ячеек. Я не старался его разубедить, зная, что каждый учится сам, своими усилиями и на собственном опыте.

Поглощенный радостью предстоящего отъезда, он не сознавал диссонанса между своим поведением и настроением товарища по путешествию. Он не знал,

что Раковский был участником политической драмы, драмы, чреватой исторической трагедией, по сравнению с которой отзыв с поста посла во Франции не имел никакого значения. Смерть Ленина открыла в Москве вакансию на место бесспорного верховного авторитета. В руководящих кругах единой партии сложились две главные фракции, претендовавшие на вакантное место, что означало борьбу за абсолютную власть над огромным пассивным населением. Против обладателей этой олигархической власти, группировавшихся вокруг Сталина, впервые на верхах складывается значительная легальная оппозиция. Главный выразитель ее взглядов — Троцкий. Раковский, старый друг Троцкого, подписывает декларации, критические заявления и предложения этой реформаторской тенденции. Он оказывается, таким образом, втянутым в конфликт, сути которого не понимает партия в целом, еще меньше понимает его советская публика. Смысл конфликта был ясен только узкому кругу посвященных — Истрати имел о нем лишь поверхностное смутное представление и был к нему равнодушен.

Я понимал, что мысли Раковского во время нашего прощального обеда были заняты ходом этого беспощадного конфликта. Посол, для которого партийная дисциплина была законом, подчинялся строгому правилу, запрещавшему разговоры о секретных делах — о «семейных делах» — с человеком вне партии, даже если он называл себя коммунистом. Я следовал этому примеру, ибо хотя меня предали анафеме и обильно поливали грязью бешеные наемники рождавшегося сталинизма, коммунисты-оппозиционеры всех тенденций считали меня своим. Ни Раковский, ни я не стали охлаждать искреннего энтузиазма неопита, раскрывая ему горькие истины о режиме, о котором он имел общее, экзальтированное и оптимистическое представление. К тому же, оппозиция, которую в то время обычно называли «троцкистской», была

целиком солидарна с режимом и его принципами, она лишь сожалела о некоторых эксцессах в практическом их осуществлении и предлагала скромные реформы внутренней жизни партии. Я уже отверг примитивный и обедненный псевдомарксизм, в котором буква убивает дух, но это не мешало ни личным отношениям, ни моральной солидарности в беде.

Раковский и Истрати выехали вместе на другой день, 15 октября. Их дороги, как их судьбы, разошлись вскоре после прибытия в Москву, где полным ходом шла шумная подготовка к юбилею «великого Октября». Никто из чиновников наркоминдела не явился на вокзал встречать посла. Раковский понял без слов, Истрати ничего не понимал. Кто-то нашел такси, отвезшее двух путешественников в город. На следующий день Истрати был взят в руки ВОКСом, одним из многочисленных филиалов тайной полиции, которая в то время называлась ГПУ, и моментально втянут в «машину» приема и обработки гостей. Его начали возить и водить, холить и лелеять, чествовать и льстить на бесчисленных приемах и встречах. Предоставленный самому себе, Раковский присоединился к товарищам по оппозиции, которые называли себя тогда «большевиками-ленинцами». Это была небольшая группка, уже под надзором и давлением, которая вела борьбу без видимого исхода, ставшую вскоре борьбой без надежды.

*
*
*

По возвращении в 1929 г. во Францию Истрати расскажет по-своему: очень живо, взволнованно, прерывая повествование восклицаниями, размышлениями, иногда наивными, по временам очень меткими, часто противоречивыми, нередко двусмысленными — о своем шестнадцатимесячном пребывании в советской

стране, которую он исколесил с севера на юг и с востока на запад (этот рассказ послужит мне памятным блокнотом). Насколько я знаю, никто из визитеров-иностранцев не проделал такого пути, не видел столько, не встречал такого числа людей, не вникал так добросовестно.

Он никогда не был один, его всегда сопровождали усердные члены верховной партии, ловкие переводчики, «ангелы-хранители» и доносчики всех видов. Я дал Истрати рекомендательную записку к моему другу Пьеру Паскалю, который жил в России более десяти лет и был лучшим свидетелем и наблюдателем подлинной жизни русского народа, какого можно пожелать, самым образованным, самым компетентным в советских делах. Это, конечно, не значило, что он готов был поделиться своими взглядами с каждым собеседником: на собственном опыте он знал, что каждый должен сам найти для себя истину. У него Истрати познакомился с многочисленной семьей Русакова, о котором дальше будет речь: старшая из дочерей была замужем за Виктором Сержем, младшая — за Пьером Паскалем. Вскоре после приезда Истрати подружился с греческим писателем Никосом Казандзакисом, также гостем Москвы, приглашенным как сочувствующий коммунизму и «друг СССР». Оба жителя Балкан были созданы для взаимопонимания и стали неразлучными спутниками в путешествии. Их включили в небольшую группу официальных гостей, соответствующим образом окруженную профессиональными «гидами» и шпионами разных мастей, и повезли по Украине и Кавказу.

Всюду гости, опережаемые хвалебными характеристиками, находили торжественный прием и радостные встречи: митинги и речи в их честь, обмен заверениями в дружбе и негибавшей солидарности. Истрати не щадил похвал и дифирамбов в адрес своих хозяев, славящихся «широкой натурой».

В конце декабря 1927 г. Истрати и Казандзакис, решив съездить в Грецию и затем вернуться в СССР, написали письмо Сталину: «Мы отправляемся теперь в Грецию, чтобы прокричать наш энтузиазм в связи с тем, что мы видели в СССР». В Афинах их подрывные политические декларации вызывают острую враждебную реакцию, и в марте 1928 г. Истрати возвращается в Россию, Казандзакис приезжает в апреле. Вдвоем они снова отправляются знакомиться с бескрайними русскими просторами, едут на север — в Мурманск и Архангельск, заглядывают даже на Соловецкие острова, не заметив там концлагеря, и возвращаются в Москву, откуда Истрати выбирается в Крым, чтобы немного отдохнуть.

В мае 1928 г. возвращение в Москву, разговор с Горьким, который свелся к обмену ничего не значащими словами, и 1 августа Истрати выезжает в Молдавию, псевдоавтономную республику, в которой говорят на румынском языке. В конце этого же месяца он направляется на север, живет в Нижнем Новгороде, откуда совершает в роскошных условиях чудесное путешествие вниз по Волге, посещает Казань, Самару, Саратов и Сталинград и 18 сентября доезжает до Астрахани. Здесь прозябает несчастный Раковский, в полной немилости, больной, сосланный в грязный городишко, полный малярии и комаров. Происходит неожиданная, удивительная и очень знаменательная встреча между искренним неопитом и заслуженным ветераном коммунизма. В разговоре двое друзей как бы состязаются между собой в пристрастности и взаимном непонимании. Во всяком случае внешне, ибо один из них знает, в чем дело.



Раковский невозмутимо стоит на своей линии конформистского поведения, достойного ортодоксального коммуниста: несмотря на исключение из партии, он не произносит ни одного слова правды перед коммунистом-любителем, который упорствует в своих иллюзиях и провозглашает идеологические клише официальной пропаганды, как если бы он еще ничего не видел, ничего не узнал за одиннадцать месяцев жизни в СССР. Каждый раз, когда Истрати ставил острый а следовательно, неприличный вопрос Раковскому о событиях, случившихся после их отъезда из Парижа, бывший высокий советско-коммунистический чиновник отвечал уклончиво, шуткой или не на тему. И в то время, когда Истрати, среди выскочек большевистской олигархии и сочувствующих гостей, присутствовал на грандиозном спектакле-параде на Красной площади, организованном в десятую годовщину Октября, Раковский и несколько его товарищей пытались продемонстрировать свое диссидентское присутствие, чем заслужили оскорбления, толчки и зуботычины: Сталин мобилизовал против них подходящих негодяев, готовя одновременно на предстоящем XV съезде партии исключение оппозиции. Троцкий назвал это «репетицией Термидора».

В декабре 1927 г., когда Истрати в полной эйфории возвращался с Кавказа, XV съезд собрался в Москве: единогласие 1669 делегатов было заранее обеспечено. Сталин, хозяин Орграспреда (бывшего Учраспреда), каждого из них отобрал и выдрессировал одобрять, аплодировать и ему подчиняться. Вышедшего на съездовскую трибуну Раковского «ругали как непрошенного гостя, обстреливали ругательствами и сарказмами, провоцировали и обрывали сначала после каждой фразы, потом после каждого слова, наконец прогнали с трибуны, на которой он с бесполезной

храбростью выставил себя, как у позорного столба». В конце оппозиция, представителем которой был Раковский, настаивая на своей лояльности, признала себя виновной в нарушении дисциплины, выразила раскаяние и заявила: «У нас нет никаких принципиальных разногласий с партией» (цитаты из моей книги «Сталин», Париж, 1935, переиздание 1977). Тем не менее, оппозиционеров исключили из партии и сослали к чёрту на рога. Но и в Астрахани, где по удивительной случайности двое друзей встречаются, Раковский упорствует в стереотипном конформизме, отрицает все неприятные очевидные факты, чтобы подтвердить свою лояльность всезнающей и всемогущей Партии. Нужно ли удивляться, что искренний Истрати все еще убаюкивал себя сказками и услышанными идеями? В это время еще никто не открыл ему глаза. А между тем, он мог тайком беседовать с румынскими и греческими рабочими на их языке...

Астрахань. «Вонючий город. Мириады комаров. Чума, малярия, холера», — пишет Истрати. В лучшей (!) гостинице постели кишат клопами. Истрати громко протестует. Появляется Раковский, ставший «толстым, раздувшимся, дряблым», больной малярией и другими болезнями, неизлечимыми на месте, и отрицает наличие клопов: «Нет. Их почти нет», — заявляет он (господствующая догма их не признаёт). Он восхваляет работы, ведущиеся в области, в этой «заразной клоаке». И хотя его трактуют как диссидента, он твердо держится «линии», как выражаются в партии. Даже «левее», как настаивает фракция, к которой он принадлежит. Дружба и солидарность с Троцким в это время для него самое важное.



Здесь следует остановиться на исключительном случае этой исключительной личности, поразительным образом иллюстрирующем состояние вещей и духа в этой новой Империи, власть которой распространяется на одну шестую земного шара, а многообразное влияние ощущается во многих частях мира. Этот «исключительный человек», как назвал свою книгу о нем его друг Анатоль де Монзи (Париж, 1927), сегодня забытый, был соратником Ленина и Троцкого, одним из самых выдающихся руководителей советского государства и покойного коммунистического Интернационала, фактически не пережившего Ленина. Я оставляю пока Истрати, вернувшегося 20 сентября 1928 г. на Кавказ, колесить по Грузии, Армении и Азербайджану, чтобы бросить свет на «исключительную судьбу» нашего общего друга: в моей памяти они неразделимы.

Христиан Георгиевич Раковский родился в Болгарии (1873) и стал румыном, когда родители, помещики в Добрудже, выбрали румынское гражданство после изменения границы в результате русско-турецкой войны (1878). Молодой студент, захваченный идеей социализма, начинает действовать всюду, куда бросает его судьба, сначала в своей стране, потом в Швейцарии, где он изучает медицину и встречает основателей русской социал-демократии: Плеханова, Веру Засулич, Аксельрода, а также Розу Люксембург. Он даже, не знаю уж где, «пожал руку Энгельсу». Учится в Берлине, где знакомится с Вильгельмом Либкнехтом. Высланный вскоре из Германии, он отправляется во Францию, в Нанси, затем в Монпелье, где защищает докторскую диссертацию по медицине.

Он присоединяется к «группе студентов-коллективистов» и завязывает дружбу с молодыми социалистами де Монзи, Юбером Лагарделем, Эмилем Бюре, которые по-товарищески называют его «Рако». Когда

он встретит их 20 лет спустя, все они будут уже знаменитыми. Он женится на русской девушке и едет к ней в Санкт-Петербург, но вскоре его высылают из России. Располагая некоторыми средствами, он дает деньги «Искре», русской социалистической газете, инспирируемой незнакомцем по имени Ленин, и публикует в ней статьи, подписываясь «Инсаров». Сотрудничает в главных социалистических изданиях Европы и пишет ценные книги о Меттернихе, Франции, Румынии. От него, из его корреспонденций в «Юманите» Жореса, мир узнал о мятеже на броненосце «Князь Потемкин-Таврический». В 1905 г. Раковский находился в Констанце, куда пришел мятежный корабль. Он свободно изъяснялся на шести европейских языках.

Вернувшись во Францию, он закончил юридический факультет, а потом решил заняться медицинской практикой, обосновавшись в Больё на Луаре. После смерти жены он едет в Румынию, откуда его высылают. Он решает тогда выбрать постоянным местом жительства Францию и принять французское гражданство. События помешали ему. (Я пишу по памяти и рискую совершить хронологические ошибки, но они не имеют значения для точности передачи событий жизни Раковского.)

Балканская война 1912 г. возвращает его в Румынию. Там он знакомится с корреспондентом «Русской мысли» — неким Львом Троцким. Оставим в стороне многочисленные перипетии и приключения, выпавшие на его долю, — вместе с предшествующими они стоили ему шести высылков из разных стран с начала XX века. «В отличие от Гомера две страны боролись за честь не считать себя местом моего рождения», — говорил он де Монзи, своему первому биографу во Франции (я был инициатором этой книги). Когда началась первая мировая война, Раковский — один из виднейших деятелей социалистического Интернационала. Он представлял балканские партии на международных

конгрессах. В 1915 г. он участвует в работе Циммервальдской конференции. Русская революция застаёт его в тюрьме в Яссах, он сидит уже много месяцев, русские солдаты его освобождают. Вихрь событий увлекает его в Россию и даёт ему новую жизнь.

Дружба с Троцким определяет его ориентацию, втягивает на большевистский путь. Партия, т. е. практически Ленин, использует его многочисленные таланты на различных должностях, пока не поручает ему ведение войны и дипломатию на Украине. Он участвует в 1919 г. в создании коммунистического Интернационала. В этом же году Съезд Советов Украины выбирает его председателем Совнаркома. «Предложение», как полагается, исходит от Ленина, в согласии с Троцким. Почему этот румыно-болгар, уже почти француз, образец европейца, получает, по его выражению, «дворянство» советско-украинского гражданства? Я объяснил это в 1975 г. в журнале «Est et Ouest», которого почти никто не читает, поэтому я цитирую: «После Брест-Литовского договора (март 1919) Украина представляла собой картину, сложность которой, путаница бесчисленных политических и этнических групп и подгрупп не поддается описанию в нескольких строчках, — подлинный пандемониум враждующих партий, соперничающих организаций, ненавидящих друг друга группок, воодушевляемых национальными страстями, политической ненавистью, социальными требованиями, религиозным вдохновением. Большевики и меньшевики, русские и украинцы, социалисты-революционеры правые и левые, боротьбисты, максималисты, бундовцы, сионисты, федералисты, анархисты (различных тенденций), националисты, кадеты, казачьи формирования, черносотенцы (здесь следует остановиться, хотя можно бы продолжать). Ленину нужно было резать по живому. Мастер использовать различные компетенции, ставить нужного человека на нужное место, он заявил своему окружению: на Укра-

ине требуется человек, который не был бы русским, но не был бы и украинцем, не был бы ни большевиком, ни меньшевиком, ни социалистом-революционером, ни боротьбистом, ни максималистом, ни бундовцем, ни сионистом, ни..., ни..., ни...; такой человек есть, это Раковский».

Миссия Раковского, немедленно кооптированного в высшие органы советского государства — ЦК и ВЦИК, — состояла в осуществлении политической линии Кремля. Но управление Украиной, страной, превышающей размерами Францию, предполагало значительные возможности проявления собственной инициативы, импровизации, интерпретации приходивших сверху декретов. Человек энциклопедической культуры, Раковский успешно справлялся с делом. В этом отношении никого из руководителей нельзя было с ним сравнить. Что не помешало в 1923 г. снять его со всех высоких постов по обвинению в интеллектуальном попустительстве Троцкому. Он был отправлен полномочным представителем СССР в Лондон, а на следующий год в Париж.

Все политические и дипломатические комментаторы Запада рассматривали новые назначения Раковского как большую честь, как лестное продвижение вверх. Все они ошибались, ничего не понимая в советско-коммунистических делах. В это время для бывшего политического лидера, устраненного от власти, удаленного из центра, который принимает решения, посольство означало немилость, этап на пути к окончательному падению. Несмотря на это, Раковский в Лондоне и Париже, как и в 1922 г. на памятной конференции в Генуе под руководством Чичерина, выполнял свою трудную миссию интеллигентно и умело, вызывая восхищение «буржуазных» собеседников. Он проявляет свои многочисленные способности. Он находит во Франции друзей юности: де Монзи, Лагарделя, Бюре, которые рады встретить Рако...

В 1927 г. его карьера внезапно заканчивается, его отзывают в Москву. Таков был этот исключительный человек, которого Истрати неожиданно встретил в Астрахани: лишенным всего, преследуемым, больным, не имевшим никакой помощи, поедаемым клопами и комарами. Сталин готовится уничтожить его морально и физически.

* * *

Исколесив Закавказье, побратавшись с разного рода местными властями, но также и с простыми людьми, славящимися своей гостеприимностью и делившимися с ним своими секретами, Истрати садится на пароход, чтобы вернуться в южную Россию. В декабре 1928 г. он проводит три месяца в Киеве, где снимают фильм по его книге. В конце года Истрати возвращается в Москву, изнемогающий от усталости, впечатлений и противоречивых чувств.

Он много видел, много слышал, много размышлял, и он остается верным коммунизму, «советскому эксперименту». Он по-прежнему убаюкивает себя абстрактными принципами, идеальными концепциями, отвергающими реальность, но он увидел и услышал столько противоречащего теории, что разум его глубоко встревожен. Он верит, что нужно сказать правду, дабы бороться с бюрократическими извращениями в партии, с несправедливостью, которую он видел всюду, с многочисленными пороками нового общества. Он верит, что поможет победить справедливости, к которой питает неукротимую страсть.

В течение долгих месяцев визита, подходившего к концу, сотни скромных пролетариев находили его, чтобы сказать горькую правду, если можно было беседовать без свидетелей. Истрати не знал русского, но на юге и на Украине к нему приходили румыны и греки, жившие там в большом числе. Многое услышал

он в Молдавии и в Одессе, где не случайно один из районов назывался Молдаванкой. Многие из несчастных собеседников приходили, чтобы «одолжить» у него денег, и он охотно их давал, ибо был тогда богат — со времен Сталина иностранные «попутчики» пользуются правом на щедрые авторские гонорары. После возвращения из Афин в СССР ГПУ перестало permanently следить за Истрати и Казандзакисом; их оставили в покое, и они могли легче завязывать контакты с простыми смертными.

В то время как Истрати начинает ощущать внутренний разлад, Казандзакис, наоборот, зубами держится за свое блаженное одобрение сталинского порядка (каких-нибудь десять лет спустя он будет восхвалять диктатуру генерала Франко в Испании). Стоит напомнить, что в 1927-28 гг. советский режим еще не был тем, чем он стал в 30-е годы. Визит Истрати имел место до ужасов коллективизации и до неопишуемой жестокости, неразрывно связанной с пятилетними планами. Наши путешественники еще могли встречать искренних коммунистов, производивших хорошее впечатление и дававших сентиментальные поводы для того, чтобы не утратить надежды. Вскоре эта порода подвергнется уничтожению, но безжалостная чистка партии Ленина, предпринятая Сталиным, только начиналась. Сотни, потом тысячи честных коммунистов, обвиненных в ереси, будут заключены в тюрьмы, высланы, но в это время Истрати еще находит их — они ему жалуются, они откровенничают: в Троцком и его товарищах они видят «золотой запас революции», обещание лучшего будущего.

Короче, Истрати, разрываемый сомнениями, верный своим убеждениям и вдохновляемый долгом свидетеля, еще верит, что он сможет все это примирить. Чтобы свалить тяжесть с сердца, он пишет два — одно за другим — письма в ГПУ, в которых, подтверждая свою верность коммунизму и советской революции,

просит разрешения написать правду о недостатках и болячках режима, с тем чтобы способствовать его исправлению в соответствии с великими принципами. Он даже считает возможным убеждать ГПУ в необходимости прекратить преследования оппозиционеров, т. е. Троцкого и его друзей, и разрешить в партии и профсоюзах тайное голосование. Можно себе представить презрительный смех, каким были встречены в ГПУ эти послания. Но Истрати ничего не подозревает. В конце декабря он живет в Ленинграде, где в последний раз, как думает, он дружески общается с Русаковыми.

Русаков — старый рабочий, отец шестерых детей. Семья живет в одном из петербургских доходных домов. Квартира состояла из десятка комнат — девять членов семьи Русаковых занимали 4 комнаты, жилищный кооператив помещался в остальных. В феврале 1928 г., уже в Москве, готовясь к отъезду, Истрати узнает потрясающую новость. Некая коммунистическая дева, хитро маневрирующая, чтобы захватить одну из русаковских комнат, спровоцировала отвратительную сцену в квартире и осмелилась ударить по лицу Любу, мягчайшего человека, милейшую и симпатичнейшую женщину. «Ленинградская правда» опубликовала гнусную статью, каждое слово которой было ложью, требовавшую ареста отца Любы — Русакова, бессовестно клевета на него в выражениях, которые равнялись требованию смертной казни.

Истрати двоился и троился, чтобы спасти семью друзей от ужасной опасности. Он понял наконец, что это не местный или эпизодический случай, что это не личное дело одной семьи, но модель мира, в котором утверждается тяжелая и беспощадная бюрократическая машина, готовая раздробить безупречно невинных людей. Он вмешивается, шлет телеграммы, звонит по телефону, пишет, кричит как может, обращается во все компетентные органы, доходит до Калинина, тре-

буя справедливости. Нужно прочесть и перечесть главу его книги, посвященную «делу Русакова», чтобы хорошо понять эту мрачную историю и, как он это сделал, осудить так называемый советский режим.

Истрати окончательно теряет иллюзии, разочаровывается и перестает мыслить обманными формулами псевдодиктатуры пролетариата. Слабая политическая культура странствующего самоучки еще не позволяет ему отвергнуть навязанные троцкистской оппозицией клише о борьбе классов там, где нет ни борьбы, ни классов, о вреде бюрократии, в то время как партия über alles является советским государством. Но его интуиция сильнее укоренившихся идей. 15 февраля 1929 г. он возвращается в Париж разбитый, больной, дезориентированный, не знающий, кому и чему доверять: он не может ни говорить, ни молчать, ни писать, ни отказаться от слова. На следующий день приезда он приходит ко мне, он рассказывает...

* * *

Минуло полвека, и невозможно сегодня передать дословно обрывочный, всегда искренний, часто образный, не всегда связный, иногда противоречивый рассказ; его восклицания, его гнев выражали ненависть к несправедливости, сочувствие ее жертвам. Все это есть в книге «К другому пламени» и позднейших произведениях. Но он не знал, с чего начать. Громогласный свидетель в пользу псевдосоциалистического режима, он спрашивал теперь с тревогой — может ли он опровергнуть сам себя, поймут ли его. Очень убедительно он объяснится с коммунисткой и троцкисткой Магдаленой Маркс в беседе, опубликованной в парижском бюллетене «Contre le Courant» (№ 23) под заголовком «Панаит Истрати говорит нам...» Он очень хорошо объяснил свое прежнее отношение и отказ от

него: «Только в последние три месяца моего визита... чары исчезли, вуаль внезапно спала и подлинная ситуация, абсолютно очевидная для всех людей доброй воли, открылась мне во всей ее жестокости».

Растерянность его дошла до высшей точки, когда пришло невероятное письмо Ромена Роллана, в котором тот уговаривал Истрати не публиковать двух посланий, адресованных ГПУ. Пятьдесят лет спустя нельзя читать это письмо без изумления: Р. Роллан находит «замечательными» два наивных послания Истрати, но «вы не должны в данный момент их публиковать или позволить их публиковать Борису либо друзьям Сержа». И далее: «Эти страницы священны. Они должны быть сохранены в архивах вечной (!!) Революции. В ее золотой книге (?!?!). Мы любим вас еще больше за то, что вы их написали. Но не печатайте их!» И т. д.

Иначе говоря: правда недостаточно хороша, чтобы ее можно было сказать, публика нуждается в том, чтобы ее обманывали, необходима религия для народа, следует «начинять голову» пролетариата. Истрати в отчаянии. В 1921 г. Р. Роллан спас его после попытки самоубийства, помог выйти из душевного кризиса, поддержка и протекция Роллана сделала Истрати писателем, знаменитостью. Как спорить с ним, как не послушаться настояний, носивших такой категорический характер? Я присутствовал при «буре в черепе», как выражался старик Гюго.

Мы жили рядом, в соседних домах, выходивших на авеню Терн. Панаит снял большое, почти пустое ателье и ходил по нему из угла в угол, сильно жестикулируя. Мы навещали друг друга почти ежедневно и не говорили ни о чем другом, кроме его советского опыта, книги, которую он должен написать и которую он не напишет... «Я не могу! Я не могу! — кричал он в ярости, — я не могу не послушаться Ромена Роллана!» И продолжал ходить из угла в угол, размахивая

руками, как мельница крыльями. Я понимал его растерянность и не старался повлиять на него, чего так боялся Р. Роллан: каждый должен выбрать себе путь по своей совести... Но наши бесконечные разговоры продолжались на ту же тему; поскольку в это время я внимательно читал советскую прессу, я неизменно утверждал его в правильности недавно сделанных им выводов, цитируя из бесспорного источника факты, иллюстрировавшие реальное положение трудящихся, живших под так называемой диктатурой пролетариата. Истрати, несмотря на все то, что он уже знал, не переставал поражаться, я же, со своей стороны, не сознавал эффекта, который производили на его душу мои красноречивые цитаты.

В один прекрасный день он мне заявил:

— Знаешь, я попросил Виктора (Сержа) собрать воедино всю информацию, которую он мне сообщил. Он сделал это, все написал, я ему заплатил (теперь, через полвека, уж не помню сколько) — у меня договор с издательством (Ридер), я опубликую это досье под моим именем! Озаглавлю: «Советы 1929».

Я ответил:

— Ты с ума сошел. Что за странная идея? Читатели ждут твоего свидетельства, они знают твой стиль, твою живость, им не нужно досье...

Он настаивал, мы дружески поспорили, каждый из нас повторял свои аргументы. Затем мы заговорили о другом. А на утро вернулись к спору... Бедный Панаит повторял свои доводы, я делал то же самое. Разговор прерывался отступлениями от темы, иногда приступами смеха; затем он впадал в глубокую меланхолию, жалея угнетенных и проклиная угнетателей всех видов. Нередко он вдруг вспоминал свое прошлое, воспоминания детства, случаи из былого, уступая часто удовольствию пошутить. Однажды, говоря о женщине с бурным темпераментом, он воскликнул: «Она могла забеременеть, взглянув на кальсоны, су-

шившиеся во дворе!» — и хохотал, как большой ребенок. В другой раз, говоря о своем происхождении, он заявил мне: «Я не знаю, кто был мой отец. Думаю, что он, должно быть, был еврей». И он разразился саркастическим смехом, который звучал как вызов неизвестно кому. (По свидетельству Эдуарда Рэйдона, первого биографа Истрати во Франции, его отец был греческий контрабандист, но я цитирую моего красно-речивого собеседника, полного фантазии и странных задних мыслей.) В то же время в вопросах своего социально-политического опыта он был очень серьезен, до беспокойства.

Как я упомянул, в это время я внимательно читал советскую прессу: кроме «Правды» и «Известий», которые время от времени давали на последней странице информацию, не привлекавшую внимания дипломатов и иностранных корреспондентов, я изучал «Труд», «Комсомольскую правду», «Вечернюю Москву», «Рабочую газету», «Бедноту», «Красную газету», «Зарю Востока», харьковского «Пролетария», а иногда и другие листки. Я собирал обильную подлинную документацию, очень богатую и разнообразную, по всем вопросам, волновавшим Панаита, и он жадно слушал меня. Однажды он внезапно вскочил, прошелся большими шагами по комнате, остановился и, торжественно глядя на меня, произнес: «Знаешь, это ты должен написать эту книгу!»

Пораженный, я возразил: «Ты спятил? Что ты еще выдумал? Читатель хочет твою книгу, а не мою! И мы возобновили наш напрасный спор, не придя ни к чему. Оба повторяли ранее сказанное. Спор продолжался и в следующие дни. Приближалось лето. Вокруг нас все говорили только об отъезде из города. Панаит не мог больше усидеть на месте, и он хотел выехать, не помню уж куда. Однажды он мне заявил: «Слушай. Перестань глупить. Я дам тебе (не помню цифры), ты сможешь поехать на юг и написать там

книгу. Ты не можешь остаться один в Париже летом...» Я обозвал его идиотом, мы снова начали спорить, но, чтобы заставить его замолчать, я неосторожно добавил: «К тому же, у меня только этот московский костюм, на юге в нем будет слишком жарко...» Панаит, со своей обычной ловкостью, подхватил мяч на лету: «Вот именно. Я тебе дам (столько-то), ты купишь себе летний костюм и сможешь поехать на юг, где напишешь книгу... Ведь у тебя все материалы готовы... А через полгода после публикации я объявлю, что ты — автор!»

Ему казалось, что он нашупал мое слабое место. Я знал скромную и спокойную гостиницу в Каркоране, на берегу моря... И огромная работа по собиранию материалов — неужели ей суждено остаться неиспользованной? Ведь я затратил на нее столько времени...

Тем не менее, я сопротивлялся, Панаит бушевал, мы продолжали бесполезный спор, наконец, я сказал: «Ладно. Я тоже приготовлю тебе досье, которое ты используешь, как ты это сделал с первым, но при условии, что ты сам, твоими чернилами, напишешь свидетельство, которого ждут читатели. 16 месяцев ты изучал Советский Союз, ты не можешь теперь отказаться. Если ты не напишешь, я тоже не напишу». Истрати долго не сдавался.

Опустим наши последние напрасные споры. Однажды утром я нашел его спокойным, сияющим, удовлетворенным: «Решено, — заявил он мне. — Я напишу мою книгу, ты напишешь свою, а я опубликую все три».

Пораженный, я реагировал по-своему, вышучивая странную идею: «Это — абсурд! Три книги, в том числе два досье, на одну и ту же тему, разных стилей, разных авторов... Но досье — это не книга. Я не читал «Советы 1929», но я уверен, что всё вместе превратится в какофонию. Никто ничего подобного не видел...» Панаит загремел: «Мне наплевать! У меня до-

говор с издателем, он опубликует все, что я напишу. Я напишу Роберфрансу, объясню, кто другие авторы, объясню почему, вот и все. Значит, договорились?».

Еще немного поспорив, настаивая на разнородном и нелогичном характере подобной публикации, я в конце концов сдался. Мне пришло в голову, что и Панаит сдался, убежденный мною, и что он напишет свой исключительный рассказ искреннего коммуниста, потерявшего иллюзии. Я рассчитывал также, что по зрелом размышлении он поймет странность этой трилогии и использует наши досье, не публикуя их. Таким образом, работа, затраченная на изучение советской прессы на протяжении многих лет, на что-нибудь пригодится. К тому же, я был без работы и без денег, а тут подвернулась временная работа. Не говоря уж о возможности снова увидеть Средиземное море...

Через несколько дней мы расстались. Я выехал с чемоданом, набитым вырезками из советских газет, в Каркоран: маленький скромный, чистый, тихий отель, идеальный для работы. Мой друг Жан Бернье, которому я рассказал о проекте «досье», присоединился ко мне. Каждый вечер он читал написанное мною за день и подбодрял словом и жестом... Мог ли я подзревать, что десять лет спустя он станет сторонником Гитлера, в ту пору союзника Сталина, и что Казандзакис будет петь гимны генералу Франко? Шекспир говорил: «Беда кладет человеку в постель странных партнеров». Более современный автор перефразировал эту мысль: «Политика заставляет выбирать странных партнеров для постели».

Заканчивая работу, я задумался, как озаглавить этот пакет цитат? Бернье предложил: «Нагая Россия». Мне это не нравилось, но ничего лучшего не придумалось. Пусть Панаит решает. Он принял заголовок. Пусть будет так. Книга выйдет в декабре, после двух других.

Я прочитал «Советы 1929» после выхода книги. К моему великому удивлению, это не было досье, о котором мне говорил Панаит, хотя в нем имелись отличные документы, но написанный от первого лица текст, как если бы автором был сам Истрати. Книга выражала взгляды т. н. троцкистской оппозиции: осуждала нараставшее своеволие и злоупотребления бюрократии, требовала восстановления демократических норм в партии, критиковала благосклонное отношение к зажиточным крестьянам и т. д. В основном, она не противоречила официальным лживым догмам, о чем, впрочем, заявляли сами троцкисты на съезде в 1927 г.: «Никаких принципиальных расхождений с партией у нас нет». В книге говорилось о пролетариате, диктатуре пролетариата, т. е. о фикциях. Некоторая видимость демократии предусматривалась лишь для внутреннего партийного употребления, но не для трудящихся. И главное, ни слова о тайном голосовании, т. е. издевательство вместо голосования, даже в партии. Бухарин осуждался за свой лозунг обогащения крестьян, но Троцкий говорил то же самое до него.

«Советы 1929» приняли всерьез даже скандальный Шахтинский процесс, зловещее издевательство над правосудием, отвратительный обман. Можно задать вопрос: читал ли Истрати это поразительное «досье», прежде чем публиковать под своим именем? Возможно. Но ему это было безразлично, он особенно не приглядывался: ни логика, ни последовательное развитие идей его не волновали, он давал волю своему темпераменту. Написал ведь он: «Я, возможно, так и остался навсегда ребенком». Что же касается бюрократии, неутомимо осуждаемой, то разве не была она партией, той самой, о которой Троцкий заявил: «Никто из нас не хочет и не может спорить с волей партии.

В конечном счете, партия всегда права. Можно быть правым только с партией и через партию, ибо история не дала другого пути разуму».

Мое безличное досье носило совершенно иной характер: оно представляло собой коллекцию бесспорных фактов, почерпнутых из официальных источников, рисовавших подлинную картину советской действительности и опровергавших все измышления относительно режима, установленного Лениным и завершеного Сталиным. Цитаты были подобраны с учетом их принципиального значения: они опровергали теории Ленина относительно отмирания государства, ликвидации полиции, постоянной армии, бюрократии, относительно свободы печати. Они свидетельствовали о том, что советская практика противоречила программе Октябрьской революции. Ленин обещал: «Борьба партий за власть может развиваться мирным путем в советах». Теперь Бухарин и Томский заявляли: «У нас... одна партия находится у власти, все остальные в тюрьме». Вслед за Лениным «Известия» повторяли: «Диктатура пролетариата... это власть, не ограниченная никаким законом». И так далее. Все эти документы собраны в моей книге-досье, которую можно переиздать сегодня под заголовком: «СССР 1930», который напомнил бы о книге Кюстина «Россия 1839», опубликованной за век до «Нагой России».

Тем временем Истрати напечатал в «Нувель ревью франсэз» «Дело Русакова», включенное потом в книгу «К новому пламени», которая стала его личным вкладом в трилогию. Книга вызвала некоторую сенсацию у читателей и хор враждебных голосов в сталинской прессе. Но Истрати питал иллюзии относительно продолжительности эффекта, произведенного книгой: необходимо было значительно больше, чтобы потрясти общественное мнение, отравленное, сформированное лживой, упорной, систематической пропагандой

многообразных коммунистических организаций и бесчисленных их филиалов и сателлитов. Что же касается враждебных голосов, то они были типично сталинскими в своей ненависти, ругательствах и клевете в адрес Истрати. Предела подлости достиг А. Барбюс, настоящая проститутка на службе советской власти, автор тошнотворной апологии Сталина. Коммунистическая печать превзошла себя в гнуснейшей клевете, когда вышла из печати «К другому пламени». Я знал по личному опыту, каких оскорблений можно ждать, если говоришь правду о судьбе народов, закабаленных большевистскими выскочками.

Самым жестоким испытанием для Истрати был разрыв с Р. Ролланом, поведение которого, не опустившись до уровня Барбюса, было отвратительным и жалким. Интеллектуальное и моральное падение этого мыслителя-индивидуалиста, ставшего сталинистом, выразилось, в частности, в письме Жану Геенно, в котором говорилось, что соавторы трилогии «спрятались под плащом Истрати». Выше рассказано, как в действительности обстояло дело. И другие пассажи письма отличаются исключительной низостью.

(Окончание в следующем номере.)

Президент Рональд Рейган направил следующее послание в адрес Международной конференции в честь Андрея Сахарова, устроенной в Нью-Йорке 1-2 мая нью-йоркской Академией наук.

Участникам празднования юбилея Андрея Сахарова

Я рад присоединить к Вашим мои поздравления академику Андрею Сахарову по случаю его шестидесятилетия. Сахаров является одним из подлинных духовных героев нашего времени. Выдающийся ученый, чье положение обеспечивало ему всю безопасность и комфорт, которых он мог желать, он готов был все это поставить на карту, чтобы защищать права человека и свободу. Даже подвергаясь все более жестоким преследованиям, он остался верен этому призванию.

Сахаров — русский патриот в лучшем смысле этого слова, ибо видит величие своего народа не в милитаризме и внешних завоеваниях, но в строительстве свободного и уважающего законы общества у себя дома. Его принципиальные заявления о свободе и мире подкрепляют нашу веру в эти идеалы. С глубокой надеждой мы молимся о прекращении его ссылки и о даровании ему долгой и творческой жизни на благо науки и человечества.

Рональд Рейган

Поздравительные послания были получены от президентов Картера и Форда, посла США Джейн Киркпатрик, сенатора Патрика Мойнихена и множества частных лиц и организаций. Среди ученых, выступивших на конференции, были Сидней Дрелл, Виктор Вайскопф, Липман Берс, Джон Виллер, Вэл Фитч, Гарольд Ферт, Герберт Йорк, Станислав Улам, Филипп Хандлер, Франк Пресс, Эдуардо Амальди и Антонио Зичичи.

«Русская Мысль», 21.5.1981

Факты и свидетельства

Милован Джилас

ЙОВАН БАРОВИЧ, НЕУСТРАШИМЫЙ АДВОКАТ

6 февраля 1979 года я вернулся домой вскоре после полудня. Только я вошел в прихожую, как из кухни выбежала Мица и безумным голосом закричала:

— Йоро попал в катастрофу! Звонила Душанка. Я побежала за вами к Добрице Чосичу, да вы уже ушли... А когда вернулась — позвонил какой-то Пеёвич, что Йоро умер. Умер! А не просто ранен...*

Я тут же позвонил Душанке. Захлебывающийся голос Душанки в трубке: «Йоро разбился — больница, чтобы проверить, запросила и данные о его матери». Душанка не в силах отказаться от надежды: «Хоть бы жив остался — пусть и покалеченный!..»

Я скорей предчувствую, чем знаю, — предчувствую, потому что и у меня еще остается надежда, потому что Душанка еще не знает, — что Йоро нет в живых.

И колебание: бежать ли к Душанке сейчас же или переждать и избежать мучительной роли вестника горькой правды. Было обеденное время, да к тому же

* Йоро — Йован Барович, адвокат. Мица — Милица Драгич, долголетняя прислуга и член моей семьи. Душанка — жена Баровича. Добрица Чосич — писатель, сегодня самый известный в Сербии, если не во всей Югославии, как своим творчеством, так и оппозиционной деятельностью. С Чосичем я дружен много лет, время от времени мы обмениваемся рукописями и жалуемся друг другу на незаживающие раны, которые наносит и нациям, и культурам тоталитарная структура. Пеёвич — друг семьи Баровичей.

Вукица, моя дочь, была у меня в гостях, и я механически сел за стол. Еда, обеденный ритуал — эта жалкая, неизбежная повседневность перед лицом страшных и неотвратимых событий внезапно пробудила во мне силы, не зависящие от реальной злободневности и более могущественные, чем личная судьба.

На ближайшую стоянку такси — и к Душанке. В сумрачный, прохладный день, в потоке автомобилей, я мысленно воскрешаю Баровича — живет, значительнее и незаменимее, чем до сих пор казалось. Печаль наполняет мысли, в мыслях одно горе и пустота. Слезы текут произвольно. И на перекрестке — из-за этого, что ли, кто-то на меня смотрит? — я заметил, что вытираю слезы тыльной стороной ладони, как дети или обиженные деревенские старики...

Кто такой Йован-Йорго Барович? И откуда после его гибели такое чувство оставленности, одиночества — у меня, пережившего гибель стольких близких и дорогих людей, у меня, более четверти века живущего в своей стране, а работающего вне ее, пишущего и говорящего о своем трагическом опыте и горьких надеждах?

Барович — единственный бывший коммунист и единственный гражданин Югославии (я не говорю о своей жене и родных), который постоянно, до самой смерти, был связан со мной с тех пор, как я в 1954 году разошелся с Тито.

Уникальность Баровича и постоянство его дружбы со мной не искусственны и не случайны...

Мы с Баровичем земляки — оба из Черногории, оба в молодости из идеалистических побуждений вошли в коммунистическое движение, и оба позднее из тех же побуждений вступили в конфликт с тоталитарными течениями и авторитарным руководством.

И все-таки не это главное: наша дружба — главным образом, результат его личности, его отваги и последовательности. Барович и я не были знакомы,

когда в январе 1954 г. меня изгнали из партийного руководства за высказывание критических, демократических взглядов. Барович был тогда подполковник и проходил курс повышения квалификации в Военной академии — на партсобрании он выступил против навешивания на меня ярлыка предателя, против поворота от демократизации к бюрократизации, от свободы мысли в партии к мышлению, управляемому сверху. Такие высказывания дорого обходились и штатским, а тем более офицерам, в армии, — Баровича без долгих разговоров уволили из армии, исключили из партии и дали ему какую-то второстепенную должность в управлении информации. Он отделался сравнительно легко: полагали, что он может «исправиться», и приняли во внимание его боевые заслуги.

Но «отклонение» Баровича было существенным, «неисправимым», как и мое, — наши инквизиторы вначале не разглядели этого. Да мы и сами тогда не сознавали этого до конца, хотя морально и вырвались в иной, более свободный мир. Барович и без меня был бы — да он и был! — диссидентом, оппозиционером: то, что я писал и говорил, лишь позволяло ему сформулировать свои наблюдения и размышления. Иначе и быть не могло: я старше Баровича на 11 лет, он, в отличие от меня, не имел склонности к теории, главное же — многие годы я находился на высшем форуме — оттуда, с такой высокой, как-никак легальной позиции, только и можно было высказать что-то новое, притом выбрав удобный момент.

Барович пришел ко мне месяцев через восемь-девять после моего — а в известном смысле и его — «дела», т. е. после идеологического судилища надо мной в ЦК. И ему, и мне понадобилось время — как и всякому, кто отходит после репрессивного, полицейско-идеологического шока, — чтобы разобраться в своих мыслях и рассчитать свои возможности. С тех пор и завязалась наша дружба, несмотря на случившиеся —

впрочем, редкие — разногласия. Бывала между нами и разница в оценках. Со временем, а особенно в последние годы, Барович стал самостоятельней, чем раньше, и в большинстве случаев сам строил свои отношения, анализы, действия. Это не ослабляло — наоборот, укрепляло наше взаимопонимание и контакты. Период полной самостоятельности Баровича — это и период нашей самой полной, самой зрелой дружбы: только независимые личности, личности, уважающие друг друга, укрепляются различиями и отделяют сущее и должное от тривиального и необязательного... Только независимые личности находят в себе силы бороться за свободный мир...

Барович родился 2 октября 1923 г. в почтенной и — по всеобщей черногорской бедности — не слишком бедной семье. Из родного края, каменистого, оголенного стихиями и людским враждованием, упоенного героическими преданиями и осужденного на скудное и суровое повседневное существование, Барович вынес отвагу и сметку, красноречие и горячность. В ранней юности он становится революционером — и что другое могло случиться с беспокойным, полным творческого духа юношей в стране монополизированных перспектив и растраченных, преданных ценностей? В 16 лет он исключен из гимназии за революционную деятельность. Но он продолжал образование, с упрямой быстротой и вопреки трудностям, — таковы свойства его личности и судьбы. Воевать — для черногорцев способ существования. Народное восстание 1941 года и революционное движение, которому оно дало начало, были для Баровича, как и для большинства черногорской молодежи, осуществлением идеала. «Черногорское мышление», или, скажем, черногорское упрямство (плодотворное либо разорительное — смотря куда направлено), соединилось со всемирной (коммунистической) идеологией и всемирным (коммунистиче-

ским) движением и превратилось в грозную, стократ умноженную силу.

Баровичу неполных 18 лет — восстание, война, рождающаяся надежда. И когда ему исполняется семнадцать, он, уже испытанный солдат, вступает в первое образцовое подразделение новой армии — в Первую пролетарскую бригаду. Выделясь храбростью, находчивостью и умом, Барович быстро продвигается к высшим политическим и военным должностям, часто превышающим его звание: комиссар дивизии безопасности.

Но война — это и страдание, и смерть: в двух решающих битвах (Неретва, Сущеска) Барович теряет двух братьев, младшая сестра была тяжело ранена. Один из братьев, Сима, посмертно награжден высшим орденом и высшим званием — Народный герой Югославии. Тяжело ранен и Йован Барович — в легендарной, самой судьбоносной битве на Сущеске, в июне 1943 г., но и раненный, он остается в боевом строю... Все эти данные понадобились бы лишь для иностранного читателя, поскольку на родине о подвигах и о погибших широко говорится, — если бы органы власти не запретили упоминать об этом над телом Баровича...

Исключение из партии и увольнение из армии было только первой мерой — от Баровича требуют покаяния. Не кается — увольняют его и из управления информации, хотя эта работа едва давала ему средства перебиваться с женой и двумя детьми. В это время, в 1956 г., меня сажают, а Барович терпит крайнюю нужду: двенадцать раз его не берут на работу по конкурсу!

Тогда Барович решает получить юридическое образование и стать адвокатом. И в этом он руководствуется духом самосознания, борьбы и творчества: официальные власти в Югославии неофициально рассматривают адвокатов как какой-то пережиток ста-

рых, буржуазных порядков. Именно поэтому адвокаты сохранили — частично в силу традиции, частично по природе своей профессии — какую-никакую личную и профессиональную автономию. Эти крохи, эта тень права и личной независимости — и привлекли Баровича в адвокатуру.

Благодаря адвокатскому призванию он займет положение, исключительное в условиях Восточной Европы. И не только в силу своих юридических познаний и острого ума, хотя это и поставит его среди лучших югославских адвокатов, в особенности по делам о тяжких уголовных преступлениях (убийства и проч.). Нет, для Баровича адвокатура была чем-то бóльшим: личной независимостью и общественной — не скажу политической, ибо таковая в Югославии не допускается, — деятельностью. Он всячески реализует здесь свою смекалку и оригинальность. Он достиг наибольшего «попадания в цель» среди адвокатов — и был остановлен на подходе к своим неисследованным вершинам.

В начале 70-х годов, после смены руководства в самых больших и развитых республиках: в Сербии, Хорватии и Словении (1971 -1972), — в Югославии одерживают верх «проверенные» политико-идеологические структуры. Множатся запреты и аресты, а с ними растет произвол и беззаконие — точнее, злоупотребление законами со стороны законодателя и стража закона. Сконструированные обвинения, вынужденные признания, подслушка, откровенная клевета, провокации и, конечно, обвинительные приговоры за дружескую беседу или пересказ анекдота как за измену, мятеж, заговор.

И вот это тяжелое, мрачное, безвыходное время Барович взял в руки и сделал своим.

Барович был не единственным, и все-таки он уникален: смелее и полнее других он находит и использует возможности. Как и другие, он ссылался на югослав-

ские законы — в большой степени то же делается и в других восточноевропейских странах: формальные возможности защиты приходят на помощь и при политических «преступлениях», о которых идет речь в моей статье. Эти возможности со временем увеличивались: в силу внутреннего сопротивления политическому всевластию, в силу принятых правительствами обязательств в области Прав Человека (Хельсинкское соглашение, Пакты о Правах Человека). Возможности незначительные, чаще всего не меняющие срока наказания: ведь и в Югославии арестованный — уже осужденный. Барович все это сознавал. Но сознавал и важность процедурных возможностей для защиты достоинства заключенного и для отражения злоупотреблений. Те, кто издавал законы и включал в них демократические пункты — пункты, заимствованные у прежнего режима или принятые под давлением современной борьбы за Права Человека, — по своему разумению не предполагали, что кто-то отважится настаивать на этих пунктах в пользу обвиняемого. Барович заметил — не только заметил, но и расширил — эти «щели», эти возможности. Так возникли возможности и для него, для утверждения его взглядов — в публичной жизни *некто* возникает благодаря борьбе за *нечто* внеличное, выше его самого. Эти возможности увеличивала гласность. Барович — первый и, несомненно, самый последовательный адвокат в Восточной Европе, сделавший свою защиту гласной (при этом строго придерживаясь в ней предписаний закона): он регулярно контактирует с прессой. Разумеется, только с западной прессой: югославские средства информации — немножко или «множко» отличающиеся от прессы остальных коммунистических режимов, о политических процессах и политзаключенных пишут то, что им приказано и сколько приказано, чаще всего — ничего.

Но деятельность Баровича проходила не только в зале суда и во встречах с иностранными корреспон-

дентами. Одновременно он информировал суд о противозаконных действиях полиции, а высших государственных чиновников — о беззаконии полицейских органов и о безумных, непростительных страданиях невинных. Постепенно его деятельность расширялась, и он защищал всех неоснованно и незаконно преследуемых, критиковал — косвенно и с правовой точки зрения — самое систему произвола и беззакония. Барович не оставлял заботы об осужденных и после приговора: посещал тюрьмы, навещал и ободрял семьи — много эковских слез пролилось при вести о его гибели...

Барович был светловолос, невысок ростом, крепко сбит и полон энергии. Интеллигентный и недогматичный, эмоциональный и памятный, напористый и неутомимый. Добросовестный и вечно в цейтноте. Обладавший чувством юмора и, прежде всего, храбрый, может, даже чересчур храбрый перед лицом аппарата, монополизировавшего власть, контроль и — родину.

После Баровича никто в Югославии не может сказать, что не знает — имею в виду тех, кто по своему положению и должности обязаны знать и, так или иначе, знают, — как «разрабатывают дела» на политических процессах, как измышляют и преувеличивают преступления и как мучают заключенных. Превыше всего Барович любил свою страну и знал о ней достаточно, чтобы не отождествлять ее с Советским Союзом и его сателлитами. Но он, несомненно, среди тех, чья роль особенно велика в том, что официальная югославская либеральность была увидена как маска расшатанных, но еще мощных тоталитарных сил.

Узнав, что готовится амнистия, Барович направляет обширное письмо Президиуму Югославии и Владимиру Бакаричу, ответственному по вопросам госбезопасности в Президиуме. В этом письме он выдвигает требование об освобождении своих подзащитных

и описывает мучительное, противозаконное положение заключенных, в особенности во время следствия и суда.

«Механизм правосудия, — говорит Барович в этом письме Бакаричу от 19 ноября 1977 г., — не функционирует как следует. Он не всегда относится критически к материалам уголовных дел и обвинительным заключениям Службы госбезопасности. (...) По опыту я знаю, что одна из причин — полное подчинение и доверие прокуратуры Службе ГБ. Суд затем рассматривает дело, исходя из выводов, сделанных прокуратурой и СГБ, а суд высшей инстанции — из того, как было рассмотрено дело в суде первой инстанции, и утверждает все подряд. В основе всего лежит неприкосновенность действий СГБ — деятельность дальнейших органов сводится к формальности. (...) В политических делах или в процессах, где затронуты специфические интересы каких-то «властей» — местных или более высокого ранга, многие судьи так ведут себя и судят, словно кем-то наняты для формально-правового обслуживания... Так подбирается и продвигается по службе определенное число молодых судей, главное достоинство которых — морально-политическое соответствие. Отсюда происходит тот феномен, что нет ни одного дела в стране по политическому обвинению, которое не было бы принято судом. В других, «обычных» делах на пути от прокуратуры до Верховного суда отпадает не менее 30, а то и 50% обвинений...»

Барович приводит конкретные случаи поверхностных, произвольных приговоров. По делу К-127/75, разбиравшемся в окружном суде в Риеке, подзащитный Баровича Шима Миёчич под пытками «признался» в хранении и передаче взрывчатых веществ и был безвинно осужден на восемь лет. По делу К-175/75, разбиравшемся в Окружном суде в Приштине, следствии «широко пользовалось шантажом и избиениями»,

а затем суд признал обвиняемых, албанцев из Косова, невинными или частично виновными в «мятежничестве». В этом деле защита практически подвергалась бойкоту: лишь накануне суда защитник смог ознакомиться с делом и встретиться с подзащитными. В Баньялуке — дело К-117/76 — Джурадж Радженович и Душан Штрбац получили по шесть лет «вне всякой связи с данной юридической квалификацией» их действий. Снова в Баньялуке: профессор Войнович осужден на пять лет за то, что в частном разговоре сказал, что Тито и Джилас войдут в историю, а Джордж Жужа — на три года за высказывание о том, что «однопартийный режим ущемляет демократию». И т. д., и т. д.

В названном письме Барович приводит и примеры корректного поведения. Беря на себя защиту политических «преступников» различных направлений в разных республиках, он приобретает опыт и эрудицию и становится широко известен в Югославии и за границей. Это отнюдь не нравилось течениям или группировкам, которые использовали государственный аппарат для незаконных преследований и присвоения незаконных привилегий. Коллеги Баровича в Новом Саде в 1974 г. потребовали принять меры против него и Велько Ковачевича за то, как они вели защиту Михайлова: политические органы отвергли это требование и проявили (по своим резонам) бóльшую терпимость, чем коллеги по профессии! А только что, накануне гибели, Барович получил письма с угрозами, угрозы доводились до его сведения с помощью сплетен. Более того, окружная прокуратура в Титограде в ответе от 26 января 1979 г. на жалобу Баровича, пригрозила ему «принятием мер... в защиту органов дознания от... инсинуаций, что в деле Ивана Бенчича они использовали незаконные и насильственные методы».

Ничего странного, что гибель такого человека, как Барович, при таких обстоятельствах вызвала сомнения. Тем более, что и само происшествие было неяс-

ным, да еще мертвого Баровича лишили тех почестей, которые положены по закону о боевых ветеранах и специально о тех, кто с первых дней участвовал в восстании 1941 года: военный эскорт, почетный караул.

Барович погиб на шоссе Белград-Загреб, шириной 9 м. Он ехал в сторону Загреба, на процесс в Пещицах. Согласно протоколу следователя из Сремской Митровицы от 6 февраля 1979 г., машина Баровича в момент катастрофы находилась на противоположной стороне и в противоположном направлении, т. е. на левой стороне и в направлении Белграда, так что наехавший сзади грузовик разможил задние колеса. Нету разумного объяснения, почему бы Барович повернул. А сообщение в «Политике», появившееся на следующий день (по чьему распоряжению и по какой причине, если о Баровиче нигде ни слова не сказано как о ветеране?), о том, что Барович потерял управление, вероятно, из-за сердечного приступа, опровергается результатами вскрытия: «Смерть наступила, — написано в заключении белградского Института судебной медицины от 7 февраля 1979 г., — в результате повреждения спинного мозга (...), а также внутреннего кровотечения (...), раны нанесены тяжелым, тупым и как бы с размаху опущенным механическим орудием...» Но если смерть Баровича вызывает сомнения — нападение на его сына Николу через полтора года после гибели отца, 20 октября 1980 г., не оставляет никаких сомнений в том, что оно организовано теми, кто только и может такое организовать в Югославии: молодого Баровича заманили в ловушку, где «неизвестное» лицо нанесло ему раны в голову специальным молотком...

Смерть Баровича, как и деятельность его, ждет оценки в будущем.

Никто из боевых соратников не пришел проститься с Баровичем. А мне рекомендовали — от чьего имени? — не выступать над гробом, чтобы не было

инцидентов. То же — и Звонириу Чичко, хорватскому христианскому демократу. Похороны, однако, были представительными, особенно разнородностью участников. Речи, полные мудрого тепла, произнесли старый социалист Велько Ковачевич и друзья из Хорватии — хорватские демократы.

Моим единственным намерением было проститься с мертвым другом. И сказать ему: ты стал выдающейся личностью не благодаря аппарату и декретам, но благодаря уму, отваге и отстаиванию достойного, правого дела. Мне не дали этого сделать. Я не был ни растерян, ни удивлен: революция, которая не пожирает своих детей, — это не революция. В памяти останутся живы те, кто испытал не только величие, но и слабости и заблуждения своей эпохи, — переживет свою смерть и Барович.

Как и у многих, у меня над гробом Баровича возникло ощущение, что он вернется — когда правда не будет под запретом, а закон — в руках беззакония.

Андрею Сахарову

Позвольте мне присоединиться ко всем Вашим друзьям во всем мире, восхищенным Вашей неустанной борьбой за свободу и права человека. Я совершенно уверен, что Ваша цель восторжествует. Сегодня мы чувствуем себя тесно связанными с Вашей судьбой.

Пьер Эмманюэль,
член французской Академии

ЭКОНОМИКА

Игорь Бирман

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В СССР

Я отдаю себе полный отчет в крайней серьезности темы, мрачности доводов и драматичности моих выводов. И, скажу это сразу, многие с выводами не соглашаются. Впрочем, я сам пришел к ним не сразу.

Эмигрируя в 1974 г., я отлично осознавал, что дела в советской экономике из рук вон плохи. Как «обыкновенный» житель, я видел рост цен (явный на рынках и не совсем явный, но весьма ощутимый в госторговле), удлинение очередей, ухудшение качества товаров. Как экономист, я знал и причины: общее замедление темпов развития экономики, слабый рост производительности труда, назревание проблем с сырьем и топливом, недостаточный научно-технический прогресс, развал сельского хозяйства и многое другое. При всем том я думал тогда, что радикальные реформы экономической системы были бы благотворными, что, состоясь они, дела бы пошли много лучше.

И, как говорится, едва вывалившись из самолета в Вене, я начал объяснять все это встречным и поперечным. Увы, встречные были больше заняты собственными заботами, а поперечные рассказали много интересного.

Что многое, которое я торопился выложить, было более или менее известно специалистам и каких-то особенно значимых фактов и соображений я не мог им поведать. Что специалисты (так называемые советологи) вкалывают истово, умело препарируют советскую печать, а сосредоточившись на каком-то узком

вопросе, знают о нем зачастую больше, чем мы, которые «оттуда». Что много уже было предвещателей краха советского режима вообще и советской экономики в частности, но (этого я и сам не мог не заметить) крах не состоялся. Так что, хотя и острят, что нет таких трудностей, которых бы не создали большевики, чтобы затем целеустремленно их преодолеть, в стране нет голода и мерзости запустения, а в некоторых отношениях — например, военном, — страна уверенно идет вперед.

Что мнение эмигранта по определению тенденциозно и что на Западе ученому полагается иметь «сбалансированную точку зрения», видеть и указывать не только минусы, но и плюсы.

А скоро я и сам увидел, что замечательная капиталистическая экономика имеет множество проблем и при сравнениях с ней кое-что в советской экономике выглядит довольно привлекательным, скажем — отсутствие безработицы, а также нециклический характер развития.

Отчетливо представляя себе кризис советской экономики, я не менее отчетливо ощущал политическую стабильность режима, его выживаемость, отсутствие в нем механизма изменений. Уже здесь, на Западе, я познакомился с подобными же представлениями собратьев (и сосестер) по эмиграции, а также сторонних наблюдателей, и это тоже подсказывало: режим как-то справится с экономикой.

Постепенно я начал глядеть через ржавеющий занавес немного иначе, чем вначале. Мы недавно обсуждали этот вопрос с известным социологом В. Шляпентохом и согласились: при взгляде отсюда, извне, СССР и впрямь выглядит много сильнее, могучее, чем при взгляде изнутри, чем он, хочется надеяться, действительно есть.

Вскоре я совершил тяжкий интеллектуальный грех, в котором приходится теперь каяться. Выступая

как-то с лекцией, я заявил, что темпы развития советской экономики будут и дальше снижаться.

— До чего? — спросил дошлый слушатель.

— Ну, до очень низкой величины, — скажем, 1-2 процента в год.

— Ну, а дальше? Могут ли стать темпы «нулевыми»?

— Могут, — отвечивал я.

К счастью, слушатель не спросил: почему ноль является некоей магической цифрой, не могут ли темпы снизиться и дальше, стать «отрицательными», то есть не начнется ли уменьшение абсолютных размеров производства? К счастью — потому что ответа я тогда не знал, непростительным образом не подумал о реальном значении продолжающегося снижения темпов роста. И мало меня оправдывает, что другие тоже не очень подумали. Ни тогда, ни теперь.

Прошла еще пара лет, и я усугубил грех, опубликовав в начале 1978 г. статью о стабильности режима. Под многим я подписываюсь и сейчас — увы, нет реального противостояния режиму и большинства населения. Но есть в статье непростительное для профессионала-экономиста заявление: дескать, несмотря на многие провалы и неудачи, даже при постыдно низком уровне жизни и его не менее постыдно медленном росте, советские правители сумеют и дальше как-то тянуть, они устоят, справятся с экономикой.

Почему приходится теперь каяться? Да потому что много раньше надо было оторваться от регулярной советологической жвачки. Вот я сказал выше, что советологи хорошо знают детали. Действительно знают, но редко приподнимаются над ними, обозревают всю совокупность экономических фактов, осмеливаются на широкие обобщения. Несколько лет назад в одном советологическом журнале была опубликована статья одного из самых известных специалистов, где он писал о «периоде зрелости» советской экономики с

широкими обобщениями, но это редкое исключение, не говоря уже о сомнительности самого тезиса. Вряд ли я приведу ниже какие-то новые, не известные специалистам факты, я попытаюсь лишь рассмотреть их в совокупности.

Не стоило мне также равняться на советологов еще и по той причине, что они ужасно горды употреблением западных экономических теорий. Я не отрицаю эти теории огульно, хотя они плохо выдерживают проверку современной нам экономической практикой в западных странах. Но к советской экономике они явно не подходят, они недостаточно универсальны, чтобы в одно и то же время удовлетворительно объяснять реалии и западных экономик, и принципиально отличной от них советской экономики. Большинство советологов не видят этого, основывают свои выводы на неподходящих теоретических построениях и часто попадают в полный просак¹*

И, разумеется, еще одна гордость советологов — их «сбалансированные воззрения» — часто оказываются на поверку недостатком, а не достоинством. Нет, нет, я отнюдь не против объективности, я безусловно за полное рассмотрение всех про и контра. Но многие ученые и журналисты переходят здесь опасную грань, смещают пропорции, незаметно для себя уравнивают, скажем, значительные «за» и мелкие, пустячные «против». К тому же стремление во всех случаях дать сбалансированную позицию превращается часто в самоцель.

Я уже имел случай в этом журнале, не согласившись с формой (скорее даже с тоном) «Носорогов» В. Максимова, целиком поддержать его тревогу по поводу позиций либеральной интеллигенции. Кажется, что часто эти позиции как раз и вызываются вот такой нарочитой объективностью, объективностью ради нее самой, а не ради Истины. Это же случается и со многими оценками советской экономики. Слушаешь

* Примечания — в конце статьи.

(читаешь) — иногда и думаешь: вроде бы все верно он (она) говорит, но когда переходит к выводам, то столько скажет «с одной стороны» и «с другой стороны», что в конце концов избежит более или менее определенного заключения. И объективность (ученость) свою продемонстрировал, и не рискует ошибиться в предсказаниях, так что получается по-одесски — наверное может быть, но безусловно вряд ли.

I

Трудности советской экономики отнюдь не новость, о них и в советской печати много говорилось и говорится. Вспомните, например, как лихо критиковали экономику в печати в конце 50-х — начале 60-х годов. Иностранных наблюдателей удивили опубликованные в ноябре 1979 и октябре 1980 гг. невеселые речи Брежнева. Но мы-то знаем, что такие же речи произносятся лет 15 подряд и такие же признания в них нам были известны.

Попробуем кратко подытожить состояние дел, рассмотрим его сначала по отраслям народного хозяйства.

Сельское хозяйство. Грубо говоря, в стране должна производиться примерно 1 тонна зерна «на душу населения». Сравнительно небольшая часть идет на хлеб и другие продукты, а основная на семена (тем больше, чем ниже урожайность) и на корм скоту, много зерна теряется. Если произведено меньше 1 тонны на душу, то мяса не хватает. Вот три ряда чисел²:

Год	Население, млн. чел.	Производство зерна, млн. тонн	Произв. мяса (в убойн. весе), млн. тонн
1913	159	86	5,9
1940	194	69	4,7

Год	Население, млн. чел.	Производство зерна, млн. тонн	Произв. мяса (в убойн. весе), млн. тонн
1945	?	47	2,6
1960	212	125	8,7
1965	232	121	10,0
1970	242	187	12,3
1975	253	140	15,0
1978	260	237	15,5
1979	262	179	15,5
1980	266	189	15,0

Конечно, для полного анализа этих данных недостаточно, надо бы привлечь и числа об экспорте (в 1913 г.) и импорте зерна, а также мяса и всякие другие числа, но грубую картину мы тут имеем³. С 1913 по 1979 г. производство зерна возросло в 2, а мяса в 3 раза, однако легко подсчитать, что на душу производство возросло соответственно на 20% и в 2 раза. И мы видим, что никогда производство зерна не достигало заветной 1 тонны на душу населения, из-за чего и приходится закупать его за границей даже в урожайные годы.

Еще в 1970 г. на научном семинаре нам поведали, что к 1980 г. потребности населения в мясе не будут удовлетворены. Как же так, — спросили мы, — ведь намечены огромные вложения в сельское хозяйство, ведь 10 лет впереди, неужто ничего сделать нельзя? Нет, — твердо сказал докладчик, — существенно расширить посевные площади и поднять урожайность не удастся, сбор зерна несколько увеличится, но его не будет хватать. И не хватает. Посевные площади не увеличились, урожайность почти не выросла.

В только что опубликованных «Основных направлениях» нового пятилетнего плана на 1981-85 гг. предусмотрено среднегодовое производство зерна в 240 млн. тонн. Понятно, что план завышен: даже в ре-

кордном 1978 г. собрали несколько меньше, чем намечено в среднем на все пятилетие, а неурожай наверняка будут и в новой пятилетке. Но даже при выполнении плана — до 1 тонны на душу населения остается значительная дистанция. Так что и через 5 лет мяса будет мало.

В целом сельское хозяйство с 1913 г. существенно выросло (в особенности производство сахарной свеклы, хлопка, яиц) при сокращении сельского населения с 131 до 98 млн. чел. Однако нет никаких сомнений, что без колхозов и совхозов (так и просится называть их колбезхозами и совбезхозами) оно было бы куда более успешным. Вот элементарный факт. В стране имеется 553 млн. гектаров сельскохозяйственных угодий, из них в личном пользовании колхозников находится 4,2 млн., а рабочих и служащих (в том числе работников совхозов) — еще 3,7 млн. гектаров, то есть примерно 1,5% от всех угодий [237]. И вот на этих-то клочках земли, практически без всякой механизации, без искусственных удобрений, производится что-то около четверти или даже трети всей сельскохозяйственной продукции⁴.

При Сталине из деревни качали все возможные и невозможные соки. Никак не скажешь это про последние десятилетия — сюда направляются машины и материалы, капитальные вложения достигли пятой части от всех капиталовложений по всему народному хозяйству [367]. Кроме того, государственный бюджет ежегодно тратит многие десятки миллиардов рублей на покрытие убытков сельского хозяйства⁵. А результат пшиковый.

Чего только не пробовали, как только не исхитрялись. После Сталина отменили «палочки» за трудодни, меняли налоги, установили гарантированную денежную оплату, ликвидировали МТС, учреждали сельскохозяйственные производственные объединения вместо райкомов партии, осваивали целину, осушали и

увлажняли, вводили, ликвидировали и восстанавливали травопольные севообороты, сеяли кукурузу, провели бесчисленное количество пленумов ЦК КПСС, укрупняли колхозы и переводили их в совхозы. И направляют все возрастающие средства. Словом, практически уже все попробовали, объявленная недавно с большим шумом специальная «продовольственная программа» по сути дела ничего нового не представляет. И таким образом экспериментально доказали: путей для улучшения работы сельского хозяйства нет. Значит, и надеяться на это не приходится, значит, продовольственная проблема будет становиться все острее.

Промышленность. В отличие от несчастного сельского хозяйства промышленность всегда была особой гордостью советских правителей. С 30-х годов она стремительно росла, были созданы десятки новых отраслей, тысячи крупных и гигантских предприятий, здесь работает теперь под 40 млн. чел., в основном высококвалифицированных рабочих и инженеров. Именно благодаря такому бурному промышленному росту страна стала мощнейшей военной державой. Всё же следующие факты заслуживают самого пристального внимания.

Во-первых, официальные показатели роста промышленности явно преувеличены. Скажем, не мог общий объем промышленного производства вырасти с 1940 года в 20 раз [43]. Явно завышены также и сравнительные оценки, невозможно поверить, что советская промышленность производит более 80% от того, что производит американская промышленность, хотя в такую чепуху верят многие западные эксперты⁶. Однако даже эти завышенные официальные данные демонстрируют сильную тенденцию к снижению. Вот числа⁷:

Годы	На сколько процентов вырос объем промышлен. производства за это время
1946-50	81
1951-55	85
1956-60	64
1961-65	51
1966-70	54
1971-75	43
1976-80	25
1981-86 [план]	27

Как видим, происходит резкое снижение темпов, причем особенно сильно они упали за последние годы. Не от хорошей жизни на новую пятилетку планируют весьма скромный рост, причем совершенно понятно, что и это не состоится (см. ниже).

Во-вторых, основным источником развития промышленности долго были так называемые экстенсивные факторы, т. е. постоянный приток новых рабочих рук и громадные капиталовложения в строительство новых предприятий. К ним же следует отнести колоссальные, удобно расположенные природные ресурсы. Теперь же ни на существенный прирост рабочей силы, ни на увеличение капиталовложений рассчитывать не приходится (также см. ниже), резко ухудшилось дело с природными ресурсами. То, что лежало поближе к поверхности и к основным промышленным районам, то, что было наилучшего качества, уже израсходовано. Приходится копать (бурить) глубже, перерабатывать больше, возить дальше. Приходится все больше зарываться в Сибирь, а это много труднее и много дороже⁸.

В-третьих, постоянно и быстро росло производство так называемых средств производства, а не того, что люди используют сами. Если в царской России производство средств производства в промышленности (знаменитая «группа А») составляло треть, а дру-

гие две трети составляло производство предметов потребления («группа Б»), то за последние 15 лет группа А составляет три четверти, а группа Б — лишь четверть от всего объема промышленного производства [136]. Правда, в группу А входит и производство военной продукции, но все же в целом промышленность работает главным образом «сама на себя»; тот факт, что три четверти ее продукции не идет в потребление, является, может быть, самым ярким свидетельством ее глубокой неэффективности⁹.

Еще одним также ярким свидетельством является, в-четвертых, постоянная зависимость промышленности (так же как и других отраслей) от зарубежной техники и технологии. Мощный подъем в 30-е годы состоялся на базе импорта американской и европейской техники, были приглашены тысячи иностранных специалистов. Масса оборудования была получена по ленд-лизу и вывезена из Германии после войны. Новое впрыскивание состоялось в 70-е годы как результат детанта.

Говорят, что советская наука не так уж сильно отстает от западной и что беда в плохом, медленном внедрении. Насчет внедрения это очень верно, но есть сомнения и насчет самой науки. Численность научных работников в СССР составляет четверть всех научных работников мира [104], на науку расходуется почти 5% всего национального дохода [405, 555], а по числу Нобелевских премий на душу населения СССР занимает последнее место среди всех 20 стран, граждане которых такие премии вообще получили¹⁰. Трудно провести соответствующие измерения, но создается вполне определенное впечатление, что по многим отраслям промышленности техническое отставание СССР не сокращается, а нарастает.

Другие отрасли. Ограниченный журнальными рамками, очень коротко скажу, что в других отраслях народного хозяйства дела обстоят не лучше. Транс-

порт — постоянное «узкое место», которое все более сужается. Что говорить, когда в Сибирь не идет ни одна автомобильная дорога с твердым покрытием, когда в деревнях царит практическое бездорожье, когда грузы на железнодорожных станциях и в портах ждут отправки долгими месяцами, когда пресловутый БАМ, объявленный «всемирной» стройкой, строится много медленнее, чем строили железные дороги в конце прошлого века в царской России¹¹. Советский пассажирский авиатранспорт зависит от погодных условий неизмеримо больше, чем западный, газеты переполнены горькими жалобами на обслуживание железнодорожных пассажиров, крупнейшие автозаводы пришлось строить на иностранном оборудовании, морские суда заказывают за границей.

По общему признанию, одной из главных причин этого является систематический недостаток капиталовложений в транспорт, но на их увеличение не приходится уповать.

Постоянно нам твердили: «страна-стройка». И, правда, по улицам не пройдешь, нет завода, где бы хоть что-то не строилось или не перестраивалось. В строительстве (без промышленности строительных материалов) занято 10% всего числа рабочих и служащих в народном хозяйстве [388], но ведется строительство безобразно, другого слова не подберешь. Качество отвратительное, сроки всегда и намного нарушаются¹², начинают и бросают, стоимость стремительно растет¹³.

Очень трудно сказать что-то особенное относительно *торговли*, читатели и без меня знают, что она несравнима с западной, а также с восточной. Дело не только в катастрофическом недостатке товаров, но и в одновременной (при таком недостатке) неразвитости торговой сети, в элементарном бескультурье (во всех смыслах) обслуживания, отсутствии простейшей механизации и т. д., и т. п. Как экономист обращаю внима-

ние на одну вещь. В СССР, если не учитывать различных косвенных налогов и других фокусов с ценами, так называемая торговая наценка (то есть то, что добавляется к оптовой цене) составляет 3-7% от продажной (розничной) цены, в Америке же она приближается к 100%. Вообще говоря, этот факт можно толковать так: платит в конце концов покупатель, и на Западе он сильно переплачивает. В каком-то смысле это действительно так, но, с другой стороны, мы платим за удобства: отсутствие очередей, несметный выбор, возможность вернуть неподошедшее. И, тоже важно, мы можем себе позволить платить! Я не идеализирую западную торговлю, я просто хочу сказать, что если бы даже в СССР хватало товаров, то торговля работала бы еще хуже, уровень ее развития потрясюще низок.

Можно длить этот печальный список — лесное хозяйство соревнуется своими неудачами с сельским, городское население имеет мало телефонов, а сельское не имеет их совсем, трамваи и троллейбусы берут с бою и т. д. Я не берусь назвать отрасль, в которой все было бы в порядке, которая действительно справлялась бы со своими задачами. Ни одной.

II

Нельзя не сказать хотя бы коротко о военных расходах. Западные наблюдатели обычно сильно их преуменьшают — в частности, ЦРУ долгие годы свято верило официальным советским показателям по этому поводу. Но даже когда в середине 70-х годов ЦРУ увеличило свои оценки вдвое, они все еще, по-моему, «не добрали». Дело тут даже не в самих абсолютных показателях — вопрос этот сложен и довольно спорен, а в том, что экономисты ЦРУ и другие специалисты явно преуменьшают *долю* военных затрат в советском

национальном продукте. У них получается, что эта доля составляет порядка 11-13%, а из этого следует, что тяжесть военной ноши не так уж безумно велика, что это бремя более или менее терпимо. Это, конечно, не имеет ничего общего с действительностью. Читателей этого журнала вряд ли надо убеждать, что советские военные расходы чудовищны по своей величине, что именно в военных отраслях сосредоточены лучшие силы и средства, что это первый и самый главный приоритет, что денег здесь почти не считают.

В связи с нашей темой нас, разумеется, прежде всего интересует влияние военных расходов на текущее экономическое положение и на ближайшие экономические перспективы. Что касается первого, то ясно, что экономика развивалась бы быстрее, люди жили бы много лучше, если бы военные расходы были меньше. Была ли такая возможность, можно ли было тратить на вооружение меньше без угрозы безопасности страны? Проклятый вопрос, но его надо ставить, надо пытаться на него ответить.

Не буду дебатировать — есть ли угроза СССР со стороны западных стран и в том числе Америки? Ответ представляется более чем очевидным, но нельзя запретить советским руководителям иметь по этому поводу собственное мнение, хотя и здесь надо сказать: неплохо было бы им проконсультироваться по этому поводу с собственным населением. Куда более труден вопрос о «китайской угрозе». Хотя все западные специалисты единодушны: сегодня Китай не опасен СССР, — нельзя ничего гарантировать насчет страны с миллиардным населением и тоталитарным режимом. Поэтому никто и не говорит, что СССР должен распустить армию и не тратить на вооружения ни копейки.

Однако можно и нужно указать, по крайней мере, такие вещи. Прежде всего СССР систематически ввязывается в различные военные предприятия по всему

глобусу. Оружие и военные инструкторы предоставлялись Корее, Вьетнаму, Кубе, Египту, Ираку, Сирии, Сомали, Эфиопии, Анголе и т. д. Действительно ли соответствующие многомиллиардные траты вызывались стратегическими интересами страны, ее народа?! Учтем при этом, что эти предприятия всегда усиливали международную напряженность, вели к убыстрению гонки вооружений, т. е. опять-таки вели к новым колоссальным затратам.

А зачем были потрачены немислимые средства на строительство мощнейшего морского флота? Отнюдь не для защиты советских границ, дорогие эти игрушки бороздят воды Средиземного моря и Индийского океана. Опять-таки никто не говорит, что стране вообще не нужен военно-морской флот, речь идет о пропорциях, о том, что советский флот сегодня никак не назовешь средством защиты, обороны.

Не будем говорить об Афганистане, вторжение в который, используя слова Талейрана, было больше, чем преступлением, это было ошибкой и притом очень дорогой ошибкой. Значение вторжения в Афганистан надо рассматривать на общем фоне американо-советских отношений и переговоров об ограничении стратегических вооружений. В начале прошлого десятилетия начались маневры вокруг детанта, было подписано соглашение ОСВ-1, начались переговоры об ОСВ-2, появилась ясная возможность сократить военные расходы. И Америка сократила их: со 100 млрд. долларов в 1968 г. они упали к 1976 г. на треть — до менее 66 млрд. долларов, и процент военных расходов от национального продукта упал почти в 2 раза¹⁴. А советские правители, как раз наоборот, их резко подняли. Правда, по официальным данным, они остаются неизменными вот уже более 10 лет, но всерьез в это верить не приходится — по всем оценкам, советские военные расходы очень существенно возросли за этот

период, разногласия существуют лишь относительно размера возрастания¹⁵.

Этот акт советского руководства непростителен. Дело не только в том, что, направив на непроизводительные цели огромные средства, они нанесли вряд ли поправимый удар собственной экономике — среди причин замедления ее роста чудовищные военные траты занимают не последнее место. Дело также и в том, что, потратив так много средств, «перетратив» Америку, они бросили вызов, который был немедленно подхвачен. Военные расходы Америки снова резко поднялись, начался новый раунд гонки вооружений. Даже для богатой Америки этот новый раунд труден, хотя и терпим; для СССР он будет много тяжелее, правителям придется опять затягивать пояс на животах собственных граждан¹⁶.

III

Я уже сказал выше, что народное хозяйство в целом и промышленность в особенности развивались за счет экстенсивных факторов. К ним, в первую очередь, относится численность рабочей силы. Вот соответствующие данные о числе рабочих и служащих по народному хозяйству СССР¹⁷:

Год	Численность рабочих и служащих, млн. чел.	Прирост за пятилетие, млн. чел.
1945	28,6	
1950	40,4	11,8
1955	50,3	9,9
1960	62,0	11,7
1965	76,9	14,9
1970	90,2	13,3
1975	102,2	12,0
1980	113,0	11,8
1985 [план]	116,0	3,0

Обратим внимание, как резко изменяется ситуация: в прошлом каждые 5 лет численность рабочей силы возростала более, чем на 10 млн. чел., что являлось основным источником роста экономики¹⁸, но в текущей пятилетке прирост будет почти в 4 раза меньше, чем в предыдущей.

Уже само по себе такое резкое снижение прироста рабочей силы¹⁹ будет иметь очень серьезные последствия, но это еще не все. Во-первых, очень значительная часть всего прироста пойдет в так называемые непроизводительные отрасли хозяйства, главным образом — в сферу обслуживания, т. е. эти люди не будут участвовать в увеличении выпуска продукции. Во-вторых, основная часть прироста рабочей силы придется на среднеазиатское и азербайджанское село, мусульманское население которого крайне неохотно переселяется в города и еще менее охотно двигается из своих республик. Таким образом, в РСФСР, на Украине и в Белоруссии, где производится подавляющая масса промышленной продукции, прироста численности рабочей силы в этой пятилетке практически не будет, а в следующей пятилетке ее численность даже снизится.

В-третьих, такое положение с рабочей силой могло бы как-то компенсироваться ростом производительности труда, той самой, которую Ленин вполне справедливо характеризовал как самое важное для победы одного общественного строя над другим, но здесь дела тоже плохи. Вот числа²⁰:

Годы	Рост производительности труда в промышленности, в процентах
1951-60	104
1961-65	26
1966-70	32
1971-75	34
1976-80	18
1981-85	18

Как видим, уже в последней пятилетке рост производительности труда был очень низким, и в текущей пятилетке планируется такой же скромный ее рост. Надо при этом отметить, что по ряду причин есть серьезные основания считать, что показатели за 1976-80 гг. завышены²¹, а план по росту производительности труда в текущей пятилетке наверняка не будет выполнен.

За счет чего, собственно, растет производительность труда? Имеется несколько факторов, рассмотрим важнейшие из них.

Очень существенна в этом отношении квалификация кадров, и она возрастает. Не менее существенно желание людей работать лучше, производительнее, а вот тут-то дело обстоит очень плохо. В сталинские времена людьми двигал страх, кнут, заменил его «пряник», который до поры до времени более или менее действовал, а теперь перестал. Из-за инфляции, громадных денежных накоплений (которые люди не могут использовать, об этом ниже) пропал интерес к более интенсивной, более производительной работе. Несмотря на то, что именно в СССР несравненно шире, чем на Западе, используется сдельная оплата труда, люди, не имея надлежащего интереса, работают кое-как, и качество их работы скорее ухудшается, чем улучшается. Добавим к этому жуткий алкоголизм. В целом никак не приходится рассчитывать на этот фактор.

Очень важный фактор — улучшение общественной организации производства, лучшее распределение ресурсов, прогрессивные изменения отраслевой структуры и т. п. Здесь шансов на улучшение едва ли не меньше. С ростом экономики управление ею становится более громоздким, менее эффективным.

Во многом решающей в современных условиях является автоматизация производства, внедрение новых машин и технологических процессов, то, что на-

зывается научно-техническим прогрессом. Я уже подчеркивал сомнительность тезиса о больших достижениях советской науки, но, с другой стороны, страна сильно отстала, она далеко не использует и то, что сделано собственной наукой и, тем более, зарубежной. Таким образом, казалось бы, именно здесь могут быть достигнуты впечатляющие результаты, но и на это не приходится рассчитывать. Дудинцевское «Не хлебом единым» было опубликовано четверть века назад, но внедрение новой техники и различных новинок не стало с тех пор лучше, никто в этом по-настоящему не заинтересован.

И последнее по счету, но не по важности — капиталовложения. Они необходимы и для простого расширения производства, и для подъема его технического уровня. А их объем начал, по сути дела, снижаться.

В целом страна тратит на эти цели уникально много, более четверти всего производимого в стране национального дохода [406]. Хотя прямые сравнения тут невозможны из-за различий методологии, все же ни одна западная страна даже близко не подходит к такому высокому удельному весу капиталовложений в национальном продукте. Уникально также, что подавляющая часть этих огромных средств направляется не на удовлетворение потребностей населения, а на производственные нужды²². По меньшей мере спорно — благотворны ли были такие громадные капиталовложения в прошлом, даже в советской печати проскальзывает деликатно выраженные сомнения в этом, но становится все более ясно, что сегодняшний их уровень вызывается прежде всего их глубокой неэффективностью, тем простым и трагичным обстоятельством, что на них тратятся чудовищные средства²³, а результаты несоразмерно малы. Вопрос этот довольно специален, и мне трудно здесь приводить соответствующие подсчеты и рассуждения, просто скажу, что

о продолжающемся падении эффективности капиталовложений давно уже открыто пишут в советской экономической литературе со всеми необходимыми выкладками.

Что, собственно, это падение означает? То, что для получения того же самого эффекта, для поддержания прежних темпов роста экономики надо все время увеличивать сумму капиталовложений. Однако уже в течение большей части 70-х годов уменьшался их абсолютный прирост и началось заметное уменьшение относительного прироста, общая сумма растет очень медленно, план на следующую пятилетку предусматривает рост всего на 12-15%, что много меньше, чем когда-либо в советской истории.

Оперируя официальными данными, я не подвергал их выше серьезной критике, в частности, потому, что если даже им полностью доверять, результаты все равно получаются достаточно неутешительными. Однако здесь я должен сказать, что данные о капиталовложениях даже на общем фоне советской статистики слишком сомнительны. Не в том смысле, что на них тратится меньше, — как раз это, по всей видимости, более или менее верно. А в том, что показатели динамики капиталовложений сильно завышают их реальную отдачу, так называемые физические объемы строительства и других видов экономической активности, ими оплачиваемые. Иначе говоря, если, например, по статистике выходит, что общий объем капиталовложений в «сопоставимых» ценах был в 1975 г. 113 млрд. рублей, а в 1979 г. — 131 [363], то из этого отнюдь не следует, что реальные объемы того, что было совершено, выросли на 16%. Прежде всего, даже по официальным данным «ввод в действие» вырос за это время примерно на 13% (остальное пошло на увеличение «незавершенного строительства»). Все же более существенно, что, как можно судить по различным косвенным данным и признакам, здесь явная фикция:

затраты на капиталовложения растут настолько быстрее, чем их результаты, что можно уверенно утверждать: уже в прошлой пятилетке начался процесс постепенного сокращения прироста основных фондов народного хозяйства. Или, иначе говоря, при продолжающемся некотором росте затрат на капиталовложения их реальные результаты начали уменьшаться. Или, еще иначе говоря, чтобы восстановить рост ввода основных фондов в народное хозяйство, потребовалось бы намного увеличить общий объем затрат на капиталовложения.

Еще один важный момент заключается в том, что резко возросла доля капиталовложений, направляемых на замену выбывающих основных фондов, и соответственно сократилась их доля на создание новых. Прямые расчеты здесь затруднительны, но, очень грубо говоря, если 15 лет назад примерно 16% всех капиталовложений направлялось на замену выбывающих фондов, то сейчас — не менее 30% [365, 552]. По ряду свидетельств, особенно велика эта доля в сельском хозяйстве: до 80% всех машин, поставляемых сельскому хозяйству, идут на замену выбывающих.

Общий вывод из всего этого непреложен — несмотря на то, что капиталовложения поглощают громадную часть национального продукта, они более не обеспечивают рост народного хозяйства.

IV

Совсем коротко о внешней торговле. Может быть, именно она может существенно помочь? Растут ее объемы довольно быстро, что само по себе вполне хорошо. Внешняя торговля, основанная на международном разделении труда, обычно взаимовыгодна, хотя в случае с СССР это далеко не всегда ясно — из-за выключенности рубля из международных валют-

ных рынков, его изолированности крайне трудно, если вообще возможно, провести соответствующие измерения, соизмерить плюсы и минусы, судить о степени выгоды. Я уже как-то писал в этом журнале, что государство зарабатывает на внешней торговле десятки миллиардов рублей в год, частично затыкая тем самым зияющую дыру в бюджете. Но в то же самое время страна имеет громадный долг в 20 с лишком миллиардов долларов.

Вне зависимости от способа подсчета валютных результатов, очевидно, что внешняя торговля существенно необходима. Прежде всего, именно через нее в страну идет возрастающий поток таких технических средств, которые не удастся произвести самим, и тем самым частично сглаживается научно-техническое отставание. Из-за границы ввозится много зерна. Поступает также научное оборудование, много потребительских товаров. Все бы хорошо, но за импорт надо платить. Чем? Экспортом, продажей золота, за счет «неторговых» операций и залезая в долг.

Недавний скачок мировых цен на золото сильно помог СССР, но потом цены опять сильно упали. Общие объемы продажи золота (а также алмазов) довольно значительны и, грубо говоря, покрывают около 20% общей потребности страны в «твердой» валюте, в которой и производится торговля с Западом (а также с развивающимися странами). Еще большее значение имеет продажа оружия²⁴, но вместе с продажей золота, а также «неторговыми» операциями (такими, как иностранный туризм и заработки морского флота) она вряд ли дает более половины всей потребности в валюте для внешней торговли с Западом.

Чтобы поддерживать существующий уровень торговли, а тем более, чтобы расширить ее, надо, следовательно, экспортировать. Страна долго была, как говорится, «сырьевым придатком» развитых стран,

продавая лес, пушнину, в 20-е годы — зерно, теперь же — много нефти и немного (пока) газа. Перспектив на существенное расширение продажи на Запад промышленных товаров, в общем, нет. Что касается нефти, то тут дело тоже обстоит не слишком хорошо. За последние годы страна много выиграла от роста мировых цен на нефть, но ее добыча растет медленнее, чем собственные потребности в ней. С известным предсказанием ЦРУ, что СССР к середине этого десятилетия начнет импортировать нефть, соглашаться не приходится, хотя бы по той простой причине, что за этот импорт нечем платить, но не менее ясно, что экспорт нефти на Запад скоро должен прекратиться. Единственная надежда — газ Ямала, и сейчас лихорадочно идут переговоры о строительстве многотысячекилометрового газопровода в Западную Европу. Строится он будет на иностранном оборудовании и за иностранные кредиты, следовательно, первые годы поставками газа будут покрываться долги.

Трудно здесь оперировать точными числами. Например, неясно, как быстро будут расти в ближайшем будущем мировые цены на газ, — все же в целом можно уверенно утверждать следующее: в лучшем случае стране удастся более или менее поддерживать текущий уровень внешней торговли с Западом, для ее существенного расширения нет реальных возможностей. Не потому, что Запад не хочет торговать (увы, многие хотят²⁵), а потому, что нечего продавать.

Таким образом, нет реальных перспектив на решительное улучшение дел в советской экономике с помощью внешней торговли.

V

Пора обратиться к самому, пожалуй, чувствительному вопросу — жизненный уровень населения. Он

одновременно и чрезвычайно важен для всего нашего анализа, и едва ли не самый сложный, хотя на поверхности выглядит, может быть, простым. Сложность прежде всего — в препятствиях для различных суммарных измерений и соизмерений. Более или менее можно определить, скажем, насколько больше (меньше) потребляется мяса на душу населения сейчас, чем столько-то лет раньше или же чем в некоторых иных странах²⁶, но уже выразить в числах, насколько именно советское население питается хуже (лучше), практически нельзя, тут возможны лишь некоторые косвенные оценки. Еще более сложно включить в сопоставительные суммарные расчеты одежду, жилища, личные автомашины и многое другое, что и образует жизненный уровень.

Простота проблемы для неспециалиста оправдывается во многих отношениях тем, что его личные ощущения играют вполне важную роль. Это тем более так, что абсолютные измерения уровня жизни бессмысленны, этот уровень всегда должен с чем-то сравниваться. Неспециалист и сравнивает с тем, как он сам жил раньше, как живет его сосед и начальник, как живут, по его мнению, за границей. Но он оперирует при этом «качественными» оценками типа «получше», «намного хуже» и т. п., а экономисту надо давать числа.

Эти оговорки сделаны не для того, чтобы избежать всяких оценок, но чтобы, предваряя критику, сказать: я и сам вижу их условность и труднодоказуемость, хотя, надеюсь, грубо они верны.

Довольно распространено мнение, что советским правителям вообще наплевать на благосостояние населения. Думаю, что это не совсем так, но к делу это мало относится. Вне зависимости от своих личных желаний и предпочтений, советское начальство должно заниматься жизненным уровнем. Лишь в условиях жесточайшего террора Сталину удалось провести кол-

лективизацию, индустриализацию и милитаризацию страны за счет жизненного уровня (мы выше видели, что при росте населения мяса производилось меньше, а зерна много меньше, чем в 1913 г., известно, что жилищное строительство почти не велось, и т. д.). Наследники Сталина, добиваясь поддержки населения, пытались несколько сместить приоритеты: они сначала несколько уменьшили военные расходы, чуть уменьшили другие затраты, и с тех пор почти в течение четверти века жизненный уровень поднимался. С крайне низкой точки — в 1953 г. он был буквально нищенским для большинства, а в особенности для деревни — и медленно, но, по сути дела, именно этот процесс и обеспечил режиму поддержку масс.

Я знаю, что тут со мной не согласятся многие, все же мое мнение, основанное на поездках по всей стране, на сотнях разговоров, на наблюдениях друзей и коллег, таково. Большая часть населения политически индифферентна, немалая часть едва терпит, однако большинство политически активных людей поддерживало режим. Понятно, что немалое значение имеет отсутствие альтернатив и результат действия лучшего детища режима — пропагандистской машины, — но подъем жизненного уровня тут едва ли не самый существенный элемент. Крайне трудно сказать, насколько именно поднялся жизненный уровень²⁷, но несомненно, что улучшились жилищные условия²⁸, вошли в повседневный быт телевизоры и холодильники, расширилась продажа автомашин²⁹, улучшилось питание³⁰, люди стали несравненно лучше одеваться и т. д. Понятно, что этот процесс не был «гладким», он протекал по-разному в разные периоды, в разных районах и для разных групп населения.

Все же наиболее существенны для характеристики как этого процесса, так и сложившейся в его результате ситуации, следующие моменты.

Во-первых, как я уже сказал, важен не столько сам абсолютный уровень потребления (стандарт жизни), сколько его динамика. И не менее важны другие, не-динамические сравнения. Но при всем при том много более важно то, что я называю «ножницами», то есть разница между потребностями и степенью их удовлетворения. На протяжении всей человеческой истории стандарт жизни поднимался, но никак не скажешь, что современный человек доволен своим материальным положением больше, чем его неисчислимы предки: не менее быстро, чем потребление, росли и потребности, желания людей. Не отвлекаясь на исторические параллели, скажу, что этот процесс можно наблюдать и для рассматриваемого периода. Более точно говоря, как мне кажется, ножницы начали несколько сдвигаться в начале рассматриваемого периода, но постепенно положение стало меняться. Желания людей, их конкретные потребности в нормальном жилье и нормальном питании, в красивой удобной одежде, в таких элементарных вещах, как стиральная машина, которая действительно стирает автоматически, а не полоскает белье, в личном телефоне и т. д. росли и осознавались быстрее, чем эти потребности удовлетворялись, то есть ножницы начали все сильнее раздвигаться.

Во-вторых, из-за преступно-безграмотной политики властей население теперь имеет чудовищные накопления в различных формах (в сберкассах, в кубышках, в облигациях), и чудовищность этих накоплений расстраивает торговлю, подрывает последние стимулы к подъему производительности труда, к перемещению рабочей силы в те районы и отрасли, где она более всего нужна. Крайне серьезно также, что власти практически вынуждены забрать эти накопления (как минимум надолго «заморозить» их), что неизбежно вызовет взрыв массового недовольства³¹.

В-третьих, в последние годы рост жизненного уровня практически остановился. Правда, по официальной статистике это не так [406], но здесь мы опять не должны верить ей, тем более, что она легко опровергается другими официальными показателями³².

Все же наиболее важное, в-четвертых, заключается в том, что не видно перспектив на восстановление роста жизненного уровня. Источником такого роста может быть подъем производительности труда и, следовательно, увеличение объемов производства, в частности, в сельском хозяйстве, но мы уже видели выше — на это нет надежд. Другим источником улучшения жизни людей могли бы быть глубокие структурные преобразования экономики, в особенности сокращение военной промышленности, но на это тоже не очень приходится рассчитывать.

Поскольку мы оперируем средними цифрами, сам факт остановки роста уровня жизни необходимо означает, что этот уровень для определенных групп населения уже ухудшился. Так, те, кто не крадет и не имеет «дополнительных» к зарплате доходов, фактически уже потребляют меньше из-за роста цен и все более полного исчезновения из торговли дешевых товаров. Этот процесс снижения жизненного уровня будет неизбежно продолжаться, захватывая все более широкие круги населения. Очень сильным ударом будет также неизбежное изъятие властями денежных накоплений.

Не хочется употреблять громких и торжественных слов — все же приходится сказать: именно доказанная более чем полувековой практикой неспособность режима обеспечить собственному народу более или менее достойную материально жизнь, его очевидное бессилие в этом является самой глубокой причиной его (режима) недолговечности, его неизбежного будущего падения. Не американские империалисты и сионисты, не диссиденты и даже не пекинские марксисты, а соб-

ственная экономическая система является злейшим врагом режима, врагом, который в конце концов его разрушит.

VI

Не думаю, что я написал выше нечто принципиально новое, да я и не стремился быть оригинальным. Почему же все-таки я делаю из всего этого такие мрачные выводы, и почему, в особенности, я делаю их именно сейчас? В чем, собственно, состоит примечательность, как когда-то говорилось, текущего момента, куда именно этот момент течет?

Основное заключается в том, что развитие экономики, ее движение вперед если еще не остановилось, то вот-вот остановится. Приведу еще один ряд чисел, на этот раз характеризующий все народное хозяйство в целом:

Годы	Рост национального дохода за пятилетие, в процентах ³³
1941-45	—20
1946-50	200
1951-55	83
1956-60	54
1961-65	37
1966-70	45
1971-75	31
1976-80	22
1981-85 [план]	19

Нас уже не удивляет, что рост национального дохода, то есть всей экономики, так стремительно падал и дошел до низкой величины. Однако приведенные показатели, в особенности последние из них, заслуживают подробного обсуждения.

Прежде всего, в очередной раз заметим, что мы используем официальные данные, которые не заслуживают полного доверия. В частности, есть полное основание полагать, что они завышают реальные темпы развития экономики, в том числе фактически имевшие место в последней пятилетке. У меня нет четких доказательств, и поэтому я избегаю давать здесь точное число, но наверняка в 1976-80 гг. прирост национального дохода был существенно ниже, чем 22%³⁴.

Тем меньшего доверия заслуживают планируемые на 1981-85 гг. показатели, хотя, заметим это, они планируются меньшими, чем когда-либо. Учтем при этом, что никогда план на пятилетку по этому показателю не был выполнен. Не менее существенно, что, как я старался показать выше, нет никаких причин для роста национального дохода: численность рабочей силы едва увеличится, производительность труда вряд ли вообще будет расти. Не забудем также, что мы говорим об абсолютном росте, а в расчете на душу населения дело будет еще хуже. Крайне существенно также, что невыполнение плана по национальному доходу вызовет значительное уменьшение объема капитальных вложений, а это, в свою очередь, еще больше ударит по объемам производства, то есть по самому национальному доходу.

В некоторых обсуждениях я увидел явное непонимание всей важности того, к чему мы пришли, к чему пришла советская экономика. Один экономист заметил мне, что рост даже в 2% в год не так уж плох, если он постоянен, что экономика многих западных стран растет примерно в таком же темпе. Мне пришлось разъяснять по этому поводу многое. И то, что нет надежд на постоянный рост советской экономики даже в таком темпе. И то, что с таким темпом более или менее справляются страны, в которых неизмеримо выше уровень жизни и нет колоссального бремени военных расходов. И что экономика этих стран не

имеет громадных диспропорций — в них уже все более или менее устоялось, наладилось.

В этой связи надо настоятельно подчеркнуть крайне важный момент, который многие забывают. Он заключается в том, что почти все проблемы советской экономики значительно сглаживались, смягчались за счет ее роста. Два примера. Первый — советская экономика всегда работает на пределе, не имеет резервов мощностей, ей всегда не хватает рабочей силы, материалов и т. д. В этих условиях она вообще могла функционировать только в условиях роста. При прекращении роста отсутствие резервов немедленно даст себя знать крайне болезненно, если не разрушительно. Второй — советская экономика резко диспропорциональна, причем ее отраслевая структура весьма нединамична, здесь не происходят резкие структурные изменения (возникновение новых отраслей при исчезновении некоторых старых). И это обстоятельство тоже резко даст себя знать при остановке роста экономики.

Моим оппонентам также трудно понять, о чем идет речь, по той простой причине, что в западной экономике всегда бывают циклы, что хозяйство то развивается быстро, то, во время кризисов, даже переходит на «отрицательный рост», а потом движение вперед восстанавливается. Принципиальное отличие советской экономики от западной заключается в том, что здесь нет причин для циклов, что длительное снижение темпов развития имеет здесь *необратимый характер*.

Мне довелось видеть отчет двух служащих Конгресса США об их командировке в Москву в декабре 1980 г. Там их всячески заверяли, что трудности с начинающейся пятилеткой — временные, что уже в следующей пятилетке они (трудности) будут преодолены. Это, конечно, чепуха. Нет реальных причин, которые могли бы исправить положение даже через 5 лет, тем более, что в конце десятилетия начнется

прямое уменьшение численности населения в рабочем возрасте и что уменьшение капиталовложений в текущей пятилетке решающим образом предопределяет недостаточное развитие производственных мощностей для следующего пятилетия.

Итак, особенность «текущего момента» заключается в остановке роста экономики, а также, как я писал выше, в остановке роста жизненного уровня. Это настолько серьезно, что советская экономика может не дожить до следующего пятилетия.

VII

Главное возражение против моего вывода таково: советское начальство достаточно хорошо информировано о состоянии дел в собственной экономике, и они не самоубийцы. Поймут они наконец, что необходимы срочные и радикальные меры, пойдут на реформы экономической системы. Давайте обсудим это.

Оговорюсь сначала, что необходимость реформ еще не всем до самого конца ясна, прежде всего, потому, что некоторые не хотят это понять. В ближайшем окружении Брежнева всегда считалось: главное — это поменьше всяких реформ, поменьше волн. Это настроение сформировалось сразу же после «октябрьского переворота», и достаточно неуклонно проводился курс на стабильность. В основе глубокая вера: — всё, в общем-то, в порядке, система работает, надо не метаться, не суетиться, и постепенно все наладится. Эту веру не изменили очевидные экономические неудачи, что видно из характера объявленных летом 1979 г. реформ — по сути дела, ничего особенного они не изменили.

Нежелание реформ во многом связано также и с тем, что тут слишком много неясного. Общее их направление. Их степень. С какой скоростью их про-

водить. Так сказать, политическая цена реформ. И многое другое.

Что касается общего направления, то довольно еще многие вполне искренне думают, что неуспешность экономики проистекает от недостатка элементарной дисциплины. Помню долгий разговор в 1972 г. с директором крупного завода. «Крепкий хозяйственник», член обкома партии, увешан массой побрякушек и довольно интеллигентный человек, ко всему прочему еврей. Он откровенно рассказывал мне (я тогда и сам не знал, что через пару лет эмигрирую) о нелепостях и глупостях, громадных потерях. И уже к концу разговора, как бы подводя ему итог, сказал: «А все отчего? Распустились, дисциплины нет». — «То есть как, — изумился я, — значит, вы за ббльшую централизацию, против реформ?» — «Конечно. Да и судите сами, разве реформа 65-го года хоть что-то улучшила?! Наоборот, ее положительный итог заключается в том, что она продемонстрировала неверность этого направления; теперь совершенно ясно — надо всячески укреплять централизованное, твердое руководство».

Такие настроения — далеко не редкость, и поддерживаются они многими обстоятельствами. Понятное опасение начальников всех рангов — как бы изменения не отразились на них самих. Идеологические причины. Вера в то, что дальнейшее развитие электроники, компьютеризации планирования и управления подведет под действующую систему адекватную ей техническую базу. Страх, что «либерализация экономики» поведет к общей либерализации в стране, создаст для режима непосредственную политическую угрозу.

Трудно, конечно, говорить определенно — все же я думаю, что реальное движение в этом направлении мало вероятно. Если же оно состоится, то экономическое положение наверняка еще более ухудшится. Правда, усиление централизации должно будет сопро-

вождаться общим политическим «зажимом», что поможет как-то справиться с недовольством населения ухудшением жизни, но крайне сомнительно, что в этих условиях режим сумеет долго держаться. Главное — экономика при этом будет неуклонно и быстро разваливаться, что расстроит всю жизнь в стране.

Надо сказать, что «централизаторским настроением» сильно помогает то, что люди не видят ясной альтернативы — неясно, как именно двигаться в противоположном направлении и что это конкретно даст.

Рассматривая это другое направление, надо сразу же отвести крайнюю точку зрения — воссоздание в стране капиталистической экономики. Будучи много лучше советской, западная экономика сама испытывает столь драматические трудности, что никак не может служить образцом для подражания. И, если всерьез принять такой курс, он потребует очень длительных и болезненных усилий. Капитализм без капиталистов — нонсенс, значит, должна появиться национальная буржуазия, а процесс ее создания, так называемое первоначальное накопление, никогда не выглядел привлекательным. Нет людей, умеющих хозяйствовать по-капиталистически, нет соответствующих институтов, нет для этого и многих других условий. Вместе с тем уместно сказать, что, как это ни парадоксально выглядит, само по себе создание капиталистической экономики вполне сочетается с тоталитарной политической властью: капиталистическая экономика существовала и при Гитлере и при Франко.

Практически речь идет о создании некоего гибрида, то есть серьезной модификации существующей экономической системы в сторону ее децентрализации, пробуждения и побуждения инициативы предприятий, резкого усиления стимулов, но при сохранении государственной собственности и, следовательно, при общем государственном руководстве экономикой.

Однако здесь остается очень много неясного, а то, что уже ясно, не очень ободряет.

Что, например, делать с сельским хозяйством? Негодность колхозов и совхозов уже всем ясна. Пока пошли по такому пути. Во-первых, все больше создают подсобных хозяйств при крупных промышленных предприятиях³⁵, но даже при сомнительном предположении, что эти хозяйства успешны, не приходится рассчитывать, что именно здесь выход, — таким образом все сельское хозяйство не преобразуешь. Во-вторых, начали создавать аграрно-промышленные объединения, соответственно в пятилетнем плане весь раздел о сельском хозяйстве назвали «Развитие аграрно-промышленного комплекса». Сама по себе индустриализация, специализация сельского хозяйства вполне благотворна, так сказать, плохого здесь мало. Все же понятно, что на этом пути никак не разрешается проблема создания у людей, работающих на земле, личного материального интереса. Да и советская промышленность — не Бог весть какой образец для подражания.

Итак, результатов это не даст, придется пойти на радикальные преобразования. Какие же? Распустить колхозы и упразднить совхозы? В общем, да, но тут же возникает множество проблем. Как делить среди крестьян имущество колхозов и совхозов, по какому именно принципу? Кто и как будет использовать крупные машины, большие здания (например, скотоводческих ферм)? Можно ли надеяться, что освобожденные от колхозов крестьяне сразу же кинутся на поля, будут их искусно удобрять, в правильные сроки засеивать и убирать урожай лучшим образом? Как именно они будут сбывать урожай?

На эти вопросы можно найти ответы, но в целом ясен ряд вещей. Прежде всего, польский опыт ясно показывает: отсутствие колхозов еще не решает всех проблем, поэтому надо допустить сравнительно круп-

ные хозяйства в деревне, разрешить «эксплуатацию» труда. На это пойти очень трудно, но дело также и в том, что все это не произойдет сразу, необходим длительный мучительный процесс, в ходе которого из сельского хозяйства будут вытесняться неумелые и нерадивые, удачливые будут укрепляться, будут создаваться новые институты, связи, структуры. На это нужны годы, если не десятилетия, а пока что надо каждый день завозить хлеб и молоко в магазины.

Всем этим я отнюдь не хочу сказать, что надо уповать на агропромышленные комплексы и рыскать по миру за зерном. Но надо понять: сразу, вдруг сельское хозяйство не перестроишь, нужны продуманные, подготовленные действия, причем они наверняка не приведут к немедленному всеобщему успеху.

В еще большей степени сказанное относится к другим отраслям народного хозяйства: здесь проблемы рациональной организации еще сложнее из-за необходимо более крупных масштабов, из-за много больших связей предприятий с поставщиками и потребителями.

В одном отношении директор завода, о разговоре с которым я рассказал выше, был прав: реформа 65-го года практически ничего не улучшила. Не улучшила, потому что, хотя и проведенная в генерально правильном направлении, сделала очень мало, продвижение было минимальным и непоследовательным. Поэтому меры нужны очень радикальные, очень решительные, но их немедленный эффект, как мы это видели на примере с сельским хозяйством, может оказаться очень неприятным.

Я пишу это за месяц до XXVI съезда КПСС, на котором ничего не должно произойти, не для того съезды созываются. Однако вскорости, по элементарно-биологическим причинам, к власти в Кремле придет «новая команда», и ей надо будет поспешить что-

то делать, я не для красного словца говорил выше о надвигающейся катастрофе.

Срочные реформы абсолютно необходимы, но как их делать, какие конкретные шаги предпринять? И как объяснить населению, что даже при реформах его жизненный уровень неизбежно снизится, — обещаниями грядущих благ люди сыты уже по горло. Моего совета никто не просил, да и не очень я расположен его давать. Но, размышляя еще и еще о ситуации и о будущем, приходишь к таким, представляющимся очевидными выводам.

1. Чем больше будут оттягиваться реформы, тем в более трудном положении окажется экономика, а следовательно, и страна.

2. Мелкие, малозначные, неструктурные реформы, скажем, такого типа, какие были объявлены летом 1979 г., создают лишь иллюзию руководящей деятельности, ничего по сути не меняя. Они ничего значительного и не дадут.

3. «Совершенствование» планирования, различные организационные перестройки, типа создания новых (ликвидации старых) министерств тоже малозначимы, как это уже было много раз продемонстрировано; пересадки чиновников ничего не меняют.

4. Нельзя исключать возможность прихода к власти в стране деятелей, которые начнут «завинчивать гайки», будут «укреплять дисциплину», усиливать централизацию управления экономикой. Это наверняка еще убыстрит движение к экономической катастрофе.

5. В принципе необходимой представляется «либерализация» экономики, воссоздание частной собственности (хотя бы в некоторых лимитированных размерах и формах), предоставление предприятиям возможности оперировать самостоятельно, вознаграждать их в соответствии с достигнутыми экономическими

результатами. Однако очень неясно, как именно это сделать, какие конкретные меры предпринять.

6. Если (когда) это будет сделано, возникнут чрезвычайные трудности в переходный период: перед тем как стать лучше, вещи будут много хуже. Единственно возможный способ, как я уверен, заключается в том, чтобы одновременно с глубокими реформами экономики кардинально уменьшить военные расходы: сократить армию, переключить основную часть военной промышленности на производство мирной продукции, а научные институты и конструкторские бюро — на работу по научно-техническому прогрессу в гражданской промышленности (и в других отраслях) и по созданию новых потребительских товаров.

7. Во всех случаях у советского населения нет никаких шансов на улучшение материального положения в близком будущем. Во всех случаях у него заберут (как минимум — частично) денежные накопления, снабжение продовольствием просто не может стать существенно лучше, примерно так же обстоит дело с жилищным строительством и промышленными товарами. Если глубокая либерализация экономики будет быстро проведена, то некоторые результаты ее население начнет ощущать лишь через несколько лет.

8. У нас нет серьезных оснований судить о возможной успешности советской экономики даже при условии ее радикального изменения. Вернее говоря, безусловно, что при правильных мерах она должна «ожить», работать более продуктивно, но, насколько это «более» будет действительно велико, будет соответствовать все расширяющимся ножницам «потребности-удовлетворение», просто невозможно сказать.

Я вообще настроен довольно пессимистично насчет, так сказать, экономического будущего мира. Единственная надежда, которая брезжит на горизонте, — овладение неисчерпаемыми энергетическими ресурсами атома.

Но, пока это будет сделано, любая экономика будет испытывать возрастающие трудности, и вопрос лишь идет о их степени, о способности каждой конкретной экономики выжить.

Повторив, что мне не очень ясно — сумеет ли советская экономика выжить даже при глубоких, структурных реформах, — я должен сказать, что это вообще ее единственный шанс, других просто нет.

VIII

Перед тем как закончить, еще раз повторяю: я — сторонний наблюдатель, я ни в коем случае не хочу связываться в политическую борьбу в стране, которую покинул навсегда. Все же нельзя избежать некоторых политических выводов, непосредственно следующих из всего сказанного.

Я уже говорил выше, что режим в общем поддерживался и все еще поддерживается большинством населения, но это недолговечно. Начавшийся процесс остановки экономики, прекращение роста жизненного уровня и неизбежное его снижение, неотвратимая ликвидация денежных сбережений приведут к острому недовольству. В каких формах оно проявится, очень трудно судить, но формы эти могут быть и очень жестокими, кровавыми.

Стоит вспомнить, что февральская революция не была организована революционными партиями, она произошла, когда в Петроград три дня не подвозили хлеб.

Надо сказать ясно и недвусмысленно: такого рода события приведут не только к потокам крови, но и к разрушению хозяйственного механизма. При всей серьезности экономической ситуации, никто сейчас не умирает от холода и голода; если же система просто рухнет, положение станет совершенно невыносимым.

Мне никак не хочется «поддерживать» режим, но как экономисту мне очевидно: для высших национальных интересов страны было бы неизмеримо лучше, если бы необходимые преобразования были произведены сверху. Я уже говорил, что в системе нет механизма изменений, но создать его и применить неизмеримо легче и нужнее, чем ждать взрыва народного гнева.

С большой симпатией слежу я за героической борьбой диссидентов за гражданские права. И все же недоумеваю, почему они не говорят об элементарном человеческом праве — иметь достойное жилье, нормально питаться, одеваться по вкусу. Это элементарное, повторяю, гражданское право отрицается существующей в стране экономической системой, именно она мешает людям более или менее нормально жить.

И последнее. Нельзя не сказать, что международная политика страны тоже ведет ее к катастрофе. Не только потому, что гонка вооружений увеличивает опасность ядерного конфликта. Но и потому, что эта гонка непереносима для советской экономики.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Об одном таком примере я писал в своих статьях: Угроза — «Время и мы», 1980, № 53, и A Reply to Professor Pickersgill — «Soviet Studies», Vol. XXXII, № 4, Oct. 1980.

2. Подсчитано по статистическому ежегоднику «Народное хозяйство СССР в 1979 г.», М., «Статистика», 1980, с. 7, 219, 220 (за 1980 г. — по газетам). Везде дальше при ссылках я указываю в квадратных скобках страницы этого ежегодника непосредственно в тексте.

3. Стоит обратить внимание на уменьшение производства в 1940 году по сравнению с 1913 г. и на катастрофически низкий уровень в 1945 г.

4. В официальных справочниках этих данных нет, но такие оценки специалистов проскальзывают в печати. Например, по словам заместителя председателя Госплана СССР, «сейчас на приусадебных участках колхозников и рабочих совхозов Воронежской

области производится четвертая часть всей сельскохозяйственной продукции» («Лит. газета», 1979, 4 мая, с. 11).

5. Приходится это делать потому, что цены на мясо и другие сельскохозяйственные продукты слишком низки.

6. Я писал об этом в «Вашингтон Пост», 1980, 27 окт., с. А-15.

7. Данные за 1946-79 из [134], за 1980 и на 1981-86 из газет, в том числе «Известия», 1980, 2 дек., с. 3. Замечу, что эти числа определяются советской статистикой по т. н. «валовой продукции», что завывает их.

8. Это отдельная и большая тема, но стоит заметить, что едет в Сибирь меньше людей, чем покидает ее, что на создание здесь так называемой инфраструктуры уйдут десятилетия и триллионы рублей, что Сибирь и Дальний Восток уязвимы стратегически.

9. Много подробнее об этом — в моей статье «Противоречивые противоречия» в: Внутренние противоречия. Сборник под ред. В. Чалидзе. Вып. 1. Нью-Йорк, 1981.

10. Подсчитано В. Турчиным: В. Турчин. Инерция страха. «Хроника», Нью-Йорк, 1978, с. 83. Оговорюсь, что в математике, по которой Нобелевские премии не присуждаются, уровень как минимум сравним с любой западной страной. Хотя, с другой стороны, за последние годы десятки первоклассных математиков эмигрировали.

11. «В России в течение 1899—1904 гг. построено и открыто для правильного движения жел.-дорожных линий... 14369 верст». Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона, дополнительный том 1а, 1905, с. 744.

12. Многие заводы строятся десятилетиями. Например, строительство Череповецкого металлургического комбината началось где-то в 50-х годах, план на текущую пятилетку предусматривает продолжение строительства.

13. Практически никогда не бывает, чтобы уложились в первоначальную смету строительства. Согласно официальной статистике, стоимость строительства сокращается, но, по многочисленным свидетельствам в литературе, она быстро растет.

14. Statistical Abstract of the United States. 100th Ed., 1979, Washington, p. 364. Числа даны в «постоянных» долларах, т. е. на них не отражается рост цен. Заметим, что вся стоимость Вьетнамской войны была «всего» 20 млрд. долларов, иначе говоря, снижение расходов объясняется этим фактором лишь частично. С другой стороны, в 1976 г. резко возросли затраты на выплаты увольняющимся на пенсии (там же — с. 366).

15. Я заканчиваю сейчас книгу о методологии исчисления советских военных расходов. Поразительным образом, других книг на эту тему нет.

16. ЦРУ дважды объявляло, что, если СССР и снизит свои военные расходы, это не принесет стране каких-либо серьезных экономических выгод. Я критикую эту странную точку зрения в упоминавшейся выше статье в «Вашингтон Пост».

17. Сюда не входят колхозники и не должны входить военнослужащие. По всей видимости, сюда не входят также работники КГБ (в том числе погранохрана) и МВД, зато, по-видимому, входят заключенные. Данные за 1945-75 гг. по [387]. За 1980 и на 1985 гг. — из «Литературной газеты» от 26 ноября 1980, с. 11.

18. Стоит заметить, что относительный прирост (в процентах) уменьшался по мере роста числа рабочих и служащих, что и было одной из наиболее существенных причин замедления общих темпов экономики.

19. Одна из основных причин — «демографическое эхо войны», т. е. резкое падение рождаемости в начале 40-х и, соответственно, в начале 60-х годов.

20. Данные за 1950—1979 гг. из [148] и «Народное хозяйство в 1970 г.», с. 160. За 1980-й — моя оценка. На 1981-85 гг. — «Известия», 1980, 2 дек., с. 4.

21. Одна из причин завышения — этот показатель рассчитывается по данным о так называемой валовой продукции.

22. В 1979 г. 94 млрд. руб., т. е. 72% общей суммы капиталовложений пошли непосредственно на промышленность, сельское хозяйство, транспорт и само строительство. К этому следует добавить пару десятков миллиардов на коммунальное строительство, лесное хозяйство, заготовки, торговлю и т. п. Сколько точно идет на военное строительство, подсчитать трудно. На жилищное строительство идет лишь немногим больше 10% от всех капиталовложений [367].

23. В строительстве, промышленности строительных материалов и машиностроении занято больше трети от общего числа всех рабочих и служащих.

24. За 1973-77 гг. СССР продал оружия всего на 23,4 млрд. долларов, в том числе странам Варшавского пакта на 6,9 млрд. долларов, Югославии — 0,5, Китаю — 0,3, Северной Корее немного больше, Вьетнаму — 0,6, Египту — 1,2, Ирану — 0,4, Ираку — 2,6, Сирии — 3,1, Индии — 1,1, Алжиру — 0,5, Анголе — 0,3, Ливии — 1,8, Кубе — 0,5, Перу — 0,6 и т. д. Объем этой продажи лишь немногим уступает объему продажи оружия Соединенными Штатами и намного превосходит продажу оружия другими странами. Используя советскую официальную терминологию, СССР надо теперь называть «продавцом смерти». (U.S. Arms Control & Disarmament Agency. World Military Expenditures and Arms Transfers. Washington, 1979, p. 155-158).

25. В декабре 1980 г. я слушал в Вашингтоне выступление очень видного западногерманского деятеля. Он сказал, что если СССР

вторгнется в Польшу, то это, конечно, будет нехорошо, но надо будет продолжать торговать. Я спросил его: если бы такая же ситуация существовала сейчас в Восточной Германии, каким был бы его ответ? Без запинки он отвечал, что не видит разницы. К сожалению, доклад был полуофициальный, и по условиям я не могу назвать фамилию докладчика.

26. Тут тоже приходится принимать различные допущения насчет вида и качества мяса, его жирности, распределения среди различных групп населения и т. д.

27. По официальным данным, заработная плата рабочих выросла по сравнению с 1913 г. в 7,3 раза, с учетом ликвидации безработицы — в 8 раз, а с учетом сокращения продолжительности рабочего дня — в 10,5 раза; реальные доходы крестьян — в 15,8 раза. По тем же данным, реальные доходы всего населения выросли по сравнению с 1940 г. на душу населения в 5,6 раза [406, 407]. Трудно опровергнуть эти данные, поскольку заботливо не сообщается, как именно, по какой методологии они исчислены, но нет никаких сомнений — они очень сильно завышены.

28. Я совсем не хочу этим сказать, что население удовлетворено жилищными условиями. Вот, например, при наличии 3 млн. кооперативных квартир в очередях на вступление в кооперативы стоит 1 млн. чел. («Лит. газета», 1980, 17 дек., с. 13). К ним надо добавить тех, кто уже вступил в кооператив, но квартиру еще не получил, и многие миллионы тех, кто не имеет денег. Вообще определить обеспеченность населения жильем затруднительно, хотя, по публикуемым данным, в среднем в городах приходится 13 кв. м «полезной площади» (т. е. включая все подсобные помещения) на душу [418], что, конечно, страшно мало по современным стандартам. Масштабы жилищного строительства, с учетом выбытия из-за ветхости и реконструкции, не позволяют надеяться, что в течение ближайших десятилетий жилищная проблема в стране будет разрешена.

29. Сейчас в личной собственности находится 7 млн. автомашин, неизмеримо меньше на душу населения, чем в любой западной стране.

30. Мы уже видели выше, что потребление мяса сильно выросло, намного больше потребляется также сахара, яиц, молока, выросло потребление овощей. Однако в целом питание много хуже, чем в западных странах, и еще очень далеко отстоит от т. н. рациональных норм, разработанных советскими же экспертами.

31. Об этом подробно рассказано в моей статье «Угроза» (см. прим. 1).

32. Обратим внимание, что и по ним рост «реальных доходов на душу населения» замедляется [406]. Показательно также, что этот рост лишь чуть-чуть выше, чем рост средней заработной платы [394], т. е. «реальные доходы» и увеличиваются, таким образом, в

основном в виде увеличения денежных доходов. Но прирост последних идет не на увеличение реального потребления, а в рост денежных накоплений, в частности, в сберкассах [435]. Есть и другие показатели: например, в 1979 г. фактически сократилась по сравнению с предыдущим годом продажа населению важнейших культурно-бытовых товаров — часы, телевизоры и т. д. [431], и это при росте населения. Сократился также рост ввода в действие жилой площади [412, 413].

33. Данные из [43], а также из «Народное хозяйство СССР в 1970 г.», сс. 56 и 59, и «Известия», 1980, 2 дек., с. 2.

34. Такой рост был, в частности, определен при предположении о росте капиталовложений в отчетном темпе. Как я уже выше говорил, это явно не так. Пикантно также, что «произведенный национальный доход» растет быстрее, чем «национальный доход, использованный на потребление и накопление» [49]. Есть и другие косвенные данные, которые достаточно красноречиво говорят то же самое.

35. В феврале 1980 г. состоялось специальное постановление ЦК КПСС и Совета Министров, по которому этим хозяйствам широко отводятся земли.

Дорогой Андрей Сахаров!

По случаю Вашего шестидесятилетия мы шлем Вам наши наилучшие пожелания и еще раз выражаем свое возмущение произволом, обрушившимся на Вас и Ваших друзей. Мы пользуемся этим случаем, чтобы выразить Вам нашу солидарность и еще раз вместе с Вами заявить перед лицом всего мира о нашей преданности Правам Человека и демократическим ценностям. Пример многих и многих мучеников побуждает нас повседневно усиливать борьбу за эти права и ценности.

Коллектив «Прав Человека»: *Марек Хальтер, Бернар-Анри Леви, Доминик Гризони, Ги Скарпетта.*

Жак Аттали, Клоди и Жак Бруайель, Мари Кардиналь, Доминик и Жан-Туссэн Десанти, Пьер Эмманюэль, Жан Элленстейн, Мишель Фуко, Алэн Жесмар, Андре Глюксман, Эжен Ионеско, Владимир Янкелевич, Нина и Жан Кехаян, Мишель Лонсдэйл, Эдуардо Манет, Жорж Мустаки, Клод Мориак, Эдгар Морэн, Саша Питоев, Алэн Турэн, Оливье Тодд, Илиос Янакakis.

Наука

Александр Некрич

ПОХОД ПРОТИВ «КОСМОПОЛИТОВ» В МГУ

(К коллективной биографии советских историков)

Двадцать пять лет тому назад, в 1955 г., Институт истории Академии Наук СССР опубликовал первый том многотомного издания «Очерки по истории исторической науки в СССР». К моменту, когда пишется эта статья (декабрь 1980 г.), вышли четыре тома. Причем последний по порядку, IV, том был напечатан в 1966 г. С тех пор издание приостановилось. В чем дело? В четвертом томе изложение было доведено до середины 30-х гг. Затем возникли разногласия, как освещать период террора в истории советской исторической науки и что писать о послевоенном периоде — в частности, о кампании гонений против т. н. буржуазных объективистов и космополитов, кампании, которая продолжалась до самой смерти Сталина. Не менее острыми являются проблемы истории народов СССР, в частности проблема их завоевания царской Россией, вызвавшая не только дискуссии в 40-х и 50-х годах, но и репрессии, аресты и самоубийства историков.

Для того чтобы хоть как-нибудь восполнить образовавшийся разрыв, я решил написать эту статью. Она основана большей частью на неопубликованных материалах, отложившихся в моем архиве за многие годы работы в Институте Истории Академии Наук СССР.

Как и во всех кампаниях, проводящихся в СССР, в кампании против т. н. космополитов были три группы: преследователи, преследуемые и «народ». Последний, к сожалению, не «безмолствовал», а довольно активно поддерживал гонителей.

Главой гонителей был проректор Московского университета по гуманитарным факультетам доктор исторических наук профессор Аркадий Лаврович Сидоров. Его биография, которая, кстати, является частицей истории советской исторической науки, не лишена интереса. Ее отдельные эпизоды изложены в статье ученика Сидо-

рова К. Н. Тарновского¹, в некрологе, написанном другим его учеником П. В. Волобуевым², в воспоминаниях самого Сидорова³ и в статьях о нем, опубликованных в энциклопедических изданиях.

Сидоров родился в 1900 г. в крестьянской семье. В 18 лет он стал комсомольцем, в 20 — членом коммунистической партии. Он оканчивает последовательно Коммунистический университет им. Свердлова, а затем (1928) Институт Красной профессуры. В 1929 - 1936 гг. Сидоров — на ответственной работе в партийном аппарате. Заканчивается этот период жизни Сидорова его исключением из партии. Помогает ему восстановиться в партии Емельян Ярославский. В своих воспоминаниях Сидоров называет Ярославского, возглавлявшего охоту на подлинных и мнимых оппозиционеров, «чужесной души» человеком. С 1937 г. Сидоров — на поприще исторической науки. Он занимается историей русского империализма. Но круг его интересов значительно шире. Сидоров рвется в руководители исторической науки. Ученик М. Н. Покровского, он принимает активное участие в уничтожении памяти и наследия своего учителя. Позднее, находясь не у дел, он выскажет сожаление об этом⁴. Воинственность Сидорова одобрительно встречена в Центральном Комитете партии. Но начинается война... В 1941 г. Сидоров участвует в обороне Москвы, после ранения и демобилизации он занимает ряд ведущих постов в учебных заведениях и в Академии Наук. В 1948 - 1952 гг. он — проректор гуманитарных факультетов Московского государственного университета, затем — директор Института Истории АН СССР (1953 - 1959).

Биографы Сидорова всячески подчеркивают его заслуги как ученого, создавшего школу в изучении русского империализма и первой мировой войны, но скромно умалчивают о его роли беспощадного гонителя историков в зловещие годы конца сталинской эры. Его ученик П. В. Волобуев писал в некрологе: «Широко известны большие заслуги Аркадия Лавровича Сидорова как организатора науки... Внешне суровый и подчас резкий, сын своего неповторимого времени, он щедро отдавал себя людям, любимому делу»⁵. Конечно,

¹ К. Н. Тарновский. Путь ученого. «Исторические записки», т. 80, 1967, сс. 207 - 244.

² П. В. Волобуев. История СССР, 1966, № 3, сс. 234 - 235.

³ А. Л. Сидоров. Некоторые размышления о труде и опыте историка. «История СССР», 1964, № 3, сс. 118 - 138.

⁴ Сидоров. Ук. соч., с. 132.

⁵ Волобуев. Ук. соч., с. 235.

необходимо сделать скидку на то, что Волобуев писал всё же некролог. Тарновский отмечает, что жизнь Сидорова «характеризовалась не только достижениями, но и ошибками...»⁶. Но это и всё. Достижения Сидорова как исследователя, кстати говоря, раздутые до известной степени его учениками, должны покрыть другие его «достижения» — в деле травли и расправы над историками в МГУ и в Институте Истории АН СССР.

Вполне можно понять позицию Волобуева, Тарновского и других учеников Сидорова: они остались верны ему, в отличие от самого Сидорова, предавшего память своего учителя М. Н. Покровского. Однако, поскольку постоянно подчеркиваются заслуги Сидорова в организации науки, никак нельзя пройти мимо той негативной роли, какую он сыграл и в МГУ, и в Институте Истории АН СССР.

Сидоров, несомненно, был незаурядной личностью, но жажда власти одержала в нем в конечном итоге верх над профессиональными интересами ученого. И не только жажда власти, но, вероятно, и страх утратить свое положение, усилившийся после эпизода с исключением его из партии в 1936 г., заставлял Сидорова всегда быть в первых рядах воинствующих партийных идеологов. Впрочем, это вполне гармонировало с его намерением достичь административных вершин в науке. Но для того, чтобы добиться своей цели, у Сидорова не хватало трезвости расчета, умения выжидать, плести свою паутину незаметно, втихомолку. Он был слишком динамичным и предпочитал фронтальный, лобовой удар для сокрушения конкурентов. Сидоров принадлежал к вымирающему типу партийного бойца. В годы подготовки к новому Большому террору КПСС охотно использовала услуги таких, как Сидоров, — возвращенных ею беспощадных гонителей.

Обратимся теперь к группе гонимых, объявленных космополитами.

Ее состав был определен партийными идеологами по двум главным признакам: во-первых, по национальному (главным образом, по еврейской принадлежности), во-вторых, по степени важности занимаемых ими постов, должностей, позиций. Против «космополитов» были выдвинуты обвинения не только идеологического порядка, такие, как буржуазный объективизм, преклонение перед западной наукой, политические и методологические ошибки, наконец, космополитизм, но и, так сказать, грубого материального характера: монополизация науки, т. е. занятие одной или нескольких

⁶ Тарновский. Ук. соч., с. 207.

должностей, отстаивание групповых интересов, подбор кадров по принципу личных отношений, использование занимаемого положения ради стяжательства и т. п. Во время кампании против космополитов денежная проблема играла отнюдь не последнюю роль. Гонители искали и, разумеется, находили уязвимые места у гонимых, и тут подсчет чужих заработков играл немаловажную роль. Когда Сидоров в одном из своих выступлений упомянул, что профессор Разгон выступал официальным оппонентом при защите 67 кандидатских и 10 докторских диссертаций (оппонентство, как известно, оплачивается), то аудитория — «народ» — ответила воплями негодования. Кстати, никто не осмелился спросить у самого Сидорова, сколько он занимает должностей, какова его заработная плата и пр.

(Замечу в скобках, что повышенный интерес к чужим заработкам очень характерен для выходцев из советского общества. Даже здесь, на Западе, бывшие советские люди часто начинают нервничать, как только речь идет о том, сколько кто зарабатывает. Особенно это относится к литературной братии, которая никак не может остаться равнодушной ни к заработкам уже умершего советского писателя К. С., ни к гонорарам здравствующего на Западе писателя А. С.)

Возможно, что этот нездоровый интерес выражает как бы опосредствованное чувство зависти.

Потаенный смысл кампании против т. н. космополитов заключался в утверждении новой, своей собственной монополии в науке, в очищении места для себя и своей группы. По свидетельству Тарновского, Сидоровым в течение его жизни было подготовлено 52 кандидата и доктора исторических наук. Из них защитили диссертации в 1949 - 1957 гг., т. е. в период расцвета административной деятельности Сидорова, 36 человек⁷. Если манипулировать аргументами самого Сидорова, то это и была типичная монополия.

Многие из учеников Сидорова были бывшими фронтовиками, пришедшими в Московский университет учиться или доучиваться. По сравнению со своими «зелеными» товарищами, не прошедшими школы войны, они обладали значительным жизненным опытом и твердо знали, чего хотят. Большинство из них были членами партии. Очень быстро фронтовики заполнили почти все выборные партийные, комсомольские и профсоюзные должности, а также аспирантуру. Они хотели учиться и получать знания, но они считали

⁷ Тарновский. Ук. соч., с. 229.

себя по праву первыми претендентами на освобождающиеся вакансии. Вакансий же было немного. Кроме того, одни боевые заслуги никак не могли быть главным и определяющим критерием для будущего преподавателя или научного работника. Многие из должностей, по которым «вздохали» неофиты, были заняты учениками академика Минца. Между тем, Минц стал мишенью для атак еще в 1947 году. После двух лет проработок Минц был объявлен главой космополитов в исторической науке, его ученики — «школкой», и против них повелась кампания на искоренение.

Среди участников этой кампании легко обнаружить и бывших фронтовиков, но, конечно, не их одних. Ими манипулировали люди постарше, типа Сидорова.

Невидимым дирижером кампании против космополитов был секретарь ЦК М. А. Суслов, ставший после смерти А. А. Жданова в 1947 г. главным идеологом партии (после Сталина, разумеется). Практически руководили кампанией несколько заведующих отделами ЦК во главе с Д. Т. Шепиловым, в то время начальником управления агитации и пропаганды, позднее он стал секретарем ЦК и вошел в историю под кодовым наименованием «и примкнувший к ним Шепилов».

В Московском Университете кампанию возглавлял А. Л. Сидоров.

«Глава космополитов» академик Исаак Израильевич Минц был старше Сидорова на четыре года, на три года раньше Сидорова вступил в партию и на два года раньше (1926) окончил Институт Красной профессуры. В активе Минца было участие в гражданской войне. Долгое время Минц возглавлял Секретариат комиссии по истории гражданской войны в СССР (ИГВ), Сидоров в 1943 г. стал его заместителем. У них были свои счеты, которые затем и были сведены.

Минц внес изрядную лепту в дело фальсификации истории партии, истории Октябрьской революции, гражданской войны и истории СССР в целом. Однажды Минц, судя по его воспоминаниям, был послан с какой-то деликатной миссией к Максиму Горькому. Он выполнял и ряд других ответственных поручений партии и заслужил одобрение Сталина. Две Сталинские премии и академическое звание подтверждают это. Минц занимал ряд ключевых позиций в исторической науке. Он был заведующим кафедрами истории СССР в МГУ, в Высшей партийной школе при ЦК ВКП(б), профессором Академии общественных наук, заведующим кафедрой в Педагогическом Институте им. Ленина, старшим научным сотруд-

ником Института Истории Академии Наук СССР, членом многих редакционных комитетов, коллегий и пр.

* * *

В Московском университете кампания носила особенно агрессивный характер, вероятно, также и потому, что ее возглавлял А. А. Сидоров.

План кампании был тщательно разработан. Она проводилась планомерно снизу доверху, т. е. начиная с кафедр и кафедральных партийных организаций и до ученых советов факультетов и факультетских партийных собраний. Венцом всего было заседание Ученого Совета университета.

Формально кампания была посвящена обсуждению на гуманитарных факультетах статей, помещенных в газетах «Правда» и «Культура и жизнь», о борьбе с «буржуазным космополитизмом».

К участию в кампании были привлечены не только профессора и преподаватели, но также аспиранты и многие студенты. Став свидетелями, а иногда и участниками морального уничтожения своих профессоров, студенты теряли уважение не только к своим учителям, но и к науке вообще. Их моральные ценности и без того не были особенно прочными.

Формула «безродные космополиты» была поистине гениальной находкой. И тот, кто ее придумал, безусловно заслужил свою Сталинскую премию. Погромщики из «Союза русского народа» были невежественными дикарями по сравнению с теми, кто вел кампанию против космополитов спустя полвека. Теперь не нужно было кричать «бей жидов, спасай Россию», вызывая этими воплями шок у либеральной русской интеллигенции. Формула «космополиты безродные», где национальная принадлежность лишь подразумевалась, позволяла вовлечь в ряды погромщиков часть русско-советской интеллигенции. Партия еще раз великодушно предоставляла интеллигентам возможность подтвердить свою преданность социалистическому режиму и продемонстрировать свой патриотизм, свой истинно русско-советский дух в отличие от космополитов (жидов-евреев). Последнее лишь подразумевалось, ибо формула «безродные космополиты» как бы отводила обвинения в антисемитизме.

Таким образом и ученые еврейского происхождения, которые бы пожелали высказать свое решительное осуждение зловредной деятельности космополитов, американского империализма и вообще

тлетворного влияния Запада, могли бы это сделать. Некоторые так и поступили, заслужив похвалу своих нееврейских коллег.

Обвинение в космополитизме было использовано партийными боссами, чтобы приструнить ученых, известных своими либеральными воззрениями, и оказать давление на тех, кто пытался остаться в стороне от кампании и уклониться от очередного обряда советского конформизма.

Так как непросто было и невинность соблюсти, и капитал приобрести, то в большинстве случаев либералы подчинились и выступили с прямым или косвенным осуждением своих коллег, обвиненных в космополитизме. Некоторые даже оказывали моральное давление на наиболее строптивых, принуждая их к покаянию и моральной капитуляции. Впрочем, осудив своих коллег публично, иные ученые выражали затем «космополитам» свое сочувствие, втихомолку, чтобы никто не увидел... Это и был обычный советский образ жизни. Тридцать лет террора и приспособления к нему сделали свое дело.

Кампания против «космополитов» достигла своего апогея в Московском университете весной 1949 г. К этому времени почва для искоренения космополитов была достаточно разрыхлена. Речь шла теперь не столько о разоблачении «космополитов», сколько о лишении их работы, изгнании из профессиональной среды и о перераспределении освобождающихся в результате чистки должностей.

ЦК партии, верный традиции, требовал, чтобы очистительная операция была произведена руками коллег «космополитов» — профессоров, преподавателей, аспирантов.

3 марта 1949 г. партийное собрание исторического факультета МГУ предъявило И. И. Минцу и его ученикам обвинение в «антипатриотической деятельности», а именно: в срыве выпуска нужных стране учебников по истории советского общества, в создании помех для выращивания новых кадров советских историков, в монополизации «группой Минца» разработки истории советского периода.

Близкий к Минцу историк и преподаватель МГУ Е. Н. Городецкий работал в ту пору в отделе науки ЦК ВКП(б). Ученики Минца занимали хорошие должности в системе высшей школы и в Академии Наук. В том, что у Минца было много учеников, разумеется, ничего плохого не было, ибо каждый ученый не только стремится иметь учеников, но в известной степени и славен ими. Но если партии нужно, то она легко превращает учителя в «монополиста», его учеников в «школку», а всех вместе взятых обвиняет в стремлении монополизировать науку. Так было и на этот раз.

Впервые был поставлен вопрос об изгнании из университета Минца, Разгона и Городецкого. Для подкрепления обвинений закрытое партийное собрание истфака МГУ приняло по докладу Сидорова резолюцию, в которой отмечалось, что «буржуазный космополитизм на современном этапе является идеологией войны американского империализма, идеологическим орудием войны против СССР и стран народной демократии. Поэтому всякое протаскивание идей буржуазного космополитизма, принижение роли русского народа в мировой истории, стремление ослабить чувство советского патриотизма и принизить достижения социалистического строительства, советской культуры и науки — является проявлением враждебной деятельности, проводимой в интересах американского империализма».

Так постепенно подводилась база для последующего обвинения «космополитов» в антигосударственной деятельности.

Во враждебной деятельности обвинялись не только Минц, Разгон и Городецкий. Был еще и дополнительный список т. н. «примиренцев». Среди «примиренцев» фигурировали имена доцентов Верховеня и Анпилогова.

В список «космополитов» были также включены профессора Н. Л. Рубинштейн, Л. И. Зубок (восхвалял американскую политику «доброго соседа»), англовед И. С. Звавич (обелял империалистическую политику английских лейбористов) и даже академик Р. Виппер — ему было в ту пору 90 лет! Партийное собрание потребовало освобождения их от работы в университете.

Специальными пунктами резолюции осуждались выступления Анпилогова, Н. Л. Рубинштейна и заведующего кафедрой новой истории профессора А. С. Ерусалимского.

Одним из важнейших моментов кампании по борьбе с космополитизмом в МГУ было дезавуирование одного из старейших профессоров кафедры истории ВКП(б) Юдовского. В одной из своих лекций «К вопросу о национальном характере и ассимиляции» Юдовский затронул один из самых жгучих вопросов того времени — является ли наука национальной или интернациональной.

На протяжении всех послевоенных лет советская печать, радио, официальные лекторы подчеркивали на все лады сугубо национальный характер науки и с пеной у рта отрицали существование мировой науки. Всех, кто придерживался противоположной точки зрения, предавали анафеме, обвиняли в низкопоклонстве перед Западом и в буржуазном космополитизме.

Профессор Юдовский был одним из старейших членов ВКП(б) в стенах МГУ. В прошлом чекист, затем партийный работник и историк партии, Юдовский многие годы преподавал историю партии на историческом и других факультетах. Однако он придерживался ортодоксально-марксистской точки зрения, согласно которой наука представляет собою явление мирового порядка. Казалось бы, что это аксиома и не нужно быть марксистом, а просто разумным человеком, чтобы это усвоить. Однако в конце 40-х годов ортодоксальный марксизм стал опасной разновидностью партийной ереси. Впрочем, таковым он остается и сейчас. Политическая целесообразность заменила все остальные критерии. Подчеркивание национального характера науки, приоритета открытий, сделанных русской наукой, приписывание изобретений, сделанных учеными других стран, русским ученым — были важнейшими компонентами усилия партийного руководства к ликвидации всякого рода официально неразрешенных контактов с иностранцами, с западными учеными вовне и к усилению великодержавного русского шовинизма внутри страны.

Юдовский не поспевал за временем, и в этом была его беда. Он не успел, не умел, а может быть, и не хотел приспособиться к новым веяниям. К слову сказать, он не был в этом одинок. И ему пришлось расплачиваться.

Сидоров избрал лекцию Юдовского в качестве одной из главных мишеней для своего доклада на Ученом совете университета. Проректор отвел довольно много времени для разоблачения «ереси» профессора кафедры марксизма-ленинизма.

Первое обвинение Сидорова заключалось в том, что Юдовский не видит национальной грани в науке.

Вот что писал Юдовский: «Наука по существу представляет собой явление мирового порядка. О «национальной» науке можно говорить лишь весьма условно, не с точки зрения ее содержания, сколько с точки зрения национальной принадлежности участников научной деятельности». Эта безобидная и, к слову сказать, очень осторожная констатация общезвестного факта вызвала пароксизм ярости у докладчика или, точнее, была им использована, чтобы симулировать пароксизм патриотического негодования.

«Для Юдовского, — заявил Сидоров, — нет национальной науки и нет советской социалистической науки, отличной от буржуазной науки Запада. Значимость научного творчества для Юдовского определяется не тем, что ученые делали для нашего народа, а вкладом его в мировую науку...». Негодование Сидорова вызвало

и объяснение Юдовским чувства патриотизма. «Человек любит свою страну, — писал Юдовский, — вовсе не потому, что она и ее представители лучше других стран. Он любит ее только потому, что она его родина». Казалось бы, что криминального в этом разумном объяснении? Сидоров клеймит Юдовского: «Наподобие вейсманистов, объяснявших наследственность результатом влияния генов (самое большое преступление в глазах слепо следовавших за Лысенко партийных руководителей. — А. Н.), Юдовский объясняет патриотизм не с классовых исторических позиций, а непосредственным безотчетным чувством, не поддающимся рациональному истолкованию... Эта порочная, антипатриотическая, сверхъестественная теория патриотизма насквозь враждебна советскому человеку и не имеет ничего общего с марксизмом-ленинизмом».

Ортодоксальный марксист-ленинец Юдовский разрешил себе утверждать, что «национальное самосознание граждан советского общества» имеет свое «полное и яркое выражение в интернационализме». По мнению же Сидорова, на первом плане должен был быть советский патриотизм, без этого интернационализм превращается в космополитизм.

Главной ареной кампании по искоренению космополитов был исторический факультет университета, но на других факультетах гуманитарных наук происходило то же самое — может быть, масштабы были иными.

На экономическом факультете громили беспощадно академика Е. С. Варгу за распространение «антимарксистских, ревизионистских взглядов» и, разумеется, его «школку». Что это была за «школка», легко понять, если вспомнить, что Варга в течение многих лет возглавлял Институт мирового хозяйства Академии Наук СССР и был главным экспертом Коминтерна и ЦК ВКП(б) по вопросам мировой экономики. Как ортодоксальный марксист, Варга всю свою жизнь писал о загнивании капитализма, но после второй мировой войны в его достаточно догматическом мышлении начали происходить кое-какие сдвиги, и он стал замечать некоторые неизвестные ему черты современного послевоенного капитализма, которые тормозили «загнивание». Об этом Варга написал книгу, которая была подвергнута резкой критике.

Помимо Варги, основными носителями антипатриотизма были объявлены профессор Блюмин за его книгу «Политическая экономия в России в первой половине XIX века» и профессор Д. И. Розенберг, автор «Комментариев» к «Капиталу» К. Маркса. Розенберга обвиняли в стремлении рассматривать русскую экономическую мысль

как придаток к западноевропейской. Еще несколько фамилий ученых-евреев дополняли этот список.

У философов обвинения космополитического характера предъявляются профессору С. Л. Рубинштейну, который только что получил Сталинскую премию за исследование «Основы общей психологии». Погромщикам поэтому было трудно придаться к работе лауреата Сталинской премии. Как и полагается в подобных случаях, формула обвинения носила крайне неопределенный и неконкретный характер: «Проф. Рубинштейн разрабатывает психологию в отрыве от изучения психологии советского человека и опыта советского социалистического строительства».

На философском факультете громили также Б. Кедрова и Асмуса. Первый был редактором журнала «Вопросы философии». Он был снят со своего поста ЦК ВКП(б) за отрицание значения приоритета в науке и за «ряд других идеалистических и космополитических ошибок».

Основным объектом атаки на философском факультете был проф. С. И. Бернштейн, который говорил студентам на своих лекциях ужасные вещи: будто развитие лингвистики связано с именем немецкого ученого Гумбольдта (!).

На юридическом факультете расправа шла прямо по принципу национальной (еврейской) принадлежности. Академик И. Трайнин, профессора А. А. Герцензон, И. Д. Левин, Е. А. Флейшиц, М. Л. Шифман предаются анафеме. Трайнин пытается взять под защиту престарелого профессора Герцензона, но тут же кается в своих собственных «грехах».

Кампания против космополитов в МГУ велась на их уничтожение не только моральное, но и физическое. Анализ докладов и выступлений гонителей и реакция гонимых целиком подтверждают этот вывод. Например, в докладе Сидорова, когда речь идет о Минце, упоминается не только о выступлении Минца на конгрессе историков в Осло в 1928 г., в котором Минц говорил о связях между русской и немецкой историографией, но и о выступлении Л. М. Кагановича в 1931 г. в связи с изданием «Истории гражданской войны в СССР», предостерегавшего редакцию от сползания к троцкизму. Это было напоминанием о серьезном политическом проступке, так как троцкизм считался тягчайшим государственным преступлением. Обвиненные в грехе троцкизма обычно платились жизнью.

Сидоров старался связать воедино все «грехи» Минца, представить их взаимосвязанными, как систему взглядов и определенных действий, враждебных партии и государству. Если говорить о дейст-

виях, то среди обвинений, выдвинутых Сидоровым и другими гонителями, фигурировали не только идейные «вывихи», но действия, прямо подпадавшие под советское понятие «вредительства» и «саботажа»: срыв выпуска учебника, саботаж в выдвижении и подготовке молодых кадров, монополизация науки.

Моральное уничтожение (прелюдия к физическому) считалось законченным, когда противника клеймили в центральной партийной печати, снимали с занимаемых постов и принуждали к полному покаянию.

А. Л. Сидоров вместе с главным редактором Госполитиздата Чугаевым подготовил в марте 1949 г. статью для «Большевика». В ней был такой абзац, написанный Чугаевым: «За последние годы сложилась антипатриотическая группа И. Минца, проводившая вредительство в области исторической науки, с одной стороны, путем извращения истории СССР, с другой стороны, тормозила развитие научно-исследовательской работы и подготовку кадров историков».

Сидоров, более осведомленный и вхожий в высшие партийные сферы, понял, что прямое обвинение Минца во вредительстве, пожалуй, не пройдет. Он вставляет в текст Чугаева одно слово — «идейное». Теперь это выглядит «прилично» — идейное вредительство!

Поражают своей стандартностью ярлыки, наклеиваемые на гонимых. Но они отражали стандартизацию и унификацию, происшедшую в обществе. Например, Л. Зубок — «пресмыкающийся космополит», А. Ф. Миллер — «завуалированный космополит». З. Каменский — «типичный космополит», В. М. Штейн — «последовательный, стопроцентный космополит», И. М. Лемин — «последовательный космополит».

Преследуемые защищались как могли. Наиболее распространенным методом самозащиты было частичное признание недостатков в своих работах, при отказе признать ошибки так называемого космополитического характера, ибо это было бы равносильно самоубийству.

Проф. Разгон, например, в письме, адресованном Ученому совету истфака МГУ, признавал, что в его работах не нашли достаточного отражения мировое значение Октябрьской революции, ведущая роль русского рабочего класса, русского народа в борьбе за создание советского государства и построение коммунистического общества. Далее, признав также ряд других своих ошибок, Разгон заключает: «Но при всем этом я не могу признать себя безродным космополитом, человеком без родины, человеком, которому не дороги ее интересы, не борющимся за ее процветание, за строитель-

ство в нашей стране коммунистического общества. Я не могу признать себя человеком, у которого имеется система космополитических взглядов».

Другой обвиняемый, доцент Б. Г. Верховень, критикуя Минца, признает себя виновным в том, что он не разоблачил Минца.

Кажется, только двое обвиненных в космополитизме — востоковед проф. Б. Н. Заходер и американист проф. Л. И. Зубок — отказались признать свои ошибки.

Гонимые иногда шли на большие унижения, лишь бы сохранить работу или хотя бы возможность публиковать свои статьи и книги. Ведь от того, какой ярлык будет наклеен, зависела их жизнь. Дальше всех в покаянии пошел профессор И. С. Звавич. Вызывая смехи и одобрительный гул аудитории, он говорил: «Я являюсь артиллеристом, который, попав в яму, стреляет в божий свет, как в копеечку, не видя цели, куда стрелять». Звавич признал за собой не только ошибки космополитического характера, но заодно и приукрашивание британского империализма и лейбористов в своих работах.

Признавали свои ошибки и академик Е. А. Косминский и другие медиевисты, а также археологи, этнографы, историки древнего мира — кажется, никого не миновала чаша сия.

Были гонимые, которые искали защиты от преследований у самих гонителей. Оказавшись перед перспективой потери работы, изгнания из привычной среды, утраты годами завоеванного положения, некоторые из гонимых шли на серьезные компромиссы с собственной совестью, принимали участие в осуждении своих коллег, лишь бы по возможности смягчить удар, направленный против них самих.

В них также говорило чувство, привитое им или, вернее, вбитое в них партией: Партия всегда права! Смирись перед партией, и она простит твои вольные или невольные грехи...

К сожалению, такую позицию занимали известные ученые, часто слышавшие прогрессивными и либеральными. Один лишь пример.

На истфаке МГУ критике был подвергнут профессор А. С. Ерусалимский, заведывавший в ту пору кафедрой новой истории. В свою очередь, он поддержал обвинения в космополитизме, выдвинутые против его коллег. И все же гонители остались неудовлетворенными его выступлением. «Хотя Ерусалимский говорит, что он критиковал эту работу (имелась в виду книга И. М. Лемина «Английская политика после Версаля». — А. Н.), — заявил Сидоров, — указывал на крупные пороки, — может быть, это и правильно — но часто

мы проявляем гнилой либерализм. Именно так и поступил Ерусалимский». Удрученный Ерусалимский пишет во время собрания такую записку Сидорову:

«А. Л. Сидорову.

А. Л., мне ясно, что я выступил неудачно. Программа действий мне ясна, но я не сумел ее толково изложить. Посоветуйте, как мне поступить.

А. Ерусалимский».

Атмосфера на подобных собраниях очень напоминает арену, на которой происходит бой быков (или людей!). Запах крови воспламеняет и вызывает еще большую жажду крови. Новый советский человек, как никто другой, был психологически подготовлен к такого рода представлениям. Вид несчастных, запуганных и кающихся жертв еще больше возбуждал участников проработок. Нет, «народ» не безмолствовал. Об этом, в частности, свидетельствуют записки, полученные в президиуме закрытого партийного собрания на истаке МГУ.

Первая записка.

Уважаемый Аркадий Лаврович!

Почему Вы ни словом не обмолвились о книге работника Вашей кафедры профессора Бушуева «Горчаков», представляющей из себя перепев реакционной концепции С. Татищева.

Почему Вы не упомянули ни словом курс Новой истории, читаемой академиком Тарле, представляющей из себя набор занимательных фактов, уложенных в рамки концепции либерала.

Кто и когда из администрации будет, наконец, интересоваться этим вопросом?

(без подписи)

Вторая записка.

Как со взглядами академика Тарле?

(без подписи)

Третья записка.

А журнал «Преподавание истории в средней школе» отдан на откуп Сказкину?

(без подписи)

Четвертая записка.

Прошу *ответить на вопрос*: как кафедра основ марксизма-ленинизма помогает факультету в методологической постановке вопросов — в частности, в разоблачении космополитических идей.

(без подписи)

Пятая записка.

Считаете ли Вы, что в работах и лекционных курсах Городецкого и Генкиной были допущены космополитические ошибки?

Если да, то какие?

(подпись)

Шестая записка.

Тов. Сидоров!

Скажите, пожалуйста, чем объяснить назначение С. С. Дмитриева заместителем заведующего кафедрой истории СССР буквально на другой день после критики его книги. Разве тов. Дмитриев коренным образом изменил свои позиции, справедливо отмеченные как буржуазно-либеральные? Присутствующие на дискуссии не считают, что он коренным образом отрешился от либерализма, а потому недоумевают по поводу этого недальновидного назначения, которое безусловно затрудняет борьбу с буржуазным либерализмом на нашей кафедре.

(подпись)

Как легко заметить, почти все эти записки персонально затрагивали кого-то. Речь шла, таким образом, не только о группе Минца, а о вытеснении из университета наиболее талантливых историков. Их ухода требовали «серяки», сильные своей многочисленностью и спаянные извечной ненавистью посредственности к таланту.

11 апреля 1949 года собрался ученый совет Московского государственного университета, чтобы подвести итоги борьбы против космополитов. Председательствовал на заседании ректор университета академик А. Н. Несмеянов (позднее президент Академии наук СССР).

Как уже повелось, первую партию вел проректор А. Л. Сидоров, выступивший с докладом «Об итогах обсуждения на гуманитарных факультетах статей, помещенных в газетах «Правда» и «Культура и жизнь» о борьбе с буржуазным космополитизмом».

Доклад Сидорова повторял во многом его предыдущие доклады. Сидоров ставил в заслугу университету (т. е. самому себе), что борьба против космополитизма ведется уже больше года и что в этой борьбе приняли «участие сотни лиц: студенты и аспиранты, доценты и академики, партийные и беспартийные». Обвинения против Минца были обобщены. Ненависть Сидорова к Минцу и его ученикам была столь велика, что он прямо попытался обвинить их в антигосударственных преступлениях, представить их деятельность как некий заговор против государства. Вот что он сделал: он обви-

нил профессора Разгона (повторил обвинения), что тот в своих работах по истории Северного Кавказа положительно изобразил чеченцев и ингушей, а осетин клеветнически представил борющимися на стороне контрреволюции. Мысль Сидорова и его цель были абсолютно ясны: всего за пять лет до того, в феврале 1944 года чеченцы и ингуши были постановлением правительства депортированы в Среднюю Азию и Сибирь, а их государственная автономия Чечено-Ингушская АССР была ликвидирована. Разгон же, подчеркивая заслуги чеченцев и ингушей во время гражданской войны, сочувствует им и фактически выступает против решения об их депортации. Свой донос Сидоров усилил еще тем, что связал воедино книгу Разгона с оперой В. Мурадели «Великая дружба», объявив, что фабулу для этой оперы, осужденной специальным постановлением ЦК КПСС, дал Разгон.

Что касается «пособников космополитов», то доклад Сидорова на ученом совете университета носил в этой части более сбалансированный характер. Во время бурных собраний, проходивших на факультетах, было названо столько имен т. н. космополитов и их пособников, что возникал вопрос, сможет ли университет продолжать учебную работу, если он выбросит сразу всех зачисленных в «космополиты» или в «пособники» профессоров и преподавателей. Поэтому требование крови Минца, Разгона, Городецкого, Зубока и Звавича сопровождалось предложением «отделить от этой кучки ряд других товарищей, которые хотя и допускают серьезные ошибки, но, во-первых, в процессе обсуждения проявили способность признать и осознать свои ошибки, а, во-вторых, выражают желание исправить эти ошибки...»

Прения по докладу Сидорова и были инсценированы в этом же духе. Покаяние одних сопровождалось доносами на других. Например, специалист по английской литературе В. Ивашева, признав ошибочным свое утверждение, что Чарлз Диккенс оказал своими произведениями влияние на всю русскую литературу и, в частности, на знаменитого русского сатирика М. Е. Салтыкова-Щедрина, заявила: «Я со стыдом могу сказать, что такого рода утверждения для советского патриота и советского ученого является совершенно недопустимым». Признав свою «ужасную» ошибку, Ивашева далее беспощадно доносит на литературоведов Жирмунского, Мокульского и Смирнова, на сотрудника кафедры западной литературы Михальчи и др. Одно из этих обвинений, а именно: против Михальчи, заслуживает внимания: «Михальчи, — сказала Ивашева, — редко высказывается на заседаниях кафедры, а если высказывается, то

его высказывания носят лаконический характер, так что трудно установить, в чем заключается принципиальная точка зрения Михальчи». Таким образом, попытка уклониться от высказывания своего мнения также становится преступлением.

Присылает покаянное письмо антимарристу академик В. В. Виноградов, и председательствующий академик Несмеянов хвалит его за это.

Обсуждение на ученом совете МГУ происходило уже в период спада кампании, когда был дан сигнал из ЦК ВКП(б) постепенно ее свертывать. Это было связано с приближающимся празднованием 70-летия Сталина. Такой значительный всенародный праздник следовало встретить в обстановке монолитной сплоченности советского общества. Но какая же это будет сплоченность, если к этому времени не закончить расправу над космополитами и не дать страстям утихнуть хотя бы на время ради праздника?!

Любопытна позиция ректора университета академика А. Н. Несмеянова. Похвалив в заключительном слове академика Виноградова за присланное им покаянное письмо, Несмеянов в конце концов свел дело к общим рассуждениям, переводя всю проблему борьбы с космополитами в плоскость необходимости перестройки учебной и научной работы. Было очевидным, что академик Несмеянов не хочет вписывать свое имя в список участников этой позорной кампании. Он попросту брезгливо отвернулся, не потребовав ничьей крови, но и не защитив никого.

Принятая резолюция свидетельствовала о затухании страстей и некотором облегчении ситуации. Наряду с осуждением Минца и его «группки», в резолюции в то же время указывалось, что на филологическом факультете ряду работников были предъявлены обвинения в космополитизме без серьезного предварительного изучения научных трудов по существу (кафедра всеобщей литературы). Эта констатация должна была, с одной стороны, продемонстрировать объективность ученого совета, а с другой — подчеркнуть еще больше обоснованность всех других обвинений, предъявленных, как следовало понимать, после «серьезного изучения» трудов т. н. космополитов.

Ученый совет университета счел неправильным привлечение к обсуждению студентов. Результатом двухмесячной проработки было падение дисциплины студентов и авторитета преподавателей. Развенчание преподавателей неизбежно вело и к разочарованию студентов, к надлому их психологии, к цинизму.

Основная цель кампании была достигнута. Это видно из специального пункта решения о выдвижении на преподавательскую работу «молодых и способных» работников. Предлагалось при выдвижении аспирантов особое внимание обратить «на методологическую устойчивость, политическую зрелость и серьезную марксистско-ленинскую подготовку». Таким образом, знания, даже официально, перестали быть основным условием при выдвижении в аспирантуру и на преподавательскую работу. Критерий преданности режиму, политической активности заменил принцип отбора по способностям и знаниям.

В резолюции постоянно подчеркивалось, что речь идет об «очищении университета» от «небольшой кучки космополитов». Оставался открытым лишь один вопрос: если этих самых космополитов было так мало, зачем же понадобилось вовлекать в эту кампанию многие сотни преподавателей и студентов, срывать учебный процесс?

Ответ на этот вопрос несложен: идеологические кампании были и остаются неотъемлемой составной частью жизни советского общества. В тот день, когда они прекратятся, перестанет существовать и советский образ жизни.

Некоторые утверждают, что в наше время идеологические кампании в СССР больше не проводятся. Но это не так: кампании против Солженицына, против Сахарова, против лиц, желающих выехать из Советского Союза, судебные процессы по обвинению диссидентов в антисоветской деятельности, в шпионаже — это и есть политические кампании, очень похожие и по своему содержанию, и по форме, в которые они выливаются, на идеологические кампании сталинского и хрущевского времени. Теперь, как и тогда, эти кампании ведутся и против западного воздействия на советское общество. Принято рассматривать преследования иностранных корреспондентов в Советском Союзе, бизнесменов и пр. как месть за их связи с диссидентами или как ответные меры советского правительства на позицию правительства США в вопросе о защите человеческих прав. На самом же деле есть и другая, более важная сторона дела: постоянно поддерживать в советском обществе вражду ко всему западному.

* * *

После завершения антикосмополитической кампании началась грызня между гонителями. Как только цель была достигнута, т. н.

космополиты изгнаны, союз гонителей распался, и они начали доносить друг на друга.

Первой жертвой доноса пал... сам А. Л. Сидоров. Обстоятельства этого дела таковы. В газете «Московский университет» (закрытый печатный орган университета) в номере от 15 декабря 1949 года появилась статья Сидорова в связи с 70-летием Сталина. Вскоре Сидоров был обвинен анонимным доносчиком в неправильных утверждениях и неправильных выводах. Донос этот встревожил Сидорова. Он посылает письмо в ЦК. Его письмо как нельзя лучше отражает дух эпохи. Поэтому приводим его полностью.

«Секретарю ЦК ВКП(б) — товарищу Суслову.

Накануне семидесятилетнего юбилея И. В. Сталина в газете «Московский университет» от 15 декабря мною опубликована статья «И. В. Сталин и развитие исторической науки». В более развернутом виде с необходимой аргументацией основные положения этой статьи были повторены в докладе на ученом совете исторического факультета. Письменный текст доклада был предварительно представлен мною на факультет и в ректорат университета. Статья вызвала рецензию анонимного автора в партком университета. В своей рецензии автор клеветнически обвиняет меня во всех смертных грехах (давно ли Сидоров обвинял во всех «смертных грехах» Минца и Разгона?! — А. Н.) — в возрождении троцкизма, в буржуазном объективизме и т. п., причем бесцеремонно берет под сомнение собственные слова и мысли И. В. Сталина. Текст моего ответа рецензенту прилагаю.

Я осмелился беспокоить Вас, товарищ Сулов, потому что «рецензент» клеветнически старается ошельмовать меня и приписать мне политические обвинения, причем делает это не впервые. За последние 3 месяца на меня были поданы во все инстанции, от ЦК ВКП(б) до парткома МГУ, анонимные заявления с ложными обвинениями. Хотя автор заявлений и рецензент аноним, но он всем известен и на историческом факультете и в парткоме университета — это аспирант кафедры истории СССР Кара-Мурза, который ни разу открыто в парторганизации не поднял против меня никаких обвинений. Я не буду гадать о причинах такого поведения Кара-Мурзы — в том ли дело, что он освобожден мною от работы на кафедре, или, как говорилось на партийном активе университета, в том, что он предпочитает непартийными методами восстановить свою сомнительную политическую репутацию.

Я прошу Вас, товарищ Сулов, поручить, кому Вы найдете это нужным, проверить, в какой мере обоснованы выдвинутые против

меня обвинения. Я готов нести ответственность за действительные ошибки и недостатки своей научной работы, но считаю, что приемы Кара-Мурзы ничего общего не имеют с большевистской критикой и самокритикой, и за них он должен отвечать.

24 января 1950. Москва

(А. Сидоров)

Исторический факультет МГУ

Член ВКП(б) с 1920 г.

Партб. № 1151336»

К своему заявлению Сидоров приложил девятистраничный разбор обвинений рецензента. Кроме того, Сидоров послал еще одно заявление в отдел пропаганды и агитации ЦК и в партком МГУ, фактически повторявшее его письмо к Суслову.

В конце своего объяснения по существу Сидоров отдал должное самокритике. Только в таком случае его поведение могло считаться «партийным». Вот что он писал: «Для себя я делаю тот вывод, что на темы, связанные с товарищем Сталиным, надо так писать, чтобы не только существо дела, но и литературная форма изложения являлись бы безупречными и не давали бы никаких поводов для криво толков».

Как и полагается в подобных случаях, статья Сидорова была послана на отзыв, вернее на экспертизу, известному сталинскому историку партии Г. Костомарову, в ту пору директору Московского Института истории партии. Решение Костомарова было для Сидорова положительным: «Указанные нами недостатки, — заключал партийный эксперт, — носят редакционный характер и, как нам кажется, не дают основания обвинять автора в каких-либо ошибочных утверждениях и неправильных выводах». Такая формулировка полностью отводила от Сидорова политические обвинения, выдвинутые в «анонимном письме» Кара-Мурзы.

Сидоров мог продолжать свою карьеру.

А что же «анонимщик»? Пришло время, и его назначили главным редактором журнала «Преподавание истории в средней школе».

Партия нуждалась в обоих...

ИСТОРИЯ

Екатерина Брейтбарт

«ОКРАСИЛСЯ МЕСЯЦ БАГРЯНЦЕМ...» ИЛИ ПОДВИГ СВЯТОГО ТЕРРОРА?

Не надо прикасаться к ангелам —
к рукам прилипает позолота.

А. Франс

Как складываются и передаются во времени исторические легенды? Вопрос совсем не простой. Любому историку в любой области рано или поздно приходится решать, как относиться и трактовать часто через века проносимую легенду или миф. Кто герой легенды, какой его поступок лег в основу, как родилась, кто автор, как сохранялась и как менялась, плод ли она воображения или соответствует какому-то реальному событию или поступку? Но даже если на все вопросы найдены доказательные ответы, то стоит ли разрушать легенду, если она представляет собой досужий домысел или историческую мистификацию? Слова всегда остроумного и меткого Анатоля Франса, вынесенные нами в эпиграф, можно было бы принять за дельный совет не искать адекватности события и сопутствующей ему легенды. Ведь в конечном счете любая легенда несет в себе либо торжество красоты — людей, отношений, чувств, — либо торжество высшей справедливости, победу добра над злом, красоту прав-

Автор выражает глубокую признательность и благодарность А.Серебренникову за постановку темы и помощь в поисках и обсуждении источников и материалов по теме данной статьи.

ды, подвига, мученичества. Что остается от легенды, если снять с нее наслоения деталей, художественных подробностей и преувеличений, столь свойственных легенде — где-то, когда-то, какой-то человек (или люди) совершил(и) какой-то поступок, являющий собой пример красоты или справедливости. А человеку в этом мире так не хватает и так хочется именно справедливости! И какую же внутреннюю высоту должен иметь сам поступок, если справедливость восторжествовала через физическое возмездие!

И все же мы рискнем прикоснуться к одной легенде. Она еще не очень старая, но, кажется, имеет все шансы закрепиться если и не в Истории вообще, то, по крайней мере, в истории русской революции.

75 лет назад в сонном заштатном городишке Борисоглебске Тамбовской губернии прозвучали выстрелы. Тяжело осел еще совсем не старый, крупный, рано располневший человек. Стреляла молодая женщина. Она была схвачена на месте, жестоко избита и отправлена сначала в местный полицейский участок, а на следующий день в Тамбов, в губернскую тюрьму. Находясь в тюремной больнице, еще до суда она написала и сумела передать на волю для опубликования в газетах письмо с описанием страшных пыток и надругательств, коим она была подвергнута во время менее чем суточного пребывания в Борисоглебске и затем в поезде, везшем ее в Тамбов, со стороны двух жандармских офицеров.

Письмо получило огласку, благодаря которой она еще до суда превратилась из убийцы в жертву, а первоначально вынесенный смертный приговор был отменен и заменен пожизненным заключением.

На суде она показала, что стреляла по заданию Тамбовского комитета партии социалистов-революционеров: совершить справедливое возмездие над человеком, по приказу, а нередко и при личном участии кото-

рого были запороты целые крестьянские семьи и сожжены дотла деревни.

Героиней, обессмертившей свое имя, ставшей «живой легендой», была тамбовская служащая Мария Александровна Спиридонова.

Хотя в данной работе нас интересует только сама легенда Марии Спиридоновой, все же необходимо напомнить совсем другой период из ее биографии. В 1917 году, освобожденная с каторги Февральской революцией, она со товарищи расколола до того довольно монолитную и, кстати, получившую абсолютное большинство голосов на первых свободных выборах в Учредительное собрание партию социалистов-революционеров (ПСР) и возглавила автономную партию левых социалистов-революционеров (ПЛСР). Эта партия безоговорочно присоединилась к большевикам и помогла им разогнать первое законно избранное собрание народных представителей России.

Столь активное участие в революции 17-го года было вознаграждено введением левых эсеров не только в новые органы новой власти, но и в правительство, а Спиридонову вывело в ряды выдающихся деятелей революции. Старая же легенда лишь ей придавала особый ореол мученичества за революционные идеалы. Как известно, ей, как и почти всем левым эсерам, за эти идеалы пришлось заплатить при новой власти еще дороже, чем при старой, — сколько их уже в 1919 году, после так называемого левозсеровского мятежа, пошли в тюрьмы, ссылки, каторги рабоче-крестьянского государства, чтобы уже никогда не вернуться. До XX съезда дожили считанные единицы. Сама же Спиридонова, по многочисленным совпадающим сведениям, видимо, была расстреляна вместе с другими заключенными Орловской тюрьмы, когда советская власть бежала из Орла при приближении немецких войск в 1941 году.

Но вернемся к легенде, дошедшей до нашего времени. Позднейшее очень краткое изложение ее мы нашли в книге Ж. Бэйнака «Социалисты-революционеры», вышедшей в Париже в 1979 году. В этой книге легенда звучит так:

«...в январе 1906 года она стреляла в *генерала Луженовского*, который в Тамбове жестоко усмирлял аграрные беспорядки. *Хотя она только ранила его*, она была тут же арестована казаками, которые ее избили. В одном из писем она рассказывает, как ее пытали, прижигая сигареты к телу, обнимая против ее воли и лаская. Но она не уточнила, что ее подвергли «последней степени надругательства». Глубоко травмированная, она только позднее заявила врачу, что у нее нет сомнения, что ее в бессознательном состоянии *изнасиловали и даже заразили сифилисом*. Французские интеллектуалы А. Франс, Сюлли-Прюдом, Морис Метерлинк, братья Маргерит и другие подписали письмо протеста, требуя расследования и наказания казачьего капитана Аврамова и полицейского пристава Жданова, которые позднее будут казнены Волжским летучим отрядом ПСР...»¹

Следующее, относительно недавнее, но, видимо, последнее свидетельство, которое, можно причислить к документальным, попало нам несколько лет назад в сборнике «Политический дневник» 1964—1970². В нем приводится большое и подробное письмо последней оставшейся к тому времени в живых левой эсерки Ирины Каховской. После XX съезда она обратилась в высшие советские органы, видимо, в надежде восстановить славное имя партии левых социалистов-

¹ Jacques Baynac. Les socialistes-revolutionnaires. Ed. les Hommes et l'Histoire/Robert Laffont, Paris, 1979. Здесь и дальше все выделенные места цитат подчеркнуты автором статьи.

² Политический дневник. 1964—1970, Амстердам, Фонд им. Герцена, 1972, стр. 730. Письмо И. Каховской в ЦК КПСС, Совет Министров, Прокуратуру СССР.

революционеров и ее наиболее видных деятелей. И. Каховская прошла почти весь жизненный путь рука об руку со Спиридоновой еще с 1907 года, когда они впервые встретились в Мальцевской женской каторжной тюрьме. Она пишет:

«Еще более несовместимы обвинения в контрреволюции старой *известной революционерки* Марии Спиридоновой, вступившей в ряды борцов за социализм еще совсем юной девушкой. *Она была исключена из гимназии за политическую неблагонадежность, вступила в партию с.-р. и работала пропагандисткой в кружках рабочей и учащейся молодежи.* Затем она взяла на себя выполнение террористического акта — убийство *палача-карателя генерала Луженовского*, запарывавшего целые деревни непокорных крестьян. Она убила его *на вокзале* и была немедленно схвачена *железнодорожными жандармами*. Ее долго избивали тут же на станции, а затем *бросили в вагон пьяным казакам на потеху и поругание*. Два жандарма (Абрамов и Жданов), впоследствии убитые революционерами, доставили ее, едва живую, в Тамбовскую тюрьму. *Весть об издевательствах над молодой революционеркой возмутила всю русскую и зарубежную общественность. Пришлось заменить ей смертную казнь пожизненной каторгой*».

Из этого же письма я приведу еще одну фразу: «Во всяком случае, за свой переход на левые позиции Спиридонова получила от своих бывших единомышленников полную меру оскорблений и инсинуаций». Конечно, нам пришлось прочитать некоторые неприятные для легенды доводы бывших однопартийцев (хотя назвать их даже бывшими единомышленниками можно весьма и весьма условно). Но хотелось бы подчеркнуть, что для выяснения обстоятельств легенды нами брались в первую очередь источники, если можно так выразиться, апологетические. Соратники же, ясно,

могли быть необъективными — кому, как не переметной суме, каковой для них и была Спиридонова, достается больше всего злобных инсинуаций и клеветы! Достаточно вспомнить другую драматическую фигуру того времени — последнего царского министра внутренних дел Протопопова, вот уж кому досталось как раз за то, что в критический момент переметнулся из либерального лагеря в реакционный! Но правды ради все же признаемся, что кое-какие, совсем немного, из этих инсинуаций мы держали при себе. Как потом окажется, подтверждение их можно будет найти и в апологетических работах. У апологетики, при всех ее достоинствах и силе эмоционального воздействия, есть одно свойство, снижающее ее ценность как документального свидетельства — отсутствие логики и невнимание к противоречивым деталям.

Ж. Бэйнак в списке использованной литературы называет еще один источник, который мы тоже просмотрели. В 1935 г. за границей вышла по-английски книга первого советского комиссара юстиции, левого эсера И. Штейнберга «Мария Спиридонова. Террористка-революционерка»³. Но цитировать эту книгу мы не будем, так как оказалось, что в ней слово в слово пересказывается по-английски более ранний источник, хотя кое-что из книги Штейнберга может пригодиться. Она не только о Спиридоновой — это целая галерея портретов эсеров-террористов и «максималистов»; одни из них ушли в мир иной еще до большевистской революции (Гершуни, Сазонов и др.), другие же как раз и составили костяк партии левых эсеров, — и дается подробный экскурс по их каторгам и ссылкам.

Вот мы и подошли, вернее сказать, почти подошли к источнику легенды. Перед нами старая книга-

³ Spiridonova. Revolutionary Terrorist. By I. Steinberg. Methuen & Co., London, 1935.

сборник. Мистификации начинаются прямо с титульного листа. На нем читаем: «Мария Спиридонова», автор — В. Владимиров, год издания — ...1905 (!!). Не странно ли для неосведомленного читателя видеть книгу, изданную в предыдущем году о событиях будущего? Начинаем листать. На первый же вопрос — когда столь знаменательное событие произошло? — ответа в книге нет, как вообще нет никаких обозначений годов. Мелькают какие-то цифры дней, месяцев, но какого года, неясно. Правда, в подборке писем, приведенной в конце книги, уже попадаются даты написания писем, — самая ранняя — 26 марта 1906 г.

Но удивляться особенно не надо. Всем на свете известно, что в России всегда существовала и свирепствовала ужасно строгая цензура. За книги подобного, то есть антиправительственного, содержания автору грозило привлечение к судебной ответственности. Но в связи с «Манифестом 17-го Октября» создалась временная неясность относительно свободы печати, и цензура некоторое время пребывала в детской растерянности. Только диву даешься, когда видишь, как плодотворно использовала для себя этот период либеральная и лево-радикальная печать, — при подсчете вышло, что чуть ли не по три новых газеты или журнала в неделю появилось в промежутке октябрь 1905 — апрель 1906 гг. Их запрещали, закрывали, редакторов привлекали к ответственности (штрафовали), но, оказывается, чтобы просуществовать до следующего очередного «преследования», достаточно было переменить название издания, ну, и заодно псевдоним редактора. Нужная нам газета Суворина-младшего за этот промежуток успела три раза переменить название: «Радикальная Русь» — «Русь» — «XX век». Но уже с конца 1906 г. власть пришла в себя, цензура тоже опомнилась, и начались годы, как пишут в советских учебниках, «черной реакции». Зато осталась одна уловка: чтобы обойти цензуру, достаточно было «до-

казать», что книжка выпущена в период «оттепели» Октябрьского манифеста, и никакая цензура не могла схватить тебя за руку. Вот типографии и штемпелевали год издания, как Бог на душу автора положит. Ну, а чтобы уж совсем запутать цензора, если бы ему пришла в голову дикая мысль перелистать книжку, то неплохо вообще обойтись без точных дат в тексте. Так что наши недоумения по этому поводу вполне разъясняются.

Ну, вышла книжка или в конце 1906-го, или в начале 1907-го, ничего особенного. Но с этой книгой вообще какая-то ерунда получается. Среди фотографий Спиридоновой в книге есть одна, под которой Владимирова, по объясненным выше соображениям, никакой даты не дает. Та же фотография в книге Штейнберга помечена 1906 годом (но он и год издания книги аккуратно исправил на 1906). На этой фотографии Спиридонова с вполне спокойным выражением лица сидит у зарешеченного окна, а на переднем плане стоит парнишка-охранник с винтовкой — фотография сделана снаружи. Все бы ничего, но уж никак не дашь Спиридоновой на ней не то что 19, но и 25 лет. Да к тому же, она в классической, знакомой еще по картинам передвижников и старым фотографиям каторжной одежде. Но постойте, согласно Штейнбергу, Спиридонова попадает на каторгу в самом конце 1907 года. В тюрьмах же, как известно, политическим, да и не только им, разрешалось носить свою одежду (ах, с каким восторгом им вспомнятся потом страшные царские тюрьмы и каторги с их почти санаторным, особенно по сравнению со сталинскими, режимом для политических!). Вот и на фотографии около поезда, везущего политических преступниц на каторгу, все они в своей, не каторжной одежде (стоит прочесть описание этого триумфального путешествия через всю страну у Штейнберга!). А вот в книге Ж. Бэйнака эта же фотография Спиридоновой у зарешеченного окна,

взятая им из одного частного архива, помечена уже ...1912-м годом (!!) — вот это больше похоже на истину.

Но, в конце концов, Бог с ней, с этой книгой Владимирова. О сути легенды всякие там издательские манипуляции еще ничего не говорят. Они могут лишь послужить предостережением более осторожно подходить к революционным изданиям того времени (но можно представить, сколько под эту сурдинку можно было настряпать мистификаций).

В самой книге сказано, что вся она составлена из повременных материалов, печатавшихся автором, В. Владимировым, в петербургской леворадикальной газете «Русь», которую мы уже упомянули выше. Да, да, в той самой «Руси», которая сподобилась прозываться не просто либеральной, а бесшабашно-либеральной, той самой «Руси», которую, как это отметил А. И. Солженицын⁴, любил почитать Лев Толстой. Читал в ней описания казней и карательных экспедиций и стонал: «Как это все ужасно, как нелепо...». Специализировался же на этих душераздирающих описаниях корреспондент «Руси», некто В. Владимиров. «Некто», потому что это псевдоним. Чей? Пока еще неясно, но для темы этой статьи и не так уж важно⁵.

⁴ Архипелаг ГУЛаг. Т. 5., гл. 4 — «Почему терпели?». О Спиридоновой на с. 91 издания ИМКА-Пресс. До него легенда дошла почти совсем переиначенной. О «Руси» — с. 96.

⁵ А. Серебренников имеет некоторые, пока еще неполные, доказательства, что им был не кто иной, как бывший большевик Г. Алексинский, как раз именно в то время — зимой 1906 года — подвизавшийся в «Руси». По «почерку» очень похоже на него. Шульгин в последней книге «Годы» с юмором рассказывает, как один крестьянский депутат 2-й Думы после, как всегда, язвительно-истеричного выступления левого депутата Алексинского пораженный спросил у Шульгина: «А что оно такое?» — об Алексинском.

Нашлись и экземпляры самой газеты «Русь», к сожалению, не все, за февраль-март 1906 года, где, действительно, целыми полосами идут корреспонденции В. Владимирова. Если не считать фотографий и писем протеста, они идентичны с вошедшими в его книгу (нам не удалось увидеть только самую первую его корреспонденцию, за неимением этого номера в подборке).

Конечно, нам пришлось бы гораздо труднее, если бы надо было иметь дело только с этими материалами. Уж очень неблагоприятная это работа — ловить Владимирова на противоречиях. Для этого нужен хороший психолог-психиатр-криминалист. Ведь и тогда этим материалам не поверил никто — от официальных и частных проправительственных газет до умеренно-либеральных. Надо иметь особую нервную и нравственную конституцию, чтобы даже просто читать весь этот кошмар. Самое трудное — это выделить из слащаво-патетических завываний и нагромождений уже просто бездоказательных придумок В. Владимирова кое-где проскальзывающие факты и заведомо ложное их толкование. Но сохранился еще один почти повременной источник — маленькая брошюрка о Спиридоновой⁶, сделанная уже самими эсерами по следам событий, — это «по следам» стоит подчеркнуть, ибо все дальнейшие свидетельства, упоминания будут после владимировских корреспонденций. Не будь Владимирова, не быть бы Спиридоновой «живой легендой» — это точно. Когда и где сделана эсеровская брошюра, выяснить невозможно, на ней вообще нет никаких данных, а иностранные историки почему-то относят ее к 1905 году. В ней дается больше фактологических данных о Спиридоновой. При объединении редкой канвы фактов с более частой канвой противо-

⁶ Пытки и суд. Из эсеровской серии «Наше дело». Без выходных данных.

речий с фактами и невольно проскальзывающих признаний и «лишней информации», выдаваемых самой Спиридоновой в ее письмах, получается совсем другая картина, которую мы и попробуем вкратце описать.

Жила-была в Тамбове молодая конторщица Тамбовского дворянского собрания Мария Спиридонова. Возраст? Варьируется от 1881 до 1888 — так у Бэйнака. По Владимирову, ей 21 год, т. е. год рождения получается 1885, по эсеровскому источнику указывается 1883 год. Семья ее — мать, две сестры и младший брат — жила в другом городишке, Балашове, и была довольно обеспеченной (это уже по данным лондонского «Общества друзей российской свободы» — см. Предисловие к книге Штейнберга). Поскольку гимназии в Балашове не было, то отправили старшую дочь Марусю учиться в Тамбов. И началась жизнь вольная, самостоятельная.

Какого факта тщательно избегает Владимиров, а за ним и все другие соратники и друзья? Факта личного, близкого и долгого знакомства Спиридоновой с жертвой, тем самым «генералом» Луженовским. А ведь такое подозрение возникает и из писем Спиридоновой. Только вот сами эсеры, не озаботившись соответствием с Владимировым, прямо говорят об этом, не скрывают.

Жил в Тамбове в Марусины гимназические годы молодой присяжный поверенный, член тамбовской коллегии адвокатов, продвинувшийся по службе до чина статского советника, а ко времени покушения уже и старший советник тамбовского губернатора Гаврила Луженовский. Молодой, холостой, удачливый, ужасно по тем временам либеральный, больше в болтовне, правда, но, по Владимирову, до поры до времени даже и в делах, — это он позже неожиданно для всех обернется злодеем и карателем (чего мы вовсе не собираемся отрицать). Был Гаврила душой тамбовского женского общества и любимец всех гим-

назисток единственной в Тамбове женской гимназии. Сходилась же вся тамбовская молодежь для разговоров, споров, сплетен и флирта в городской библиотеке, что находилась в самом красивом здании Тамбова — Народном доме. Время же подступало звонкое, революционное, ах, какие речи, какие высокие и гневные слова тогда произносились! Может, именно это и войдет потом в революционную биографию Спиридоновой фразой: «вела революционную пропаганду в кружках рабочей и учащейся молодежи» (Каховская)? Ну что ж, передержка небольшая. Была же Маруся среди восторженно слушавших того же Луженовского гимназисток, может, даже самой восторженной. Заметил ее Гаврила.

И начался роман, а с ним свидания, письма-записочки. В эсеровской брошюре и у Каховской находим, что была Маруся исключена из гимназии, эсеры только уточняют: из 8-го класса. За что? Каховская пишет, что «за политическую неблагонадежность» (вот ведь изверги тогда какие были — уж какая там у девчонки политическая неблагонадежность, ветер в голове, а вот взяли и выгнали из гимназии), эсеры опять уточняют — за революционные взгляды, а злостные инсинуаторы соединяют все в одно: за недостойное поведение, гимназия ведь частная была. Мол, попала одна из записочек в руки начальницы гимназии — педсовет, увещевания, грубые и истеричные ответы-выкрики гимназистки, а к тому же и успеваемость была слабая и прогулов много (еще бы, до учения ли!), и вот результат — исключение из гимназии. Но не будем строго судить апологетов, они просто по-другому трактуют — ведь отрицание морали, освобождение от ее оков тоже частью входит в «революционные взгляды».

После исключения домой, в Балашов, не вернулась, да кто же в ее время из губернского города вернулся бы в такую дыру. Роман продолжался, хотя уже

и начал тяготить Луженовского. Двигался он довольно быстро по служебной лестнице, уже несолидно было для статского советника тянуть такую связь, но и узаконить ее не хотел. То ли еще впереди вырисовывалось! Одна ступенька оставалась до действительно статского советника. Да не успел. Зато посмертно войдет в историю «генералом». Только в одном месте нам удалось найти пояснение, что даже если и был Гаврила «генералом», то гражданским. В России гражданские чины имели одинаковую шкалу с военными. По этой шкале чин действительного статского советника соответствовал военному чину генерала, но только соответствовал. В эсеровской брошюре читаем про Луженовского: чиновник 5-го класса, а гражданские генералы начинались с четвертого. Но сегодня уже почти никто не сомневается, что был Гаврила «генералом» и к тому же, конечно, военным, особенно в аранжировке событий того времени — рабочих и крестьянских волнений, подавления бунтов и беспорядков...

Короче, роман подходил к концу. А тут и в тамбовской губернии начались, как тогда выражались, аграрные беспорядки. Назначили Луженовского в губернаторскую инспекцию по проверке на местах обстоятельств беспорядков. Стал Луженовский иногда брать с собой в инспекционные поездки и Марусю, чтоб веселее было время проводить. О том, что ездила с ним, сообщает и эсеровский источник. Так что, когда она сама потом в письмах будет писать, что бывала в тех местах, где творил свои злодеяния Луженовский, то это не так далеко от правды, только с оговоркой, что ездила не по его следам, а вместе с ним.

И, наконец, узнала Маруся, что в поездках без нее Гаврила не скучает да и вообще намерен ее бросить. Да не на ту попал. И всегда-то была взбалмошной, истеричной до припадочности — это и многие ее коллеги позднее будут отмечать, а тут такая обида!

Не жить Гавриле. Вот так и произошло все, как в «черном романсе»: «Окрасился месяц багрянцем... Так на же, изменник коварный... А утром качались на волнах лишь щепки того челнока».

Когда все произошло, установить точно трудно, но большая часть источников указывает дату где-то в середине января и склоняется к 16 января 1906 года. Где? Станция Борисоглебск впервые появляется в письме Спиридоновой, а Владимиров потом соберет неправдоподобное число свидетельств о «станции». У эсеров «станция» вообще не фигурирует. По деталям же из писем Спиридоновой закрадывается подозрение, что и произошло все не на станции — никто, например, не может объяснить, почему при стольких свидетелях, никому незнакомая, в незнакомом городе, схваченная на месте, была отвезена сначала в частный дом и только потом уже в участок. Так что вполне складывается «инсинуация»: разыскала Маруся Гаврилу, действительно, в Борисоглебске, в доме его тамошнего приятеля казачьего есаула Аврамова, там же был и тамбовский пристав, тоже приятель Луженовского, назначенный с ним в эту поездку, Жданов. Стреляла она из пистолета Аврамова. Вот за это самое: что стреляла в его доме, из его казенного оружия, в его близкого приятеля, и побил ее здорово Аврамов, быть может, еще и разгоряченный винными парами.

Владимиров несколько пересолит со свидетелями и свидетельствами. Ему удалось даже найти такого «свидетеля», который слышал разговоры шепотом этой троицы у постели умирающего Луженовского. Если и были такие разговоры, то слышать и пересказать их могла только сама Спиридонова.

Кому? Да уж не адвокату ли, приехавшему защищать ее (это на военно-то-полевом суде!) из Петербурга. Адвокат Тесленко — лицо реальное. Тоже был из бесшабашно-либеральной братии, а кому из них не снились тогда лавры Плевако?!

Кстати, по поводу судопроизводства, как оно предстает из материалов Владимирова. Единственное, что совсем невозможно разыскать, — это, собственно, в чем Спиридонова конкретно обвинялась: ни обвинительного заключения, ни текста приговора, — адвокат же должен был иметь его после суда или хотя бы записать при слушании, как он записал свою речь. Владимиров называет суд военным, эсеры вообще никак не называют — суд и всё, даже словечко «закрытый» не произнесено никем, речи подсудимой и особенно защитников, которых оказалось два, никак для военного суда не подходят, скорее уж для думских заседаний, что были похожи на уникальные соревнования, кто кого переплюнет в поношении правительства, от вызова в суд Аврамова и Жданова отказалась сама, сославшись на страх даже взглянуть на них, и удивительное дело — военный суд, на котором она будет обвинять двух офицеров, удовлетворяет просьбу подсудимой. Да уж не был ли суд обычным гражданским и не рассматривалось ли на первом суде дело о бытовом преступлении — убийстве на почве ревности?!

Нужно отметить одну маленькую деталь, которую, кроме нас заметил и даже выделил только Ж. Бэйнак, — Спиридонова ранила Луженовского, и от того, умрет ли он до суда или останется жить, существенно зависела мера наказания. Надо было спешить еще до суда, воспользовавшись накаленной обстановкой и настроениями того времени, поведать миру об ужасающих злодеяниях правительственных приспешников, тем самым придав делу политическую окраску. Единственное, что сделало правительство в ответ на шум, поднятый «Русью» и подхваченный лево-радикальной прессой, — выпустило коммюнике с требованием к печати впредь до выяснения всех обстоятельств и с целью оградить офицеров от обвинений, которые в ходе расследования могут оказаться клеветой, не печатать

тать никаких компрометирующих домыслов. И еще назначило комиссию по расследованию, тоже до суда. И, что само удивительное, суд согласился утвердить политическую окраску, навязанную ему подсудимой, — да только и это под вопросом, ибо нам не удалось найти никаких официальных материалов по этому делу.

Что же касается смертного приговора, якобы вынесенного в первом судебном разбирательстве, то тоже возникают некоторые сомнения. Интересные сведения приводит Штейнберг — когда в 1907 г. (то есть почти через два года после суда) Спиридонова попадает в Мальцевскую женскую каторжную тюрьму, то там уже будут находиться 72 политкаторжанки, из них 38 эсерок-террористок и «максималисток», за многими из которых числилось не по одному террористическому акту и к тому же против лиц куда более важного государственного значения, нежели жертва Спиридоновой. В том числе и ее будущие долголетние подруги и соратницы по ПЛСР: генеральская дочь Александра Измайлович (за ней два покушения) и Ирина Каховская (одно покушение и, действительно, в юном 18-тилетнем возрасте). За них, насколько известно, не вступалась мировая общественность, но ни одна не получила смертного приговора.

Другое напоминание: если бы Спиридоновой был вынесен смертный приговор, то он был бы первым женщине-политической преступнице с 1881 года, когда за участие в убийстве Александра II была казнена Софья Перовская.

И последнее: даже если бы смертный приговор был фактом, то фактом было и то, что исключительное право отмены смертных приговоров в России принадлежало лично царю. В таком случае самые что ни на есть проправительственные газеты должны были бы этот факт так или иначе отметить, хотя бы затем, чтобы коварно обыграть его в пользу правительства. Судьбы известных эсеров-террористов дают то-

му примеры. Самые известные из них — убийца министра Сипягина эсер-террорист Степан Балмашов (кстати, тоже тамбовчанин) был приговорен к смертной казни, отменить которую царь пожелал только лишь по личной просьбе самого Балмашова. Тот отказался, и приговор был утвержден; Гершуни, уж не чета Спиридоновой, вместе с Брешко-Брешковской возглавлял Боевую организацию эсеров, и не просил о помиловании, и царь не требовал от него личного прощения, а приговор не утвердил, не захотел сделать из него героя. А уж в те беспокойные и шаткие для власти времена ей и подавно не нужны были такие герои, как Спиридонова.

Еще немного о ее принадлежности к ПСР, точнее к тамбовской организации (или комитету). Никакие, дошедшие до нашего времени официальные источники ПСР о наличии тамбовской ячейки или комитета не упоминают. После потрясшего партию разоблачения двойной игры одного из руководителей Боевой организации ПСР Е. Азефа, партийное руководство стало особенно щепетильным в вопросах организации во избежание подобных случаев и обвинений в будущем. Были приведены в порядок архивы организации, тщательно были внесены в списки все местные ячейки и комитеты, имевшиеся к моменту I съезда ПСР, состоявшегося в конце декабря 1905-начале января 1906 года. Дело в том, что ПСР была первой и долгое время единственной политической партией в России, финансовая база которой составлялась из членских взносов. Именно по этому признаку была возможность зафиксировать наличие той или иной местной организации партии даже задним числом. Впервые в этих списках тамбовская организация ПСР появляется лишь в 1907 году — нет ее ни в 1906, ни в 1905 году. Если бы Спиридонова догадалась назвать Саратовский комитет или Волжский, то уже придраться было бы труднее. Саратов издавна был эсеровским центром в

волжских губерниях, включавшим, в частности, и тамбовскую. А если в некоторых книгах можно встретить упоминание, что на том или ином съезде или собрании присутствовали представители от таких-то губерний, включая Тамбовскую, то, по замечанию главы партии эсеров В. М. Чернова, часто некая губерния представлялась лицом от другой губернии.

Но все это, конечно, не значит, что Спиридонова не могла ничего знать или слышать об эсерах вообще. Только одно это может означать: что «здание тамбовского комитета ПСР» — фикция. Слышать же она могла и от самого Луженовского в пору его либеральничания, и в разговорах среди тамбовской молодежи в библиотеке; и в тюремной больнице могла встретиться с кем-то из осведомленных (кстати, эсеровский источник говорит то, о чем умалчивает Владимир и она сама, — Спиридонова до суда находилась в психиатрическом отделении тюремной больницы, уж очень буйно она себя вела. Тогда и особый надзор, на который она сетует, становится понятным — ведь сама же признается, что покушалась на самоубийство до суда, вот и боялось начальство этого). В Тамбове отбывал ссылку — почти 3 года — на рубеже нового века сам В. М. Чернов, оттуда же в организацию пришло тогда немало молодежи из Тамбова. Некоторые из них войдут потом в Боевую организацию ПСР весной 1906 года — правда, почти все они годы, предшествующие революции 1905 года, проведут вдали от Тамбова, и вся эсеровская работа, по утверждению Чернова, в Тамбове заглухнет, но, кто знает, может, воспоминания были еще живы. К тому же, вслед за Манифестом 17 Октября последовала амнистия, в первую очередь политическим, значит, и сидевшим по тюрьмам эсерам и террористам. Все они зимой 1905 года и рассыпались как раз по таким губерниям, как тамбовская (Тамбов всегда входил в список разрешенных для проживания ссыльным горо-

дов), занялись пропагандой среди крестьянства и многие снова были арестованы за это, и уж не тем ли же Луженовским?!

Так что все опять сходится к тому, что и членом ПСР в момент покушения не была Спиридонова. Эсеровская брошюра даже не находит нужным приписать ей что-либо из партийной работы. В письмах же своих из тюрьмы она обращается к товарищам по партии, как если бы она только в тюрьме перешла в эсеровскую веру. Тут и клятвы верности — зачем, если ты старый, опытный член партии? — и испрашивание советов, что ей делать или не делать — опять зачем, если задание предварительно обсуждалось, равно как, надо полагать, и последствия содеянного?

Итак, все, как ни крути, сходится к одному: где-то в январе 1906 года тамбовская конторщица Мария Спиридонова убила старшего советника губернатора «на почве ревности» и сумела сама и с помощью бесшабашно-либеральных доброжелателей придать делу политическую окраску. Вот и все. Воспаленное же лево-радикальное воображение приняло и выдало все за чистую монету.

Обернулось же убийство Луженовского тройным убийством: одного за другим уже в апреле-мае 1906 года эсеры-максималисты (это те самые, которые были еще боевой самой Боевой организации) казнили Аврамова и Жданова (кстати, не к чести эсеров, из-за угла). Ответственность взял на себя Волжский летучий отряд эсеров-террористов. Так и сказали: за Марусю.

Сами письма Спиридоновой да еще в аранжировке Владимирова — это какое-то кроваво-кошмарное чтиво. Ее письма со все нагнетающимися подробностями гнусных сладострастных пыток слабонервным читать не рекомендуется. Вот и до нашего времени дошла деталь о заражении ее сифилисом. Контекст письма такой: я считала, что все пытки и истязания проделываются надо мной по приказу начальства и что если

я еще скажу и о надругательстве со стороны Аврамова и Жданова (так и непонятно, кто же из них), то тем самым дам им в руки еще один факт для их продвижения по службе и награждения. Деталь, специально предназначенная для падкого на такие подробности «французского общественного мнения» — ну, как же, в России только так, чины присваиваются по степени сифилиса... Заметим только, что этот пункт обвинения так и остался недоказанным — осмотреть себя не дала. А сифилис, надо надеяться, в дальнейшем не подтвердился. Или подтвердился?? Но ведь не за что иное, как за «надругательства», и казнили эсеры двух жандармских офицеров. Только кого же это когда-нибудь трогало? Чести для них много — разбираться.

Вот и вся легенда. Но, может, и впрямь заслуживал Луженовский подобной кары? Нам попало несколько брошюрок — конечно, левых — того времени, где можно встретить, например, такие патетические восклицания: «Ну, кто же не знал злодеяний генерала-карателя (а ведь это с легкой руки Владимирова пошло), палача Луженовского?! Описанием их пестрели все передовые газеты...». Сами же имена пресловутой троицы становятся для радикальной журналистики нарицательными, пишутся потом с маленькой буквы: «пресловутые луженовские, аврамовы, ждановы и риманы» (тоже персонаж Владимирова из его «Карательной экспедиции отряда Семеновского полка»). Мы вовсе не утверждаем, что Луженовский был ангелом — умирял-таки крестьянские беспорядки на Тамбовщине, об этом мы нашли в донесениях тамбовского жандармского начальства, правда, без таких подробностей, как у Спиридоновой. Но там же можно найти подтверждения, что кое-что в сознании Спиридоновой сместилось: некоторые из злодеяний, а может, просто очень похожие на них, приписанные ею Луженовскому, совершены другими, но кто считает, одним больше или меньше... Просмотр большого числа

сохранившихся газет того периода не дал того результата, какого хотелось бы: не упоминается в них Луженовский до февраля 1906 года, да и после, а вот «запестрели» этим именем страницы самых радикальных листков после публикации в «Руси».

Вот ведь какие были времена — а может, они и всегда такие? — достаточно одного полубредового письма и одного бесшабашно-либерального журналиста — и легенда готова. Расчет по тем временам был точным, да и отступать Владимирову было уже поздно, если даже и выяснились для него некоторые противоречия. Правда, остается непонятным, почему, выпуская свои материалы книгой уже никак не раньше конца 1907 года, он не позаботился снабдить ее примерами протеста и возмущения передовой русской общественности. Неужели Л. Толстой промолчал? Или Короленко пропустил? А где же Горький был? И жаль, что даже задним числом Владимиров не убрал то явное несоответствие, что Спиридонова, суды и приговор, с одной стороны, а «мировое общественное мнение», с другой, шли параллельно. По его собственному датоисчислению, никак мировая общественность не могла повлиять на суд и отмену смертного приговора, даже если он был, — Владимирову удалось ее разбудить уже фактически после того, как со Спиридоновой все было решено.

В одном пособии для студентов американских университетов по истории русской революции есть такая фраза о Спиридоновой, вернувшейся в начале зимы 1917 года из Сибири: «старая террористка Спиридонова, известная своими подвигами еще со времени первой русской революции...» — «старой террористке» было тогда немногим более 30 лет, из коих 11 она провела в «местах не столь отдаленных», «подвиг» же за ней числился один — убийство чиновника Луженовского.

Сколько действительно славных имен ушло в небытие, сколько прекрасных подвигов остались неизвестными, а вот такие «легенды» почему-то живут...

ДРУГИЕ ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ

«Русь» («XX век»), 1906, февраль-март.

Владимиров В. Карательная экспедиция отряда лейб-гвардии Семеновского полка в декабре 1905 на Моск.-Казанской жел. дороге. М., 1906.

1905. Материалы и документы. Под общ. ред. М. Н. Покровского. Т. 1. Аграрное движение в 1905—1907 гг. Сост. С. Дубровский и Б. Граве. Изд. 1925. (Сост. по архивам губернских жандармских управлений).

Савинков Б. В. Воспоминания террориста. Харьков, «Пролетарий», 1926.

Климков Василий. (Уж не тот же В. Владимиров?) ...Расправы и разстрелы. (Письма, очерки и наброски). Спец. кор. газеты «Русь». М., 1906.

«Революционная Россия». №№1-77. Типогр. Партии Социалистов-революционеров.

Бурцев В. Л. Борьба за свободную Россию. Мои воспоминания.

Чернов В. М. Воспоминания социалиста-революционера. Т. 1. Перед бурей. Изд-во им. Чехова.

Обнинский В. П. Полгода русской революции. (Окт. 1905-апр. 1906).

Вопросы дня. Сб. статей; Вопросы момента. Сб. статей. М., 1906.

А. И. Спиридович. Партия социалистов-революционеров и ее предшественники. Изд. 2-е, Пг., 1918.

БРЕЙТБАРТ Екатерина — родилась в 1941 г. в Москве. Окончила педагогический институт имени Ленина. Литературный критик и публицист. С 1972 г. — в эмиграции. Ее статьи и рецензии публиковались в «Гранях», «Посеве» и других зарубежных изданиях.

ИСТОКИ

Евгений Гнедин

ВЫХОД ИЗ ЛАБИРИНТА

ЛАБИРИНТЫ ЭПОХИ

(О мемуарах Е. А. Гнедина)

В 1977 году Фонд имени Герцена в Амстердаме опубликовал воспоминания Е. А. Гнедина «Катастрофа и второе рождение». По неизвестным, верней всего, случайным причинам в книгу не вошли заключительные главы авторской рукописи, составлявшие очень важную ее часть. Дополнив и развив неопубликованные главы, автор превратил их в самостоятельное произведение, которое он озаглавил «Выход из лабиринта». Я считаю, что обе книги Гнедина должны привлечь внимание читателя, интересующегося основными проблемами нашей эпохи.

В мемуарах Евгений Александрович Гнедин описывает свою жизнь, при всей ее необычности отразившую судьбу его поколения. В начале пути Гнедин — революционер по убеждениям и идеалист в жизни — без малейших сомнений отдающий Советскому государству большое зарубежное наследство. Он видный деятель иностранной политики СССР, один из главных помощников Литвинова. В 1938 году Гнедин арестован, его избивают в кабинете Берии, затем в особо-режимной Сухановской тюрьме, но он не оговаривает ни других, ни себя. Почти два года строжайшей изоляции, стандартно-беззаконный суд, общие работы в лагере, ссылка, после смерти Сталина — реабилитация (запоздалая, благодаря вмешательству все еще влиятельного Молотова, и, как у всех реабилитированных жертв сталинских репрессий, оставляющая человека слегка второсортным и уязвимым в послесталинском государстве); затем — го-

Из книги мемуаров. Полностью выходит в издательстве «Чалдзепабликешнс».

ды литературной и журналистской работы, скромная пенсия — таковы внешние рамки судьбы автора, рассказанной со многими подробностями, иногда потрясающими. В эти рамки вмещается напряженная внутренняя жизнь, поддерживавшая Гнедина в самые страшные дни на Лубянке и в особо-режимной Сухановской тюрьме (в связи с которой Гнедин вспоминает любимую Сталиным зловещую поговорку — директиву: «Змея есть змея, тюрьма есть тюрьма»).

Главное содержание книги — мучительные сомнения и искания автора — этические, философские, политические и социально-экономические, начавшиеся, в отличие от многих людей сходной с ним судьбы, еще во время деятельного служения государству, и обретенное им в конце концов душевное равновесие на новой, философски глубокой и человеческой основе. Но и сейчас Гнедин пишет: «Кризис моего мировоззрения еще окончательно не разрешен». И действительно, в книге нет (к счастью!) окончательных решений, нет универсальных ответов, но есть главное — страстный поиск границы раздела добра и зла, осуждение подмены средств и целей, приведшей нашу страну к ужасам недавнего прошлого и к бюрократической зловещей для всего мира стагнации в настоящем. При этом позицию Гнедина, ясно понимающего все негативные стороны нашей действительности, отличает выстраданный личный и исторический оптимизм.

В книге много мыслей, глубоких авторских замечаний и наблюдений. Я не буду пересказывать концепции автора, она не вполне совпадает с моей, и я боюсь ее искать, приведу лишь выборочно несколько цитат.

«В призыве (Солженицына) жить не по лжи главное — это сама мысль о необходимости отличать добро от зла». Я думаю, что против этой мысли не будет возражать и Солженицын, так же, как многие его доброжелательные оппоненты.

«Историческим преступлением партийной бюрократии под сталинским главенством была ликвидация НЭПа, то есть уничтожение предпосылок благоприятного развития страны в условиях смешанной экономики».

«Идея строить социализм в полуаграрной стране послужила основанием для массовых репрессий против крестьянства».

«Я напоминаю, что из истории человечества и из индивидуальных судеб неустрашим тот плодотворный новаторский дух, который одновременно есть и дух трагедии». Вне контекста эта последняя цитата вызывала бы у меня некоторую внутреннюю насторожен-

ность своей красивой неоднозначностью. Но весь контекст книги показывает, что не революционное насилие, не политический авантюризм и цинизм, а именно новаторский, и в этом смысле революционный дух перемен в обществе и в жизни — главное для Гнедина.

Мемуары Гнедина — это эмоциональная исповедь человека, прошедшего большой путь духовной эволюции. Важное место в них занимают стихи. (Глаза горбуна: «Мой горб — мой долг... и только боль былой потери в глазах тоской отражена»); Второе рождение горбуна — отсюда название книги? — «себя не потерять в пути — вот все чему меня обяжет мой долг, пылающий в груди».)

Центральный аллегорический образ книги — образ лабиринта. Это не только тюремные коридоры, в которых страдают и не находят выхода несчастные люди, но и образ трагического блуждания мысли, воплощение «иронии истории». Для Гнедина лабиринт эпохи, погубивший миллионы, губящий саму мечту о новом, более справедливом обществе, угрожающий будущему всего человечества, создается перерождением средств и последующей подменой цели. Вместо революционного идеализма появляется террор (подмена средств). Вместо великой мечты приходит корыстолюбивый бюрократизм (подмена цели). Этот основной этический тезис Гнедина бесспорен и глубок, как бы ни относиться к самим исходным целям — считать ли их благородной утопией, или гениальным проникновением в суть проблем, стоящих перед человечеством, или опасным заблуждением.

В центре внимания Гнедина — социологический и психологический анализ характера человека его поколения («красного», «белого»), «эпохальный характер», по использованному в мемуарах выражению Герцена, с его исходной бескорыстной и благородной приверженностью к крупномасштабным проблемам человечества и потенциальной способностью к тому перерождению, которое приводит в «лабиринт».

Из моего краткого изложения, я надеюсь, ясна общечеловеческая значимость волнующих Гнедина проблем, необычность и одновременно типичность рассказанной им судьбы.

Издание мемуаров Гнедина в полном виде на русском и иностранных языках представляется мне важным делом.

Андрей Сахаров

29 ноября 1978 года
Москва

ОТ АВТОРА

В 1977 году Фонд им. Герцена в Амстердаме опубликовал мои воспоминания: «Катастрофа и второе рождение». Я глубоко благодарен незнакомым мне руководителям Фонда имени Герцена.

В книгу вошла та часть моих «Записок», где говорится о снятии М. М. Литвинова с поста наркома, об отмене цензуры телеграмм иностранных корреспондентов, об обстоятельствах моего ареста в мае 1939 года. Рассказано о первом годе следствия, когда от меня тщетно добивались ложных показаний о несовершенных преступлениях.

Я не знаю, располагало ли издательство заключительной частью «Записок»; во всяком случае она не опубликована, читателю осталось неизвестным, чем закончилось следствие, каков был «суд» и каков приговор, какова была дальнейшая судьба автора. Осталось неясным, что автор подразумевал под таким странным понятием, как «Второе рождение». Этому посвящена заключительная часть «Записок», рассказ о продуманном и пережитом в течение второго года следствия и пребывания в секретной тюрьме с июня 1940 года по июль 1941 года.

В заключительной части раздвинуты рамки повествования и яснее освещены перемены в мировосприятии автора, сложившегося в двадцатых годах. Эту переоценку ценностей я имел в виду, говоря о «втором рождении» и включив это понятие в заголовок книги.

Под этим углом зрения я дополнил неопубликованный вариант заключительных глав моих «Записок». Мне хотелось бы, чтобы читатель воспринял эту их часть как рассказ о различных «моделях» выхода из лабиринта обмана и самообмана.

В ТЮРЕМНОМ ТУПИКЕ

Мысль становится действием

«Змея есть змея, тюрьма есть тюрьма». Эту восточную поговорку любил повторять не кто иной, как Сталин, который охотно напоминал, что тюрьма подобна ядовитой змее и, по самой своей сути, губительна для человека. В ином случае это не тюрьма. О ядовитых речах Сталина мне рассказал в тюремной камере бывший партийный деятель. В устах диктатора афоризм имел значение директивы. Смысл сталинских слов был тот, что власти обязаны быть жестокими, тюрьма *должна* быть застенком, пребывание в тюрьмах и лагерях *должно* быть мучительным.

Сухановская особорежимная тюрьма представляла собой изошренное, продуманное Берией осуществление жестоких требований Сталина. Я пробыл в ней 13 месяцев, начиная с июня 1940 года. Сухановская тюрьма, очевидно, имела двойное назначение: застенок для пыток и расстрелов, расположенный в стороне, за городом, и изолированное, засекреченное место заключения для «консервации» жертв беззакония.

В Сухановской тюрьме имелись подвалы и камеры, где применялась всяческая «техника» (знаю по рассказам), и была пустая церковь, где избивали «по старинке» (мой случай). Иногда подследственных привозили в Суханово ненадолго, только для соответствующей «обработки», как выражались следователи; иной раз заключенному только показывали Суханово, чтобы застрашать, и снова увозили в обычную тюрьму. Часто использовали застенок и для пыток, и для дальнейшей строгой изоляции там же, в Суханове, как это случилось со мной. Бывало и так, что привезенных в Сухановскую тюрьму заключенных сразу помещали в условия строгого режима на месяц, а то и на год, если не больше.

Назову известные мне имена сухановских узников: Г. А. Астахов (советский дипломат, мой добрый знакомый); Ермил Бобоченко, бывший секретарь Мурманского обкома (я встретился с ним в лагере, аппаратчик, интриган, стал в лагере мелким спекулянтom и доносчиком); Чингис Ильдым, видный хозяйственный работник, друг Кирова (мой первый сосед в Суханове)*; инженер из Баку Дорожилов (мой недолгий сосед, приятный человек); бывший советский консул на Востоке Апресов; бывший работник Путиловского завода инженер-изобретатель Васильев (он и в Суханове из хлеба конструировал модель машины); несколько бакинцев, фамилии которых я не знаю; Булатов, бывший зав. орготделом ЦК КПСС; Ф. Крейнин, работник НКВД (провокактор, о котором рассказу); и, наконец, Н. И. Ежов. Это просто перечень имен, ставший мне известным, по этому перечню нельзя судить о составе и облике тогдашних заключенных в Суханове.

Подследственных отправляли в особорежимную тюрьму для строгой изоляции по различным причинам. Одна из них: подследственный еще мог понадобиться в качестве лжесвидетеля. (Такую роль играл, например, Н. И. Ежов. Бывший палач после своего ареста помогал новым палачам конструировать лживые обвинения. Именно в Сухановской тюрьме Ежов на очных ставках в грубо циничной форме давал лживые показания, губившие еще не сломленных людей.)

В Сухановскую тюрьму сажали и если дело «не получалось» (мой случай). Самая «консервация» тоже была пыткой, цель которой заключалась в том, чтобы несчастный, когда решат оформить окончание законсервированного дела, был предельно оторван от действительности, а то и вовсе потерял способность правильно реагировать на происходящее, тем более —

* См. книгу «Катастрофа и второе рождение».

сопротивляться. В некоторых случаях, когда начальство не приняло решения по затянувшемуся делу, заключенного направляли в особорежимную тюрьму (с ведома того же начальства) просто потому, что на эту тюрьму не распространялись правила и сроки, имевшие некоторое значение в других следственных тюрьмах; судьба невинного человека, конечно, не занимала руководителей «следствия»: выживет — его счастье, не выживет — не велика важность.

В стандартной сухановской камере (были и «не стандартные» — подвальные и «церковные») потолок не протекал, не промерзали стены, как во многих тогдашних тюрьмах. То была чистая, аккуратно сделанная клетка, где заточенная птица ударялась о прутья, даже не пытаясь взлететь, а едва лишь расправив крылья. Койку на день привинчивали к стене, и это лишало клетку даже подобия жилья. К тому же, было трудно протискиваться между привинченными к полу предметами, и это создавало ощущение какой-то дополнительной замкнутости, скованности. Мне пришлось побывать в такой камере, где ночью и при откинутой койке заключенному приходилось нелегко: койка опускалась не от боковой стены с опорой на табурет, а от торцевой, той, где двери, и повисала вдоль боковой стены, так что приходилось спать в наклонном положении, причем наклон был в сторону головы.

В Суханове змеиная злоба тюремщиков выражалась в пытке изоляцией и теснотой, в назойливом надзоре. Насколько я мог уловить, один надзиратель обслуживал три камеры. Глазок открывался чуть ли не ежеминутно. Стоило сделать малейшее движение, чтобы загремел замок и надзиратель вошел, озирая заключенного и камеру.

Прогулок не было все тринадцать месяцев. Тринадцать месяцев я пробыл взаперти. Правда, баня была во дворе. Но, пока не зажили рубцы от побоев, желанная баня причиняла страдания: в тесной каморке

меня ставили под душ, и вода хлестала по израненному телу. И все же выход из камеры был выходом в мир. Летом я жадно, с упоением, вдыхал пьянящий душистый воздух; «одуряющий запах полыни стал запахом жизни с тех пор, как поспешно меня пронесли в темноте через двор». Но зимой пронзительный морозный воздух обжигал легкие, привыкшие к духоте камеры.

«Законсервированных» заключенных редко вызывали на допросы. Месяца через два после избиений меня вызвал младший лейтенант Гарбузов, видимо, только затем, чтобы посмотреть на меня. Еще через несколько месяцев, в середине зимы, счел нужным взглянуть на меня капитан Пинзур. Капитан ни словом не обмолвился о моем деле, а я — насколько помню — не стал спрашивать. Происходило это глубокой ночью. Видимо, я счел бессмысленным задавать вопросы, вероятно, я думал лишь об одном — не угрожают ли новые пытки, а возможно, я просто был пассивен после многих месяцев изоляции.

Однажды следователь Гарбузов, вызвав меня, завел мирный разговор, пытаюсь уловить, представляю ли я после двух лет тюрьмы, что происходит в мире. Тогда я удивил его, изложив два варианта возможного (но еще неизвестного мне тогда) наступления Германии на Западе; лейтенант невольно информировал меня о подлинном ходе дел, воскликнув по поводу одного из моих прогнозов: «Так это же правильно!» Моя последняя встреча с Гарбузовым происходила уже поздней весной 1941 года, незадолго до суда (чего я, конечно, не знал). На этот раз следователь был со мной неожиданно груб, по поводу какой-то моей реплики поднял крик, явно рассчитывая, что в соседних помещениях его коллеги услышат, как грозно он со мной разговаривает. Я сказал лейтенанту, что он впервые груб со мной и это не способствует моему уважению. Он замолчал и расстался со мной, вероятно, уже

зная, что мы никогда больше не встретимся, даже если я останусь жив.

То, что заключенного месяцами не вызывали на допрос, могло быть и облегчением, ввиду обычного характера этих «допросов». Но когда при строгой изоляции отсутствовало общение хотя бы со следователем, заключенный вовсе терял представление о ходе времени и о перспективе собственного бытия. Парадоксально, даже трагично: встречи со следователем были для заключенного формой контакта с миром. Отсутствие допросов обостряло ощущение полного отрыва от жизни.

За тринадцать месяцев у меня было (не считая встречи с Чингисом Ильдрымом) трое соседей, из них двое — провокаторы.

Довольно скоро после пыток ко мне посадили бывшего статистика бакинского горсовета (забыл фамилию этого субъекта). Сосед должен был мне продемонстрировать, что разумно и выгодно давать показания. Он имел право лежать днем на койке, ему давали книги (Горького), а будущее его не пугало: он подал следователю докладную записку о том, как наладить учет и статистику в ГУЛаге, предложил свои услуги и надеялся получить спокойную работу. Пока этот статистик-энтузиаст находился в моей камере, отведенное мне пространство свелось к двум-трем квадратным метрам; мне было запрещено переходить на его сторону в нашей клетке. Таким образом, я вовсе не мог передвигаться, если же я, разговаривая с ним (как никак — собеседник!), садился на край его койки, надзиратель немедленно требовал, чтобы я вернулся к своему табурету. Когда однажды я не подчинился, пришел начальник тюрьмы, он угрожал отправить меня в карцер и меня же запугивал тем, что по моей вине закроют койку соседа.

От кратковременного пребывания в моей камере статистика была и польза: он научил меня делать

иголку из спички. Сам он ловко орудовал такой иглой, вызывая недоумение тюремщика; моему привилегированному соседу делать замечания надзиратель не должен был, но он неоднократно обращался ко мне с вопросом: «Чем вы шьете?»

Статистика убрали из камеры в тот самый день, когда я на допросе у следователя отозвался пренебрежительно о своем соседе. Его исчезновение мне было приятно.

Загрустил я зимой, когда другого моего недолгого соседа, инженера Дорожилова, увели в «никуда». Дорожилов попал сначала в тюрьму в Баку вместе с большой группой работников нефтяной промышленности. Потом его препроводили в Москву, в Суханово. Его, как и меня, редко вызывали на допрос. Это был по природе деятельный, жизнелюбивый человек, не лишенный чувства юмора. Наше положение он оценивал трезвее, чем я, боялся худшего и с трудом, отчасти с моей помощью, преодолевал уныние и даже страх.

Общение с соседями было каждый раз кратким эпизодом. Потом усиливалось чувство полной изоляции. Помню, в тоске я говорил себе: «Вот было бы счастье хотя бы утром и вечером переброситься с кем-нибудь несколькими словами». Иной раз мне удавалось, став на табурет и подтянувшись на руках, взглянуть в щель между полуоткрытыми форточками во внутренней и наружной раме. Я видел, как вдалеке, в роще, под дождем торопливо шли люди. Я думал: а ведь они заняты житейскими делами и даже не понимают, какие они счастливые. Оказавшись после суда в июле 1941 года в Бутырках, я, желая приглядеться к тюрьме, согласился идти убирать камеры (уже началась эвакуация тюрем); войдя в пустую камеру, где еще стояли железные койки, валялись шахматы и кипы книг, я, недавний сухановский узник, подумал с горькой иронией, но и с завистью: «Вот жили люди!»

Обычно в Сухановской тюрьме царила глубокая, гнетущая тишина. Но иногда ее нарушали страшные вопли. Либо тащили по коридору избитого страдальца, либо кричал обезумевший от страха человек. Одно время в соседней камере сидел сумасшедший. Монотонно и громко он выкрикивал одни и те же слова. Однажды, когда тюремщики были заняты моим разбушевавшимся соседом, я воспользовался этим, чтобы выглянуть в щель между форточками. Была весна, и под окнами тюремного флигеля какая-то незадачливая воспитательница детского сада выстроила ребят для гимнастики. Я разглядывал детишек, которых не видел больше года, а рядом за стеной вопил мой обезумевший товарищ по несчастью: «Позовите моего брата!»

.....

Мне еще придется писать о том, как жизнь начинается «по ту сторону отчаянья». Я приблизился к этому состоянию, когда отверг и соблазны уступок палачам, и соблазн самоубийства. Но то была лишь первая стадия возвращения к жизни. Ведь надо было жить. А именно этой возможности я был лишен в тюрьме. Сухановская камера была таким местом, где влияние крайней формы изоляции, «сенсорной изоляции», представляло наибольшую опасность для заключенного. На моей психике это сказалось не к концу пребывания в Суханове (тогда я уже жил интенсивной внутренней жизнью), а в первый период. В мыслях я уже перевалил через хребет отчаянья, но на деле, ослабленный физическими страданиями, лишенный книг и прогулок, я в мертвой тишине голубой темницы погрузился в призрачное бытие.

Лишенный впечатлений — зрительных, слуховых, не говоря уже о пище для ума, — я по временам переставал быть самим собой. Так, по крайней мере, я теперь оцениваю те мнимые способы преодоления душ-

ной пустоты, к которым я прибегаю в сухановской камере осенью 1940 года. Я стал «дрессировать мух».

Снова, как тогда, когда я в предыдущей книге описывал пытки и когда поведал о своих колебаниях в период «следствия с пристрастием», я теперь испытываю внутреннее сопротивление и неловкость. Но если бы я не стал говорить о неприятных сторонах и последствиях тюремного заключения и лагеря, то мое повествование в целом не было бы правдивым. Ведь я рассказываю о том, как я не сдался, говорю об условиях спасения личности, и такой рассказ может быть поучительным — именно если я скажу о слабости и смятении узника.

Итак, я «дрессировал мух». Попросту говоря, я выбирал из множества мух одну, отрывал крыло и наблюдал, как она прыгает, реагирует на шорохи, отыскивает «колодец» — бумажку, смоченную водой. Замечу, что в этом занятии не было какой-либо склонности к мучительству. Мне и в детстве были чужды, неприятны игры, причинявшие животным боль, мне чужд жестокий охотничий инстинкт. Может быть, признаком «нарушения нормы» как раз и было то, что в сухановской одиночке я относился к «дрессировке мух» как к безобидному, чистому эксперименту.

Спустя тридцать пять лет я могу восстановить в памяти подробности «дрессировки мух»; это свидетельствует о том, какое место эта странная игра занимала в психике заключенного. Он сам был похож на муху с оторванным крылом. Его именно так и дрессировали, чтобы он оставался жив, но не мог нормально передвигаться и при малейшем шорохе замирал.

Примерно тогда, когда прекратились мои «игры с мухами», я осознал, что надо употребить чрезвычайные усилия, чтобы избежать деградации. Некоторое время я колебался, размышляя, что важнее — прогулки или книги? Я принял правильное решение и объявил голодовку, требуя, чтобы мне дали книги. Уже через

день явился начальник тюрьмы. Это был тот самый тюремщик, который, когда меня били по пяткам, предложил «снять носочки». Однажды у меня был конфликт с начальником тюрьмы. Войдя в камеру, он заговорил со мной угрожающе; я заявил, что вызвал его не для того, чтобы слушать грубости, и потребовал, чтобы он ушел. Редкий случай: заключенный «выгнал» из камеры начальника тюрьмы. Как бы то ни было, мне не пришлось долго голодать, вскоре мне стали приносить книги в камеру. Более того, нашелся такой мягкосердечный надзиратель, который выслушивал мои заказы и систематически приносил мне том за томом сочинения Гегеля, книги Александра Блока и Герцена. Я с благодарностью вспоминаю этого пожилого рыжеватою человека, небольшого роста, с печальным веснушчатым лицом.

Любопытно — я до сих пор помню, что именно я почерпнул из книг Блока или Герцена, из каких именно произведений, но я совершенно не помню, что дал мне в тюрьме Гегель (кроме знаний, конечно). Мой друг, глубоко мыслящий человек, Михаил Яковлевич Гефтер, заметил по поводу этого моего наблюдения, что в огромную, замкнутую в себе систему Гегеля есть много входов, но из нее нет реальных выходов в жизнь. Это — остроумное замечание, верное хотя бы потому, что я как раз в тюрьме страстно искал в книгах «выход», эффективный ответ на коренные вопросы бытия и цели.

Когда я получил возможность читать книги, да еще по своему выбору, когда стал размышлять над философскими и поэтическими произведениями, тогда началась жизнь «по ту сторону отчаянья». Тогда я возобновил и мысленные записи в моем лирическом дневнике.

Когда я говорю здесь о «тюремных буднях», я имею в виду не только прозябание, грозящее вырождением, но и трудную «будничную работу» мысли:

поиски выходов. Утешение приносили и мнимые выходы, особенно, если казалось, что они дают возможность взглянуть куда-то вглубь или ввысь.

Тот же мой друг, принадлежащий к более молодому поколению, послушав мои рассказы о тюремных размышлениях, заметил, что в описываемых мною условиях мысль стала действием. Это верно. Мысль стала действием, потому что она стала содержанием жизни в изоляции, формой творчества и формой движения в темнице. Но не всегда это было отрадным движением к достижимой цели; наоборот, в тюрьме более, чем где-либо, мысль — выражение трагической коллизии.

Известны слова Шопенгауэра, сказавшего, что жизнь есть одновременно и комедия и трагедия: Повседневные заботы, житейские конфликты, мелкие интересы — это сцены из комедии. Однако невыполненные желания, беспощадно растоптанные судьбой надежды, неисчислимы ошибки — все это в сочетании с нарастающими страданиями и смертью превращает жизнь в трагедию. Так как люди часто неспособны в будничной жизни сохранять достоинство, то, действуя в трагических обстоятельствах, они порой оказываются комическими персонажами. (Суетности «внешнего мира», лишаящей одухотворенности «внутренний мир», уделял много внимания Белинский, особенно в своей переписке с Бакуниным, называя «гривенниками» навязчивые тягостные мелочи повседневной жизни.)

Я вспомнил об этих рассуждениях, потому что в их свете становится яснее, почему в тюремном заключении мысли могут стать отражением жизненной трагедии в чистом виде, могут быть трагическим действием.

Я, конечно, не хочу сказать, что только в тюремном заключении постигаются роковые проблемы, возникающие в раздумьях о пройденном жизненном пути.

Но в тюрьме, да и вообще в вынужденном одиночестве, особенно явственно понимаешь, что мечты не осуществлены, ошибки неисправимы, надежды тщетны и смерть недалеко, возможно, в обличье палача. Но в этих же условиях на душевное состояние влияет своеобразное преимущество узника, находящегося в полной изоляции; хоть он страдает, даже в страхе, зато освобожден на время от повседневных забот «быстротекущей жизни», от мелких житейских тягот, от суеты, из-за которой трагедия — по своей сути — может обратиться в комедию — по форме.

Стало быть, в тюремном одиночестве человек, если он владеет своими нервами, может порой мыслить на уровне чистой, высокой трагедии. Правда, в одиночестве, погрузившись в размышления, человек может незаметно для себя увлечься и некими абстрактными понятиями, за которыми не скрывается доступная людям реальность. Такова была обуревавшая меня в секретной тюрьме жажда бессмертия.

Если бы я был религиозен, я бы обрадовался, что «жив чувством соприкосновения таинственным мирам иным» — как говорил русский инок у Достоевского. Не было этого. К сожалению. Несмотря на то, что человек в тюрьме причастен к тайнам бытия больше, чем в повседневной сутолоке.

Я думаю, что страстная воля к бессмертию, томившая душу в одиночном заключении, была и выражением тоски по жизни во всем ее величии и красоте, была вместе с тем игрой ума и защитной реакцией в застенке. С этой точки зрения, мои попытки в тюрьме выразить в словах мечты о бессмертии — форма поисков выхода из тупика.

Три основных записи вошли в цикл под названием «Жажда бессмертия». Первое стихотворение «Я — всё», второе «Ты — не один» и третье «Мы — мир». Для первого я использовал свое юношеское стихотворение, которое начиналось с восклицания: «Я — луч.

Я — дождь. Я — всё. Я знаю всё. Всего хочу!», а завершилось словами: «Но, жадный и немой, сурово я умру. Неужто я умру? Неужто всё забуду?». Второе стихотворение в своем зачине, как я теперь обнаружил, было неосознанной антитезой к совсем другому юношескому стишку. Я писал когда-то, еще в Одессе: «Четыре стены я раскрою, на дольний мрак не оглянусь, плененный мировой игрою ввысь поднимусь». Тюремные записи: «... душа молчит и глух поэт, когда четыре стены скроют, и мира нет». Мысленное преодоление одиночества: «Я — не один. Земля послушно несет, кружит, и небо с нежностью воздушной в глаза глядит». И снова отчаянье: «Но все ж один... Ведь я неповторим. В страданьи пламенном сгорю я, никто не крикнет: 'Мы горим'». Спасенье искал я в вечной жизни самой мысли: «Хочу... своею мыслью голодной других насытить бытие; хочу жить в памяти народной и знать бессмертье свое. Далекому промолвить внуку, сквозь вечность протянувши руку: Ты — не один!» Третья мысленная длинная запись была пантеистической: «День мой сверкает. Светла моя ночь. Нет мне начала и нет мне конца. Ветер — он сын мой, земля — моя дочь, — радуют сердце отца».

Привожу эти записи потому, что игра мыслей в изоляции от мира отражает и прикосновенность к вечным идеям. Ведь этого добивались отшельники. Через много лет после моих порывов к слиянию с миром я прочел в книге академика Конрада выдержки из китайского трактата «Западная надпись»: «Небо — мой отец. Земля — моя мать. Все люди — братья. Все вещи — мои товарищи». Но зачем мне уподобляться китайским мудрецам? Ведь и русский инок призывал любить мир — «всецелою, всемирною любовью». Я мог бы сослаться и на философию еврейских цадиков. Есть объединяющая всех людей, общая всем трагедия и высшая радость...

Итак, рассказ о тюремном тупике, начатый зловещим изречением «змея есть змея, тюрьма есть тюрьма» и посвященный в значительной своей части опасным сторонам пребывания в особорежимной тюрьме, — я заканчиваю рассуждением о высокой трагедии и общечеловеческой радости.

Такой ход повествования отражает развитие моего душевного мира во время долгого пребывания в Сухановской тюрьме. Тюремщики вряд ли были бы способны понять, каким образом эпитет «особая» может приобрести иной смысл, чем тот зловещий, который они ему придавали. Действительно, рассказывая о моих мечтаниях в одиночке, я описываю особое состояние, но не состояние деградации, которого добились тюремщики, а наоборот, поиски выхода из тупика. Правда, мечты о бессмертии могли быть и формой бегства от страшной действительности. Все дело в том, что бежать от нее нельзя было. Скрыться от действительности было невозможно потому, что тюрьма была частью страны (я уже писал об этом). Сухановская тюрьма с ее условиями существования, губительными для личности, была по своей сути типичной для страны и эпохи. Эти аномальные условия не могли бы стать реальностью, если бы эту тюрьму не породил античеловечный режим того времени.

Мои размышления в одиночке были не только поисками выхода из тюремного тупика, но поисками выхода из огромного лабиринта обмана и самообмана.

ГНЕДИН (Гельфанд) Евгений Александрович — род. в 1898 г. в семье русских политэмигрантов. Его отец Парвус (А. Л. Гельфанд) был в то время одним из лидеров левого крыла немецкой социал-демократии. В 1903 г. его мать расходится с мужем и увозит сына в Россию. В Одессе он оканчивает среднюю школу и поступает в университет. В 1920 г. он переезжает в Москву (тогда же по поли-

тическим причинам порывает с отцом и принимает фамилию Гнедин), затем — в Петроград, где учится на экономическом факультете Политехнического института. С 1922 г. работает в НКИДе. В 20-е годы начинает выступать как журналист и в 1931 г. уходит из НКИДа, становится профессиональным журналистом, работает зам. зав. иностранным отделом «Известий». В 1935 г. назначен первым секретарем советского посольства в Берлине, с 1937 по май 1939-го — работает зав. отделом печати НКИД. В 1931 г. стал кандидатом в члены партии и оставался им до ареста. Арестован в 1939-м, два года провел под следствием, приговорен к 10 годам лагерей. В 1949 г. отправлен «навечно» в ссылку в Центральный Казахстан. В 1955 г. реабилитирован и вернулся в Москву. В 60-е и в самом начале 70-х годов печатался в «Новом мире». В самиздатском варианте 2-го выпуска сб. «Память» опубликовал работу о предвоенных советско-германских отношениях (вышла отдельной брошюрой в изд. «Хроника»). В Фонде им. Герцена (Амстердам, 1977) вышла его книга «Катастрофа и второе рождение».

Дорогой Андрей Сахаров!

Парижский комитет за соблюдение заключительного акта Хельсинских соглашений шлет Вам свои горячие пожелания к Вашему шестидесятилетию и подтверждает Вам свою полную солидарность с Вашей вдохновенной борьбой.

Жан д'Арси, Мохамед Аркун, Марсель Арланд, Филипп Атжер, Ги Оренш, Жан-Мари Бенуа, Клод де Буасанже, о. Бернар Бро, г-жа Роже Келлуа, Жак Кара, Бернар Шено, Жорж-Эмманюэль Клансье, Оливье Клеман, Филипп Декартр, Жан Делюмо, Жан-Мари Доменак, пастор Андре Дюма, Морис Дюверже, Жан Эппенштейн, Пьер Эмманюэль, Ален Жилло, Мишель Ги, Лео Амон, Рене Уиг, Жерар Изразль, Жак Косиуско-Моризе, Марсель Ландовски, Жан Лескюр, Андре Львов, Пьер Мазо, Альбер Мемми, Жак Нанте, Жаклин Небу, Эдмон Петтити, Даниэль Пезериль, Ален Равенн, Филипп Сэн-Марк, Пьер Шеффер, Жан-Клод Серван-Шрейбер, Жан-Франсуа Сикс, Поль Тибо, Ивана Тигрид, Павел Тигрид, Ален Турэн, Раймон Трибуле, Веркор, Жан-Пьер Вернан.

Литература и время

Мария Шнеерсон

РАЗРЕШЕННАЯ ПРАВДА

«У народа, лишённого общественной свободы, литература — единственная трибуна, с высоты которой он заставляет услышать крик своего возмущения и своей совести».

.....
«Цензура — та же паутина: маленьких мух она ловит, а большие ее прорывают. Намеки на личности, нападки умирают под *красными чернилами*: но живые мысли, подлинная поэзия с презрением проходят через эту переднюю, позволив, самое большее, немного себя почистить».

А. И. Герцен

Эти мысли Герцена, высказанные сто тридцать лет назад, звучат так, словно они принадлежат кому-то из нынешних критиков. Но ведь современная русская литература многолика. Никто не станет спорить, что словами Герцена можно охарактеризовать лучшие вещи Самиздата и Тамиздата. Никто не станет спорить, что слова эти не имеют никакого отношения к литературе соцреализма. Но можно ли отнести их к таким подцензурным писателям, как, скажем, В. Распутин, Ю. Трифонов, В. Белов?

На этот счет существуют разные мнения. Неоднократно говорил о современных «легальных» писателях А. Солженицын. «Не такое уж бесплодное оказа-

Продолжение дискуссии, начатой в № 25.

лось поле литературы. Как ни выжигали в нем все, что дает питание и влагу живому, а живое все-таки выросло. Можно ли не признать за живое «Теркина на том свете» и криволучинских мужиков («На Иртыше» С. Залыгина. — М. Ш.)? Как не признать живыми имена Шукшина, Можаяева, Тендрякова, Белова да и Солоухина?» («Бодался теленок с дубом»).

Через 12 лет Солженицын дает аналогичную оценку: «Русская литература всего больше меня поразила и порадовала, именно в эти годы, когда я выслан. И не в свободной эмиграции она имела успех (...) а у нас на родине, под мозжащим прессом. И созданся этот успех даже именно на главном стержне русской литературы, который в советской критике полупрезрительно называют «деревенской литературой» — а на самом деле это труднейшее направление работы наших классиков. Так вот оно в последние годы имело замечательные результаты, несмотря на все притеснения» (интервью с корреспондентом Би-Би-Си И. Сапиэтом, февраль 1979 г.).

Противоположная точка зрения выражена в статье Ю. Мальцева «Промежуточная литература и критерий подлинности», напечатанной «в порядке обсуждения» («Континент», 1980, № 25). «Промежуточной» автор называет русскую подцензурную литературу, не прославляющую советскую власть, как литература соцреализма, но и не обличающую советский строй, как диссидентская. Речь идет о писателях, которые «просто пишут хорошие книги», но при этом не подвергаются репрессиям. «Писатели эти не подходят даже близко к постановке кардинальных проблем советского общества», — заключает критик.

Относительно мнения Солженицына в статье говорится следующее: «...даже наш великий проповедник жизни не по лжи в порыве великодушия (и благодарности за крохи правды) простил им все...» Но ведь в словах Солженицына не слышно снисхождения, ни-

каких скидок на бедность он не делает. Русскую подцензурную, но не официозную литературу, которую Мальцев окрестил «промежуточной», автор «Архипелага ГУЛаг» назвал «стержневой литературой».

* * *

В самом начале статьи Мальцев формулирует свой приговор (как судья, до разбирательства дела уже называющий подсудимого преступником): «Даже до всякого знакомства с этой промежуточной литературой возникает сомнение: а возможно ли такое?» Аналогичная мысль выражена и в конце статьи: «Разрешенная правда подозрительна самим уже фактом ее разрешения».

Рассуждает критик вполне резонно, опираясь на законы логики. Первая посылка: в СССР существует жестокая цензура, не допускающая критики советского строя. Вторая посылка: в СССР печатаются Белов, Трифонов, Астафьев и др. Вывод: следовательно, эти писатели говорят неправду или полуправду и не подвергают критике существующий режим. Убедительно? Очень! Незачем даже тратить время на чтение разрешенных писателей, заранее установив, что произведения их не могут быть полноценными.

Однако, помимо силлогизма насчет литературы и цензуры, Мальцев дает и развернутую аргументацию. Приводятся цитаты из статей и из интервью «промежуточных» писателей. Устанавливается, что ни один из них не сидел в тюрьме или в доме для умалишенных, не был в ссылке, не выдворялся за границу. Хуже того: этих писателей ценят некоторые либеральные критики и даже еврокоммунисты. И еще хуже: они, эти писатели, ездят с разрешения властей по заграницам! «Разгуливая свободно по улицам Парижа и Ри-

ма (...) эти честные писатели играют в нечестную игру (...) Ложь само их присутствие на Западе».

Часто бывал, скажем, за границей покойный Высоцкий. Пел он в каком-нибудь Париже или Нью-Йорке свои песни, притом не самые крамольные, и ни разу не обмолвился о злодеяниях советской власти. Вывод очевиден: хотел того или нет, но объективно служил интересам КПСС! Но почему же — напрашивается вопрос — почему соотечественники *так* хоронили своего поэта? Ведь не как верноподданного же?! Значит, честные русские люди не поставили ему в вину частые поездки за рубеж. Почему же Мальцев так строг к тем, кто хоть изредка может вырваться из своей тюрьмы, подышать вольным воздухом, чтобы вновь вернуться за решетку?! Впрочем, критик склонен даже прощать этих, «промежуточных»: «Ведь не их вина, что режим их использует как орудие своей пропаганды. Не этого они хотели...»

Мальцев, конечно, понимает, что оценка любого литературного явления должна основываться не только на отдельных высказываниях писателя, не только на мнении критиков, левых или правых, не только на том, кто куда ездил и по каким улицам ходил. Мальцев, конечно же, понимает, что в первую очередь ценность писателя определяется ценностью созданных им произведений. Ведь как-никак речь идет об искусстве! Поэтому наряду с аргументацией, так сказать, внелитературного порядка, фактически низводящей «промежуточную» литературу до уровня рептильной, автор статьи пытается анализировать некоторые произведения.

Но, как правило, анализа в статье нет. Есть вырванные из художественного контекста цитаты. Есть безапелляционные оценки. Например, говорится, что произведениям В. Распутина присущи «частые композиционные просчеты, сбивающие напряжение, ослабляющие эту трагическую атмосферу». Быть мо-

жет, критик прав. Но о каких просчетах идет речь, в каких произведениях они встречаются — читателю остается неизвестным. В другом месте утверждается, что «Распутин почти никогда не опускается до мелких подачек цензуре». Значит, все же иногда опускается? Где? Что это за подачки? Бог весть!

Столь же голословно звучат и некоторые обобщения: «деревенщики прячутся от проблем в фольклоре»; «Трифонов уходит в 'интим', в частную жизнь и психологию». И мы должны поверить на слово, что С. Залыгин в таких произведениях, как «На Иртыше» и «Комиссия», или Ю. Трифонов в «Обмене» и «Доме на набережной» прячутся от правды в «интиме» да в фольклоре. Утверждая, что «промежуточные» «отгораживаются от жгучих проблем России», Мальцев замечает: это «всякому вдумчивому читателю очевидно». Какие ж тут еще требуются доказательства?!

И вот критик декларирует как нечто общеизвестное: в повести Трифонова «Старик» даны «просто некоторые психологические наблюдения над умиранием старого человека, который почему-то назван большевиком». Можно, конечно, спорить об этом очень сложном произведении, где ни над одним «и» не поставлены точки. Можно принимать или не принимать его. Но нельзя не заметить, как рисуется в повести эпоха гражданской войны и соотношение этой эпохи с современностью. Нельзя не заметить, что в повести звучит тема раненой совести, тема предательства и многое другое, о чем трудно говорить, памятуя, где живет автор.

В отдельных случаях оценки Мальцева бывают и справедливы. Но это происходит тогда, когда критик касается отнюдь не вершинных произведений подцензурной литературы. В статье ничего не говорится о «Привычном деле» В. Белова, о «Прощании с Матерой» В. Распутина, о «Пастухе и пастушке» и «Царь-рыбе» В. Астафьева, об «Усвятских шлемоносцах»

Е. Носова и о многом другом, что вошло в золотой фонд современной русской литературы.

* * *

Статья Мальцева претендует не только на оценку «промежуточной» литературы, но и на установление критерия подлинности. Каков же этот критерий? Он очень прост.

Отметив, что для всех нас «политика стала неотъемлемым компонентом бытия», критик требует от художественной литературы, чтобы она решала кардинальные политические и социальные проблемы современности. Фактически он ставит знак равенства между произведением искусства и политическим трактатом. Типичны такие суждения: писатели «робко вступают в непривычную им область социального»; «старательно обходят все, что касается отношения власть-народ»; им не удастся «раскрыть нам смысл русской истории». А о тургеневских «Записках охотника» — в назидание нынешним писателям — сказано: это «важнейший документ эпохи».

Конечно, историк, социолог, политический мыслитель могут со своих позиций оценивать произведения искусства. Можно и «Евгения Онегина» рассматривать как «документ эпохи» и как источник сведений о русской экономике 20-х годов XIX века («...за лес и сало возит нам»). Но ведь Ю. Мальцев выступает в качестве *литературного* критика. И именно в качестве такового он уличает писателей в том, что они не освещают в своих произведениях следующих важнейших социальных и политических проблем (перечень их дается на полутора страницах): нарушение прав человека в СССР, деятельность КГБ, деятельность диссидентов, эмиграция из СССР, принудительный труд, нехватка мяса и молока, привилегии партийной эли-

ты, состояние статистики в Советском Союзе и т. д., и т. п.

Что тут возразишь. Разве лишь продолжишь список... Да еще, пожалуй, призадумаешься о неполноценности русской классической литературы: как в советских магазинах, «чего там только нет!» В «Евгений Онегине» и в «Войне и мире» — ничего нет об ужасах крепостного права, а в толстовской эпопее даже и не затрагивается эта тема. В «Демоне» и в «Герое нашего времени» ничего не говорится о разгроме декабристов. В лирике Пастернака... там вообще ничего нет, да к тому же автор не помнит, «какое, милые, у нас тысячелетье на дворе».

Неужели в полноте политической информации можно усматривать критерий подлинности произведений искусства? Солженицын, которого уж никто не упрекнет в «аполитичности», утверждает, что задачи литературы не сводятся к защите или критике государственного устройства. Он советует молодым писателям: «не надо гнаться за поверхностной политической сатирой — это самый низший вид литературы». Он видит задачи художника в раскрытии тайн человеческого сердца и совести, в постановке надвременных общечеловеческих проблем. «Закон поэзии быть выше своего гнева и воспринимать сущее с точки зрения вечности», — говорит автор «Архипелага ГУЛаг».

Аналогичные мысли не раз высказывали и русские классики XIX века. Так, Толстой писал П. Боборыкину (1865 г.): «Ежели бы мне сказали, что я могу написать роман, которым я неоспоримо установлю кажущиеся мне верными воззрения на все социальные вопросы, я бы не посвятил и двух часов труда на такой роман». Через три десятилетия он записывает в дневнике: «Главная цель искусства, если есть искусство и есть у него цель, та, чтобы проявить, высказать правду о душе человека, высказать такие тайны, которые

нельзя высказать простым словом». Таковы мысли великого писателя, чьи слова Мальцев приводит в качестве критерия подлинности: «Не могу молчать!»

* * *

Представим себе на минуту, что Солженицын создал только «Матренин двор», где так же, как и в других подцензурных произведениях, не показано, что «в каждом селе есть парторг и штатный стукач». К какой категории писателей отнес бы его критик? Теперь же Мальцев противопоставляет «Матренин двор» произведениям «деревенщиков»: «Эту гнетущую, болезненную атмосферу советской деревни сумел передать Солженицын в своем тоже подцензурном «Матренином дворе». Там сохранено реальное соотношение света и тьмы, праведников и неправедных. У деревенщиков же сплошь праведники и полуправедники». И в другом месте: у «деревенщиков» «современная русская деревня стилизованная, мужики — идеализированные». Но обратимся к фактам.

Почти одновременно с «Матрениным двором» (он был напечатан в «Новом мире» за 1963 г., № 1) появился рассказ А. Яшина, автора знаменитых «Рычагов», — «Вологодская свадьба» («Новый мир», 1962, № 12). Оба писателя, независимо друг от друга (о чем свидетельствуют даты публикации их рассказов), с чувством великой горечи изображают духовное обнищание современной деревни. Разница заключается лишь в том, что Яшин не видит в ней ни одного праведника!

Автор присутствует на свадьбе в глухой вологодской деревне. Его трогают простые, за душу хватающие свадебные песни и причитания. Но нет ничего общего между народной поэзией и реальной жизнью. В песнях поется, как невеста трепетно ждет жениха,

как он скачет на тройке с бубенцами. А Галин жених приезжает на самосвале, да притом совершенно пьяный. Он порывается бить невесту, «хорохорится, рубаху на себе рвет, ваньку валяет». И слышится беседа замужних женщин: «Твоего только в милицию возили, а мой уже в тюрьме сидел не раз», — говорит одна. «Думаешь, мой не сидел?» — возражает другая. И обе вздыхают: «Все водка». Безрадостная картина колхозной жизни раскрывается и в других разговорах. Все горше становится на душе у автора, и даже природа не может его утешить. Лесная тишина нарушается «свистом шин и завыванием моторов». Он тоскует по утраченной поэзии: «А я ехал и твердил про себя пушкинские строки: 'Колокольчик однозвучный утомительно гремит'. До чего же все-таки не хватает колокольчиков». Эти колокольчики из народных песен и пушкинских стихов становятся символом утраченного поэтического, чистого мира. Так обнажается в рассказе бездуховность современной деревни, так раскрывается в нем «правда о душе человека». Нет, какие уж тут праведники! Их нет и в помине.

«Вологодская свадьба» — явление не случайное. Не один только Яшин скорбит о духовной деградации народа. Между тем, Мальцев утверждает иное: «Одичание народа и вырождение русской нации они всеми силами стараются не замечать. Представляют все дело так, будто речь идет лишь об отдельных индивидах, оторвавшихся от земли, развращенных городом, таких, как Алька Абрамова или дети старухи Анны у Распутина».

В повести В. Распутина «Последний срок» речь идет не об отдельных индивидах, а о поколении, которое пришло на смену умирающей Анне — хранительнице народной мудрости и нравственных устоев. И трагедия заключается не в том, что пришло время умирать старому человеку, а в том, что Анна умирает, не оставив духовных наследников. Рисуя нравственную

гибель нового поколения, автор вовсе не сваливает вину на городские условия, якобы развращающие крестьян. Ведь один из самых озверевших детей Анны — Михаил всю жизнь прожил в деревне. Главное в его жизни — выпивка. Мать еще жива, а он спешит купить ящик водки для поминок и, пока старуха медленно отходит, не выдерживает и потихоньку осушает бутылку за бутылкой. А его малолетняя дочка? Она выросла на земле, в глаза не видела города. Но умирает бабушка, а девочка думает лишь о том, как бы заполучить и сдать бутылки, чтобы купить конфет. Она шантажирует отца, доносит матери, шпионит, хитрит. Издавна в русской литературе чистый мир ребенка противопоставлялся миру испорченных жизнью взрослых. А здесь лучшее, что было в народе, уходит вместе с Анной. И город тут ни при чем. «Правда о душе человека», раскрытая в повести, звучит как отчаянный призыв в одной из песен Высоцкого: «Спасите наши души! Мы гибнем от душья!»

Мальцев справедливо отмечает: «Ведь самым страшным в современной советской жизни является, пожалуй, не политический гнет, не материальная нужда и даже не общеобязательная идеологическая ложь (...) Гораздо страшнее одичание народа, его моральное вырождение...» Но ведь об этом-то и скорбят писатели, которых критик именует «промежуточными». А он почему-то старается умалить их роль: «В их книгах иногда проскальзывают детали, раскрывающие нам такую бездну приниженности и бесправия народного, что содрогаешься от негодования. Но детали эти даются этими писателями как-то бессознательно...» И далее Белов упрекается в том, что он говорит о страшном, «как о некой забавной детали». «Можаев тоже между прочим, как о чем-то заурядном», говорит о безобразных явлениях. Но ведь в том-то и состоит весь ужас, что безобразное примелькалось, что оно стало заурядным, повседневным. Не случайно же одно

из самых значительных произведений подцензурной литературы — повесть В. Белова — так и называется «Привычное дело».

Да, они не пишут лозунгов, не рисуют плакатов... Но ведь азбучной является простая истина: художественная литература — не отчет Эмнести Интернейшнел, не публицистическая статья, где должны быть поставлены все точки над «и». Мальцева возмущает, что у «промежуточных» «нет убедительных ответов на вопросы, поднимаемые диссидентами». Но опять-таки сошлюсь на классиков: «...цель художника не в том, чтобы неоспоримо разрешить вопрос...» (Толстой); «В «Анне Карениной» и в «Евгении Онегине» не решен ни один вопрос, но они вполне удовлетворяют нас...» (Чехов).

* * *

Критик упрекает подцензурных писателей в склонности ограничиваться изображением отдельных деталей — вместо того, чтобы рисовать целостную картину современной действительности. Но недостаток ли это или такова природа искусства? Впечатляющая деталь говорит нередко нашему воображению куда больше, нежели пространные рассуждения. Вспомним хрестоматийный пример — галоши и зонтик Беликова. Быть может, искусство впечатляющей детали и помогло писателям, пишущим под дамокловым мечом цензуры, говорить то, что они хотят сказать, не опускаясь до лжи и приспособленчества. Эта мысль принадлежит не мне. «Могу сказать о современной русской прозе. Она есть и очень серьезная. А если учесть ту невероятную цензурную мясорубку, через которую авторам приходится пропускать свои вещи, то придется удивляться их растущему мастерству: малыми художественными деталями сохранять и передавать

нам огромную область жизни, запрещенную к изображению» (интервью А. Солженицына агентству «Ассошиэйтед Пресс» и газете «Монд», февраль 1973).

...Предсмертные слова Шукшина, обращенные к читателям, слова, которыми оканчивается последний его рассказ «Кляуза», могли бы послужить эпиграфом ко всему им созданному: «Что с нами происходит?»

«Кляуза» — неприхотливый документальный рассказ, описание частного случая: дежурная по больнице не пустила к больному писателю посетителей. Казалось бы, речь идет о злой бабе — и только. Но автор делает неожиданный вывод: «жить же противно, жить неохота, когда мы такие». Нет, нет, ничего антисоветского в рассказе «Кляуза» вы не найдете! Рассказ этот был напечатан в журнале «Аврора» и перепечатан в «Литературной газете». Хвалили автора. Мол, верно подметил: «Тьма отдельных недостатков у отдельных есть людей». А ему — «жить неохота»... «Его съедала человеческая тоска. И ложь окружавшая... — вспоминает о Шукшине В. Некрасов. — А не наложил ли он на себя руки? Принял лошадиную дозу снотворного и все, с концом».

Не только «Кляуза» проникнута этим отвращением к нашей жизни, не только рассказ «Обида», где звучит тот же вопрос: «Что с нами происходит?» Все творчество Шукшина об этом: говоря словами Мальцева, об «одичании народа», о его «моральном вырождении», о человеконенавистничестве, несправедливости, о смертной тоске выбившихся из колеи бедолаг. «А правда ведь не знаю, зачем живу», — мечется Иван («В профиль и в анфас»). «Но чем успокоить душу? Чего она у меня, сволочь, просит?» — спрашивает он старика и слышит в ответ: «Совсем испортился народишко».

О том же и рассказ «Думы». В нем нет прямых оценок, ответов на вопросы. Но вслушайтесь в мелодию рассказа, в самую тональность авторской речи,

проникнутой какой-то неясной, но щемящей тоской: «Прошла неделя. Все так же лился лунный свет из окна, резко пахло из огорода полынью (...) И было тихо. Матвей не спал (...) Выходил на крыльцо, садился на приступку и курил. Светло было в деревне. И ужасающе тихо».

«Ужасающе тихо»... Почему таким неожиданным аккордом завершается картина мирной деревенской ночи, да и весь рассказ? Потому что темна и бесцветна прожитая жизнь и не находит в ней человек ни единого отрадного воспоминания. Разве лишь бешеную скачку на коне да темную ночь — миг один из далекого детства. А потом? «Потом было горе...» Матвей вспоминает: «Ведь потом была целая жизнь: женитьба, коллективизация, война (...) Но все как-то стерлось, поблекло». Стерлось, потому, что он не жил, как положено жить человеку, а лишь подчинялся чужой воле: «сказали, надо идти в колхоз — пошел (...) Пришла война — пошел воевать». Был он всего лишь только бессловесным роботом. «И всю жизнь была только на уме работа, работа, работа. И на войне тоже — работа. И все заботы, и радости, и горести связаны были с работой». И Матвей не верит, что есть такое чувство — любовь. А про смерть думает «без страха, без боли». Жизнь прожита. Но значения ее он так и не понял, и теперь только смутно ощущает: «Нет, что-то есть в жизни, чего-то ужасно жалко. До слез жалко». А чего? Бог весть! Не найти ему разгадки. И горько Матвею, и страшно одиноко, «и непонятная хворь поднимается в душе». А кругом — никого. Спит деревня. Спят такие же роботы, как и Матвей. Вот почему тишина кажется «ужасающей».

Это рассказ-настроение, рассказ о душе человеческой — и только. Таковы и другие произведения Шукшина. Но загляните поглубже в воссозданный им мир чудиков и неудачников, доживающих свой век стариков, спившихся нравственных уродов — и перед вами

предстанет картина неустроенной, неладной, изуродованной жизни. «Долой советскую власть!» — писатель не кричит. Но страшно, но мучительно трудно жить в его мире.

И как же много умеет он сказать на двух-трех страницах! В рассказе «Заревой дождь» повествуется о встрече двух исконных врагов. Один из них — Ефим Бедарев, деревенский активист, в свое время снявший с церкви крест, раскулачивавший односельчан, — умирает в больнице. Другой — Кирька, у которого Ефим когда-то хозяйство отобрал, по тайге его гонял, как зверя, сослал к черту на кулички, — пришел, чтобы насладиться зрелищем умирающего врага. Стоя под больничным окном, он говорит Ефиму: «Кто в жизни обижал людей, тот легко не умирает». Он корит умирающего, утверждая: «Ошибся ты в жизни, Ефим». Но странное дело: «А зла у меня на тебя нету большого», — как бы недоумевает сам Кирька. И Ефим не только не гонит врага, но мучительно тянется к нему. Что-то вроде бы надломилось в его душе под влиянием слов Кирьки. Возникли сомнения, и умирая, Ефим «горячо, со свистом в горле шептал: «Да к чему же?.. К чему?.. Я же знаю! Я все знаю!..» — В сухих воспаленных глазах его мерцал беспокойный трепетный свет горькой какой-то мысли».

Смерть словно высветляет души людей, отравленные взаимной ненавистью. Всю ночь, пока не умер Ефим, враг его стоял под окном. А потом — «шел Кирька и грустно смотрел в землю. Жалко было Ефима Бедарева. Сейчас он даже не хотел понять: почему жалко? Грустно было и жалко, и все». Надломилось что-то и в душе Кирьки.

И название рассказа, и картина первого весеннего дождя, которой он завершается, вызывают какое-то светлое чувство. Автор поведал нам о великом и главном, что делает человека человеком, — о Доброте. Шукшин-художник ни словом не обмолвился о теории

классовой борьбы, о трагедии раскулачивания, о коллективизации. Но глубокий подтекст «Заревого дождя», философская основа рассказа, по сути своей противоречит официальной доктрине. Писатель опровергает ее на языке искусства. И имеющий уши — да слышит.

Игнорируя трагический подтекст шукшинских произведений, Мальцев пишет: «Вот и Шукшин очень хорош, пока он описывает нам встречу с волками в лесу, или измену жены, или смерть сына — все это в некоем абстрактном обрамлении, неизвестно где и когда происходящее. Но едва он входит в социальный контекст и старается уточнить деталями время и место, сразу же появляется неправда».

Раскроем один из упомянутых здесь рассказов — «Волки», где Шукшин якобы лишь описывает встречу с волками в лесу. Сюжет рассказа, действительно, вне времени и пространства: Иван Дегтярев и тесть его Наум Кречетов отправились в лес по дрова. На них напали волки. Наум, испугавшись, ускакал, хотя оба топора были в его санях. Зять его с трудом отбил от волков, а лошадь погибла. Озлившись, Иван хочет избить тестя, но тот прибегает к помощи милиционера.

Таков рассказ, если рассматривать его как газетный репортаж о каком-то частном происшествии. Но «Волки» — не что иное, как развернутая метафора. Речь идет не о том, как волки напали на людей, а о том, что люди превратились в волков, что человек человеку — волк. Зять и тесть уже давно ненавидят друг друга. Наум — «не старый еще, расторопный мужик» — в беде бросает мужа своей дочери. И — самое страшное: желая дискредитировать в глазах милиционера зятя, лезущего в драку, Наум «стучит» на него, припоминая, как тот рассуждал, «почему молодежь в город уходит». «В деревне плохо!.. В городе лучше, — продолжал Наум, — А чего приперся сюда? Недовольство свое показывать? Народ возбуж-

дать? (...) Таких возбудителей-то знаешь куда девают!»

Каких еще примет времени и места надо требовать от писателя?! Но дело, конечно, не в том, что в рассказах Шукшина рассыпаны какие-то тонкие намеки, аллюзии, отдельные реплики. Дело в общей концепции, и не одного какого-то рассказа, а всего творчества безвременно погибшего писателя. Он ушел от нас, потому что «его съедала человеческая тоска. И ложь окружавшая»... А теперь его упрекают во лжи...

«Что с нами происходит?»

Есть нечто общее в судьбе Шукшина и Высоцкого. Оба они — люди разносторонне одаренные, оба актеры и писатели, оба погибли сорока с небольшим лет, оба умерли в одночасье. Смерть обоих — что-то вроде самоубийства, хотя формально и не самоубийство. Просто не выдержали. Задохнулись. Но главное — есть нечто общее в их творчестве, в их художническом облике. Герои Шукшина и Высоцкого поразительно похожи. Вспомните персонажей из песен Высоцкого:

А у меня и в ясную погоду
Хмарь на душе, которая горит...
(«Смотрины»)

И если мне нейдет и не спится
Или с похмелья нет на мне лица...
(«Уголовный кодекс»)

К слезам я глух, и к просьбам глух,
В охоту драка мне, ох, как в охоту!
(«В конце пути...»)

Ах, уймись, уймись, тоска,
Душу мне не рань!
(«Лукоморья больше нет»)

Тот же мир, проникнутый гнетущей пустотой, безысходной тоской... Тот же измученный, надрывный авторский голос:

Сыт я по горло, сыт я по глотку,
Ох, надоело петь и играть.
Лечь бы на дно, как подводная лодка,
Чтоб не могли запеленговать.

И что с того, что один печатался и ставил фильмы, а другого не печатали? Разве это главное? О главном сказал В. Некрасов: «В его рассказах, фильмах, ролях ни признака вранья, желания схитрить, надуть, обмануть. Все правда. И талант заставлял эту правду глотать. Даже тех, кому она претила. Глотали ж, глотали». Нет, все не так просто: печатали Шукшина — значит, не подлинный; не печатали Высоцкого — значит, настоящий.

«Глощают»... и пытаются обезвредить неугодных писателей разными способами: издавать малыми тиражами, печатать в периферийных журналах, недоступных для широкой публики (в «Просторе», «Севере», «Дружбе народов»); в рецензиях хвалят за то, чего нет в произведении, и молчат о том, что там есть (так, о повести Распутина «Живи и помни» писали, как о рядовом произведении о судьбе дезертира). Но читатель достает дефицитные книги и журналы, не обращает внимания на фальшивые рецензии — и читает, читает, читает...

Конечно, можно найти немало произведений, где рядом с правдой уживается компромисс, где писатель, следуя естественному и отнюдь не порочному стремлению быть напечатанным, чем-то поступает, что-то добавляет. Но ведь и Толстой впервые опубликовал «Воскресение» в изуродованном виде: из 123-х глав романа только 25 были напечатаны без цензурных искажений, а три оказались полностью изъятыми. Я

не в оправдание это говорю. Я вообще не считаю себя вправе оправдывать или обвинять тех, кто хочет, чтобы их услышали современники, и ради этого нечто теряет. Мне такого рода компромиссы кажутся сомнительными, но и тех, кто на них идет, можно понять.

Очевидно одно: несомненное преимущество печатного станка перед «Эрикой». Нет, недостаточно четырех копий для страны с многомиллионным населением! Машинописные страницы доходят лишь до читательской элиты, в основном — до москвичей и ленинградцев. «А там, во глубине России, там вековая тишина...» Читательская аудитория, ее масштабы — фактор немаловажный. Это в начале XIX века поэт мог писать «Для немногих». Но уже Пушкин мечтал: «И назовет меня всяк сущий в ней язык».

Влияние на умы подцензурной литературы куда более широкое, нежели самиздатской (независимо от качества той и другой), так как тиражи их несоизмеримы. И великое дело делает тот писатель, кто «малыми художественными деталями» обнажает перед широкой читательской аудиторией «огромную область жизни, запрещенную к изображению»!

* * *

Ярлыки, спасительные ярлыки, без которых мы и здесь — ни шагу, не помогут нам разобраться в таком огромном, запутанном, разноречивом, вечно движущемся явлении, как русская литература советского периода (кто-то так уже назвал все то, что не есть соцреализм).

Мальцев пользуется термином «деревенщики». Но неужели в «Прощании с Матерой» — говорится только о деревне? А не о жизни и смерти, о человеке и природе, о смене поколений, о добре и зле, о вере и безверии?.. Да ведь и сам критик пишет о Распутине:

«У него боль о России и русском крестьянстве высветляется страстной верой в оздоровляющую силу христианства (...) Христианский пафос, присущий и другим промежуточным, у Распутина выражен с наибольшей силой». Это что же — «деревенщина» — и только?!

Другой ярлык — «промежуточные». Когда я читала статью Мальцева, мне все вспоминался некий сходный термин — «попутчики»: мол, не враги пролетариата, но и не пролетарские. Увы, терминология говорит часто больше, чем мы того хотим...

Да кто же эти «промежуточные»? Мальцев называет Ю. Трифонова, Ф. Абрамова, В. Белова, В. Астафьева, Б. Можая, В. Шукшина, В. Распутина, В. Тендрякова. Список можно бы значительно расширить. Назовем С. Залыгина, Е. Носова, А. Яшина, А. Бека, В. Быкова, Г. Бакланова, А. Вампилова, Б. Окуджаву, О. Чухонцева, Д. Самойлова... Да и Ч. Айтматова с его «Белым пароходом» и «Прощай, Гюльсары». И К. Воробьева (был такой честный прекрасный писатель, к сожалению, почти забытый) — автора горькой, по-гамсуновски тонкой вещи «Вот придет великан». А к какой категории отнести тех, чьи произведения и печатались, и распространялись подпольно? Неужели все произведения В. Гроссмана, Ф. Искандера, А. Битова, В. Аксенова, напечатанные в СССР, так сказать, «промежуточные», а те их вещи, которые распространялись в Самиздате или издавались за рубежом, — подлинные?

И разве все эти писатели из одного теста? Всех на одну полочку уложить можно, под одним ярлыком завести на них папку — «Дело о промежуточных»?..

На наших глазах произошло чудо — родилась целая богатейшая литература. Невероятно? Невероятно, но факт!



— Но как же может быть, чтобы... — слышу я голоса.

— Но чем же объяснить?..

— Но не может этого быть!

Все может быть. Тем и замечательна покинутая нами страна, что в ней все возможно, даже то, что совершенно невозможно. Почему, например, была напечатана повесть Аксенова «Поиски жанра», а «Золотая наша железка», семь лет проскитавшись по разным редакциям, так и не увидела света на родине? В самом деле, почему?

Как часто уподобляемся мы судье Ляпкину-Тяпкину, выискивая «тонкие и больше политические причины» всюду, где надо и где не надо. «Нет, я вам скажу, вы не того, вы не того... Начальство имеет тонкие виды...» — рассуждаем мы, пытаясь по законам разума и логики объяснить действия советского начальства. Но не бесплодное ли это занятие? Произвол — он и есть произвол. И, думается, объяснения, которые дает Мальцев, пытаясь доказать, что «промежуточных» печатают неспроста, мало убедительны и ничего не объясняют.

...Гоголевская птица-тройка превратилась в громающую по бездорожью телегу, которая несется вскачь, круто сворачивая то влево, то вправо, теряя седоков, давя прохожих. Удивленным народам трудно определить ее траекторию. Остается лишь посторониться... Но седокам в этой телеге, ох, как нелегко! Особенно — честным. Особенно — писателям. И не нам из нашего «прекрасного далека» бросать в них камнем...

ШНЕЕРСОН Мария — автор ряда статей и книг по русской литературе XIX века. Родилась в 1913 г. в Екатеринославе. Окончила филологический факультет Ленинградского университета. В 1955 г. защитила кандидатскую диссертацию. Свыше двадцати пяти лет работала педагогом. С 1979 года живет в США.

НЕОБХОДИМОСТЬ ЛЕСКОВА

*Реплика к юбилею писателя (1831—1981)**

«Истинно не то, что есть и было, а то, что могло быть по свойствам души человеческой».

Н. С. Лесков

Почему Лескова? — спросят. — Разве всякий крупный писатель не необходим?

Необходим, разумеется.

Когда мы рассматриваем историю литературы, еще шире — историю культуры, каждое имя представляется в ней необходимым, и возникает своеобразная цепь, связующая одно явление с другим.

Но как раз имя Лескова не так-то легко укладывается в мыслительную цепь, скажем, развития русского реализма, что вызывало в свое время немалое нареkanie критики. Достаточно сказать, что творчество Лескова называли даже «позором нашей литературы»¹. Слишком он свой, особенный, к надуманным схемам не подходящий. История русского классического реализма вполне может обойтись без Лескова, что зачастую и делается.

По-видимому, для понимания Лескова необходимо расширить рамки литературного процесса и соотнести не только с той современностью, в которой жил и творил писатель, но и с прошлым и даже с будущим.

* Автор предполагает в читателе знакомство с творчеством Лескова и потому отказывается от разбора его известных произведений. Он высказывает лишь свою оценку литературного дела Лескова и дает частичный комментарий.

Лесков — современник эпохи расцвета русского романа, современник Достоевского и Толстого.

Значимость писателя по меркам того времени измерялась его капитальными, объемными произведениями, как художника — тематическими картинами. Писатель-романист воспринимался как главенствующая фигура литературного процесса, и так оно и было в действительности.

Но роман в русской литературе, прославивший ее, без сомнения, на весь мир, явление сравнительно новое и принадлежит всецело XIX веку. Жанр этот западноевропейский, и ему насчитывают восемь веков существования (собственно, еще больше — с античности). В России он утвердился поздно, позже европейской изобразительной манеры в живописи.

Но и русская литература до XIX века насчитывала восемь веков. Русская литература «до» не знала крупных литературных форм. Знала повесть воинскую и бытовую, житие, апокриф, сказание — вообще повествование любого рода, духовное и светское, всегда выразительное и сжатое. Была еще более древняя традиция устного творчества. Была былина и песня. Была сказка. Был сказ — традиция устного фабульного рассказа. И эта традиция жила еще на русских просторах.

Необходимо было прерванную традицию восстановить.

Так мы подходим к пониманию необходимости Лескова.

У Лескова — все не просто. Сильно смущала его эпоха. Писал и он романы — и невпопад; писал статьи и фельетоны — и тоже зачастую невпопад. Писал много и неравноценно.

Но то, что ценно, время оценило и выделило. Мы не станем называть общеизвестного, лишь скажем коротко, что это его рассказы, а лучше назвать — сказки о праведниках. Лесков ввел в русскую литера-

туру жанр сказа. Подлинный его, лесковский, дар — дар сказителя, легендотворца. Сам Лесков говорил, что пишет «церковно-народным языком» и «языком старинных сказок». Уже это показывает, что источники его творчества иные, чем у современников, и мы можем сказать, что они более традиционные и более глубокие, чем у них. А. М. Ремизов даже ставил Лескова сразу за протопопом Аввакумом, будто и не было между ними двух веков русской словесности².

И, действительно, «русский природной язык» Аввакума, язык церковно-народный, многокрасочный русский говор, ни у кого до Лескова так не звучал...

Традиционность свою Лесков сознавал и потому называл свои вещи и «сказами» («Сказ о тульском косом Левше»), и «бытовыми апокрифами» («Инженеры-бессребренники»), и «житиями» («Житие одной бабы»), и «хроникой» (роман-хроника «Соборяне»), но видел в этом лишь свою особенность и, разумеется, не мог предвидеть, как это, в свою очередь, откликнется в других. Значения своего дела он не сознавал. Он не сознавал, что дает дорогу широкому словесному процессу, что, возрождая «хорошо забытое старое», он расшатывает закосневшие каноны классической прозы, выводит литературу из позитивистских рамок, расширяет возможности творчества.

Гиганты русского романа: Гончаров, Тургенев, Достоевский, Толстой — возвышаются монолитами, они ничего не начинают и не заканчивают в литературном процессе, они только утверждают. Они достигли возможных вершин, и дальше пути нет.

А от Лескова, столько раз упрекаемого с разных сторон в несовершенстве, в вычурности, в надуманности, — путь есть, открыт. Действительно, Лесков нарушил литературные каноны своего времени. Не только народный и церковный язык и сказовая манера, но и сама образная система его выпадает за пределы общепринятого. Так, не присущи его вещам ясно очер-

ченные характеры, те самые «образы» героев и героинь, которыми донныне мучают школьников (смешно сказать «образ Левши», «образ Очарованного Странника» — настолько они в расплывчатости, в изобилии, к ним подойдет, пожалуй, лишь лесковское определение — «легендарные характеры»). Включать Лескова в школьный курс невозможно, и он никогда не включался. С ним до сих пор не знают, что делать. Он все еще стоит за пределами академической «большой литературы». А для литературы, на самом деле, его дело было большое.

Лесков стоит у начала новой русской прозы, которая будет столь разнообразной и непохожей на него, но начало которой положил он. Тут найдем мы и А. Белого и М. Булгакова, казалось бы, далеких от него, и Е. Замятина и А. Ремизова, ему близких, и иных, и, наконец, А. И. Солженицына, бесспорно обязанного Лескову своим сказовым слогом в «Иване Денисовиче» и «праведницей» Матреной.

Сам Лесков еще был несвободен, но за ним начинается поиск и свобода.

Из Лескова соцреализма не вытянешь, не выведешь, а из критического реализма, из Толстого, выводить пытались³. За великими только один, не путь — тупик: эпигонство без традиции. За Лесковым — просторная традиция русского говора и русской письменности.

Таков Лесков: петербургский литератор и одновременно предтеча культурно-национального возрождения.

Казалось бы ему, русофилу, в Москву, к теплой старине, к соборам, к Замоскворечью... — нет! сидел в холодном, промозглом, величавом городе и строил бесконечное число статей по всяким, порой вздорным, поводам — благо газет и журналов тогда было

много, — и каким-то чудом рядом возникали его сказы о праведниках.

Весь в противоречиях Лесков.

Ко многому обязывал сюртук петербургского литератора, тесно в нем было, давил он, сковывал талант. Московского благодушия ему часто не хватало, Лескову, сырой питерский климат делал расположенным к желчи, к «язвительности», превращал в злюку, человека невыносимого в быту (зачерчено это сыном писателя Андреем Николаевичем)⁴.

Понять ясно, разумом, как понял, например, Нестеров, что Москва, что старина — его родной дом, Лескову было не дано. В одном из писем он даже протестует против славянофильского призыва «вернуться домой», говоря про «пошрое течение назад, 'домой', т.е. в допетровскую дурость и кривду» (в письме Шубинскому в 1883 г.) — как всегда вперехлест! — а ранее, в «Соборьях» говорит о «сладких сказаний источнике», о «старой сказке» и даже о «веселой старой сказке» (в «Печерских антиках»).

Прекрасно сказано: «Живите, государи мои, люди русские, в ладу со своей старою сказкой». Но, увы, сам писатель жил с нею не всегда в ладу. Прекрасно сказано и о веселой старой сказке, «под которую сквозь какую-то теплую дрёму свежо и ласково улыбается сердце», но сам сказитель был человеком невеселым. Позитивистская эпоха толкала к серости, к бесцветию, к жанровому однообразию, подобно передвижнической живописи тех лет, а нутро его, самобытное, орловское, не принимало постной пищи и бунтовало во всю мощь необузданной русской природы. Преображался он лишь когда писал свое сокровенное, а потом снова застегивал сюртук на все пуговицы.

Прижимала его эпоха, путала, сбивала. Так Лесков и не смог понять — «какой я». Хотел бы он считать себя и демократом, и прогрессистом, а одно время даже толстовцем.

А был он консерватором, понимая под этим словом утверждение национальных ценностей и традиций народной культуры, утвердительное отношение к русскому прошлому. В другое время этим следовало бы гордиться, но жил он в то время, когда слова «националист», «консерватор» звучали нестерпимой кличкой. А к чужому мнению Лесков был чуток, раним до болезненности. И оттого он метался и терял себя.

Лесков, как ни покажется странным, был человеком без твердой позиции. Консерватизм его эмоционального свойства. Той твердости, решенности консерватора, что была в Достоевском, в нем не было. Его постоянно «вело и корчило», заносило то вправо, то влево. Он метался между тех и этих, вне лагерей, «против течений»⁵, никуда не примкнув и, как ему казалось, ничего не обретя.

Русская интеллигенция, в основе вся либеральная, не видела в нем своего, а сам он чуял в ней неправду. Радикальные силы тянули ее к распаду России, а Лесков вольно или невольно утверждал Россию и русского человека. Он сам был настолько смущен эпохой, что не четко уяснял, что он делает. Но, когда писал и говорил о «старой сказке», оказывался выше себя.

Но и идти вопреки общему поветрию, идти до конца, он не решался. Консерватизм Лескова не охранительно-государственный, не политический (он же — «язвительный»!), а народный, культурно-исторический. Такой консерватизм не мог понравиться подлинным политическим консерваторам («Он совсем не наш», — сказал о нем М. Н. Катков). А левым кругам всякий консерватизм без разбора претил. В итоге — «Лесков сумел не понравиться всем» (Горький)⁶. Именно — сумел.

Вопреки обыкновению литературоведов говорить об удачах писателя, мы остановимся на неудаче Лес-

кова. Речь пойдет о его рассказах на сюжеты Пролога.

Более нелепой, консервативной затее, казалось, в то время и вообразить было нельзя. Затее заранее была обречена на неуспех, так и получилось. Но и иной неуспех бывает благословенным; так и с Лесковым.

Казалось бы, он открыл новый источник вдохновения, первым ощутил художественную красоту древней письменности и где — в забытом старославянском сборнике! Лесков настолько ошеломлен своим открытием, что не решается в нем прямо признаться, ему неловко, совестно за свое увлечение церковнославянской письменностью, и он в свое оправдание пытается доказать в одной из статей, что Пролог относится к числу «отреченных книг», т. е. запрещенных церковью, чего на самом деле никогда не было⁷.

Пролог, греческий Синаксарь, в латыни Мартиролог, — чтения о мучениках, одна из древнейших переведенных на Руси книг — старейшие списки восходят к XII—XIII векам. Пролог получил на Руси широчайшее распространение, дополнялся местными житиями и поучительными рассказами. Уже в XIV веке русский Пролог втрое превосходил текст греческого Синаксаря.

Лесков обратился к этому памятнику отечественной письменности, очевидно, потому, что к этому простирал его русский дух, интерес к национальному прошлому, влечение к традициям, вкупе с его писательским пристрастием к народному сказу, «бытовому апокрифу», «церковно-народному языку».

И вот открытие было сделано, а воспользоваться им Лесков не сумел.

Формы претворения проложных сюжетов он так и не нашел.

Ее и нельзя было найти в то время. Путь стилизации еще не вставал, да и путь этот мелок для истин-

ного художника. Стилизация бывает изящной, но всегда поверхностной и проникновения в дух народа не дает. Требовалось создание на взятой основе своего, подлинного.

Но странное дело: создатель современного сказа не знает, как поступить с древним сказом и не находит ничего иного, как обратиться к канонам реалистической прозы. Поскольку в деле обработки христианских преданий у него были великие предшественники в лице Флобера и Толстого, то им он и следует, а аксессуары берет у Эберса и Масперо. Но талант Лескова был самобытный, но не всеобъемлющий. Ему не все было доступно, как Толстому. Выйдя за пределы своей самобытности, Лесков теряет себя и возвращается лишь там, где ее обретает (достаточно сопоставить «Гору» и «Скомороха Памфалона»). В итоге получились рассказы из древней жизни, а чаял Лесков нечто большее...

Очевидно, скажем мы, Пролог оказался понятым формально, без проникновения в дух древнего повествования. А замахнулся Лесков широко, хотел составить «Обозрение Прологов», где намеревался высказать свое мнение о памятнике, но, разочаровавшись, намерения не исполнил. Он хотел использовать проложные сюжеты все, так, чтобы другим там ничего не осталось, но не использовал и десятой доли. Пролог оказался куда более крепким орешком, чем казалось вначале, испытание выдержал и от самонадеянных наскоков не поколебался.

Лесков, конечно, отбирал в Прологе своё, лесковское, своим интересам созвучное, и в этом направлении возможны находки и за пределами отобранных им сюжетов.

Неизвестно, отметил ли Лесков патеричный рассказ (перенесенный в Пролог из Патерика) об Иоанне Колове (ноября 9), а рассказ этот очень «лесковский». Это — простец, чужак, праведник, сам не подозреваю-

ший о своей праведности. Он ушел в пустынь, где поселился с неким братом и, конечно, с самого начала учал творить неразумное. Восхотел жить как ангел — без еды, питья и одежды — и, сняв ризы свои, ушел от брата. Но очень скоро ощутил голод, а ночью стало холодно. Иоанн иззябший вернулся к келии и стал просить брата пустить его, на что брат, насмехаясь над дурачком, говорил: «Отойди, демон, мой брат стал ангелом!» Еле пустил после покаяния. Затем Иоанн попадает к строгому старцу Павлу Фивейнину. Старец, видя в ученике рвение не по разуму, дает ему неисполнимый урок: показывает сухое дерево на дальней горе и велит поливать его до тех пор, пока оно не даст плода. Выходить в путь надо было до вечера, а прийти за утро. Иоанн носил воду три года, и дерево ожило. Подобно тому, как в сказке злой повелитель не знает, как отделаться от услужливого дурачка, и дает ему все новые неисполнимые задания, так поступает и старец. Он велит привести гиену, что ходит по пустыни с детенышем. Иоанн, не раздумывая, исполняет волю старца, связывает гиену и приводит. А старец, чтоб ученик не возгордился, начинает бить его дубинкой, приговаривая: «Зачем привел пса блудного?»

На этом рассказ обрывается (в Патерике он продолжается нравоучениями о «смиренной мудрости»). Переключка его с вечным бродячим сюжетом беспорядочна. Иоанн Колов — Иван-дурачок русской сказки, над которым поначалу все смеются и издеваются, но столь велика его душевная чистота, что совершает он поступки невозможные обычным людям и в добром сказочном финале торжествует. Дурачок на обыденный взгляд оказывается умником перед той Божьей правдой, по которой надо жить.

Но и лесковские праведники — Левша, Голован, Однодум, Флягин — разве не обнаруживают они типологического сходства и со смиренномудрым Иоанном

Коловым, и с фольклорным Иванушкой-дурачком? «Дурачок» — ведь только обидная кличка здравомыслящих людей, а на самом деле — праведник. У Лескова и рассказ такой есть — «Дурачок» — про тех, «которым эта кличка дана, но они, между тем, не безумны, не глупы и ничего шутовского из себя не представляют». Потому-то так значительно литературное открытие Лескова, что праведники, которых нашел он во всех слоях общества, лежат в ряду «вечных образов», рожденных народным творчеством. В них народ раскрывает свое потаенное: Иванушка-то дурачок, но он на многое способен, особенно, если к нему «стать присматриваться».

Задумывался ли над этим Лесков — «тайнодум»? Весьма может быть. Обращение его к Прологу, при всем неуспехе, было и не случайно и не бесполезно. То, что рассказы на проложные сюжеты ему не дались, спору нет, и сам Лесков это понимал, но источник обогатил его немало — и язык его, и образную систему.

Так ловкое словечко — «митушает ногами» — в «Скоморохе Памфалоне» выудил Лесков из Пролога. В Прологе читаем: «Ибо не изыдоша монаси из мира, да глумятся и красят пение, и состояют гласы, и трясут руками, и митушают ногами» (Слово аввы Памвы, ноября 16).

Не только словечки, но и отдельные черты проложных персонажей вошли в лесковские «легендарные характеры». Так, по наблюдениям современного исследователя, в «Очарованном страннике» использован проложный сюжет Вонифатий-пьяница (декабрь 19)⁸.

Труднее обстоит дело с женскими образами Пролога. Лесков будто бы нашел их сорок, но воссоздал лишь один — «Прекрасную Азу» (сюжет «Оскорбленной Нэтэты» взят из Иосифа Флавия). И здесь Лесков, как видно, чрезмерно замахнулся. В круг его фабуль-

ных ситуаций и колоритных персонажей печальные постницы и добродетельные жены плохо укладываются. Вообще, читая Пролог, заметно, что женские образы в нем бледнее мужских (как, в большинстве, и русские жития святых жен). Может быть, потому это, что женщинам Пролога постоянно приходится подавлять свое женское, отречься от своей природы. Часто женщины, надев мужскую одежду, вступают в мужскую обитель, и их обман во спасение раскрывается лишь после смерти, либо прозорливый старец распознает уловку (напр., Житие Матроны, ноябрь 9).

Не следует забывать, что перед нами не развлекательное, а назидательное чтение. Скупые строки Пролога раскрывают не внешнюю, а внутреннюю красоту — красоту поступка, либо, по противоположности, безобразию греха. Поэтому отсутствует внешняя описательность, как мы скажем, портретность; зато с удивительной силой выявлена рельефность ситуации. Последнее, конечно, и привлекло Лескова.

Объять необъятное Лесков не мог. По-видимому, долго еще последующие читатели будут находить в ситуациях Пролога прообраз будущих сюжетных решений у писателей, даже не подозревающих об этом. В подтверждение этой мысли и дабы показать, что Пролог гораздо богаче, чем представлялся самому Лескову, упомянем один сюжет, впрочем, совсем не лесковский: «Память преподобного отца нашего Авраама и Марии, племянницы его» (октябрь 29).

Авраам был пустынножителем (неизвестно, где и когда это происходило). От умершего брата ему осталась племянница. Он затворил ее в келье близ своей. В 12 лет она впала в падение блудное. Как это случилось, в тексте не объясняется, ибо слишком страшно: в пустыни только они двое и были. Мария покидает пустынь и становится блудницей. Авраам узнает об этом. Он облачается в образ воинский, садится на коня и едет туда, где находится Мария. Он извлекает ее из

блудилища, приводит в пустынь, где племянница, покаявшись, умирает.

Что-то схожее напоминает этот сюжет... Падение с юной отроковицей, месть за нее, терзания грешной души... Да, «Лолита». И отчасти «Воскресение»: толкает в блуд и стремится исхитить из бездны, в которую вверх.

Вот почему оказывается столь значительным роман Набокова, не говоря об общепризнанном романе Толстого: оба они в русле древнего, «вечного» сюжета.

Вот что такое Пролог и почему есть выход от него: казалось бы, скучное назидательное чтение, мертвый памятник письменности, а на деле вечно живая книга, аккумулятор сюжетов и тем.

Легко ныне нам судить об этом, когда общепризнана ценность нашей древней письменности и иконы, иначе было во времена Лескова. Ухватившись за Пролог как за литературную находку — а это действительно была находка — Лесков потерпел неудачу. Очевидно, повторим мы, христианская легенда была понята не так и выражена не так. Но как? — этого Лесков не знал, а поддержки своему начинанию не нашел ни в ком.

Но угаданный им путь был вовсе не бесплоден. Означал он, снова повторимся, возвращение к истокам, к прерванной линии развития русской словесности. Правда, Лесков избрал Пролог, произведение переводное, но на Руси давно ставшее своим, «обрусевшее». Но к собственному русскому житийному материалу Лесков даже не притронулся, лишь намеревался коснуться Нила Сорского. Время было чересчур неподходящее. Критический реализм торжествовал, уход от действительности не поощрялся. Легенды в духе академической живописи еще кое-как проходили, но на житийном материале лежало табу. Для общества это был нетерпимый обскурантизм, ретроградство и прочие подобные клички, которыми Лескова

отхлестали при вступлении на литературный путь (история с «Некуда»)⁹ и с тех пор на всю жизнь запугали. Но и для тех, кто либеральными кругами считался обскурантами, всякое касание житийных сюжетов воспринималось неодобрительно. Время еще не пришло. Слово было бессильно.

Лесков отчасти трусил, а больше — не знал, как взяться за древнерусские жития и шире — древнерусскую легенду. Великий легендотворец оказался связанным предрассудками своего времени. Очевидно, нужны были иные средства выражения. И они нашлись — уже в живописи. Еще при жизни Лескова Михаил Васильевич Нестеров, «не мудрствуя лукаво», воплотил древнерусское сказание. Счастье его, что он не чувствовал дали времен, не подключал холодный разум, как Лесков. Всем известный (в то время) житийный сюжет — «Отрок Варфоломей» — он превратил во вневременную поэму о России. Тем самым и был указан путь претворения древнего сказания — путь поэтизации.

Позже придет время и литературе. Алексей Михайлович Ремизов скажет о «сиянии печали» древней легенды и неумоимо начнет пересказывать жития, апокрифы, сказки, древнерусские повести, щедро черпая из неистощимой русской «словесной казны». Дальше все проще. Россия становится сама «сюжетом и живым существом», как определил А. М. Ремизов¹⁰.

А начало всему положил Николай Семенович Лесков.

Литературные неудачи свои Лесков переживал чрезмерно тяжело. В горестные минуты готов был считать, что жизнь его не удалась и творческое дело осталось непонятым — все было зря. Он терялся, метался, кидался в стороны. Так кинулся он и к Прологу, и, казалось, материала достанет на всю жизнь, но вскоре охладел к нему и все дальше отходит от

своих милых праведников в сферу «язвительности», к «пейзажам и жанрам». Праведники, без которых «несть граду стояния», словно бы забыты, и осталась одна «дрянь, которая живет в моей и в твоей душе, мой читатель». Появляется «Зимний день», одна из самых жестоких вещей у Лескова, где изображаемое доведено до физиологического омерзения. Возникает зловещий образ «Загона», от которого легко перейти к отчаянному обобщению: Россия — загон...

И только золотом, самородком, к которому никакая грязь не пристанет, сияют его простецы-праведники. В них было не только Руси оправдание, но и оправдание самому Лескову. Он-то забывал про них, кидался то в обличительство, то в толстовство и все полагал, что — не удалось у него. А — удалось!

С теплой улыбкой взираем мы на пеструю галерею лесковских героев и какое богатство здесь лиц и положений! Здесь протопоп Туберозов, духовный потомок Аввакума, дьякон Ахилла и другие герои «Соборян»; вечный «русский скиталец» Иван Флягин и невероятностный Левша; бессмертный Голован, честный квартальный Рыжов и человеколюбивый солдат Постников; страстная Катерина Измайлова, бесстыдная Домна Платоновна, честнейшая Клавдинька; разного рода умельцы — штопальщик, тупейный художник, изограф в «Запечатленном ангеле», гранильщик в «Александрите»; широкие купеческие натуры — орловские, елецкие, московские, питерские — герои «Грабежа», «Чертогона», «Полунощников»; бесконечная вереница чудаков и злодеев — «инженеры-бессребренники», «печерские антики», «чортовы куклы», «старинные психопаты»... — да разве всех перечислишь! О каждом из них хочется говорить, вспоминать трагические и комические ситуации, настолько они врезались в память с детских лет, вошли в душу, как свое, родное — «здесь русский дух, здесь Русью пахнет»...

И, озирая расширенным взором эту галерею, нам словно бы слышится тихий голос Лескова, его доброе слово, его завещание потомкам:

«Живите государи мои, люди русские, в ладу со своей старою сказкой. Чудная вещь старая сказка! Горе тому, у кого ее не будет под старость!»

ПРИМЕЧАНИЯ

1. «Духовное одиночество может воспитать и закалить только сильную душу. Душа слабая и себялюбивая, с узким горизонтом, становится еще меньше... Так случилось и с Лесковым. Его художественный талант стал проявляться очень и очень редко. Часто являлась подделка под искусство. Он создал тот невозможный вычурный стиль, ту лубочную подделку под язык древних сказаний, который характеризует произведения последних лет его жизни, — эти плохо, но с претензией на остроумие рассказанные анекдоты, полные смакующего сладострастия, бессильной, но голодной чувственности. Этот стиль Лескова — прямо позор нашей литературы и нашего языка». (Евг. Соловьев (Андреевич). Очерки из истории русской литературы XIX в. Изд. 4-е, М., 1923, с. 546).

2. Ремизов сказал, конечно, с преувеличением: «Синтаксисом народной речи — сказом займется Лесков, первый после протопопа Аввакума, и словесно станет ближе — понятнее простому русскому народу, чем самый «народный» «Бежин луг», который всегда останется барской подделкой». (А. Ремизов. Огонь вещей. Париж, 1954, с. 140). Но может и такое заявить: «Русская Библия начинается Пушкиным и Гоголем, а кончается Лесковым». (А. Ремизов. Подстриженными глазами. Париж, 1951, с. 123).

3. Это вполне сознавала советская критика. Так, «Лит. энциклопедия» первого издания (1932 г.) писала о Лескове: «В наши дни нового подъема «проблемного» романа, выдвинувшего на первый план общественно-политические задачи социалистического строительства, неизбежно падает интерес к Л., чуждому ведущим тенденциям советской литературы». (ЛЭ, т. 6, сс. 318-319). Одновременно ЛЭ называет Лескова «одним из лучших мастеров русской прозы».

4. В книге: Андрей Лесков. Жизнь Николая Лескова. По его личным, семейным и несемейным записям и памяткам. М., 1954.

5. «Против течений» — название книги А. И. Фаресова. См.: А. И. Фаресов. Против течений. Н. С. Лесков. Его жизнь, сочинения, полемика и воспоминания о нем. СПб., 1904.

6. Горький давал характеристику Лескову через «не»: «Он не народник, не славянофил, он и не западник, не либерал и не консерватор» (Архив А. М. Горького, т. 1, с. 275). Но тогда кто же он?

7. Так, в примечании к статье «Легендарные характеры» Лесков пишет: «Древле-печатный переводный Пролог, содержащий в себе приводимые здесь «прилоги», не входит в круг церковных книг и не только не пользуется церковным авторитетом, но представляет книгу «отреченную», и сказания его, по выражению Феофана Прокоповича, относятся к разряду «пустых и смеху достойных басен». Интерес, им представляемый, есть собственно интерес литературный и исторический».

Нам неизвестен контекст высказывания Феофана Прокоповича, но оно не могло относиться ко всему Прологу, значительную часть которого составляют канонические жития, похвальные слова и тексты отцов Церкви.

Пролог никогда не отвергался Церковью, напротив, многократно переиздавался, начиная с XVII века. Это самый богатый по составу церковный сборник. Современные исследователи насчитывают в нем до 300 литературных сюжетов. (Подробнее см.: Литературный сборник XVII века. Пролог. М., «Наука», 1978).

Кстати, название Пролог происходит не от «прилогов», а потому что при переводе греческого Синаксаря на славянский название предисловия — Пролог — было распространено на весь сборник.

8. См.: М. П. Чередникова. Древнерусские источники повести Н. С. Лескова «Очарованный странник». Труды отдела др.-рус. литературы, т. XXXII. Л., 1977.

9. Приговор Д. И. Писарева был таков: «Найдется ли теперь в России, кроме «Русского вестника», хоть один журнал, который осмелился бы напечатать на страницах что-нибудь, выходящее из-под пера Стебницкого (псевдоним Лескова. — П. А.)...» Далее не цитирую, слишком печально, вспоминая последующие методы обращения с русской литературой.

10. Никто так не боготворил Лескова, как Ремизов, и стоял ближе всех к нему и по влечению к старине и по словесному розыску. Устремления свои писатель подытоживал так: «По обрывкам документов русская жизнь в веках. Россия сама как сюжет, будто живое существо». (Н. Кодрянская. Алексей Ремизов. Париж, 1959, с. 116).

ИЕРУСАЛИМСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

ЛЕТНИЙ КУРС РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ — ИЕРУСАЛИМ,
2-26 августа 1981

Впервые выдающийся преподавательский состав Русского Департамента Иерусалимского Университета организует специальную учебную программу, рассчитанную на участвующих со всего мира, владеющих русским языком или способных понять лекции на русском языке.

В программе: Структурализм в лингвистике и поэтике. Основы семиотики культуры. Вехи истории русской литературы. Толстой и Достоевский сегодня. Изучение Пушкина сегодня. Символизм, футуризм и акмеизм. Искусство Бориса Пастернака. Забытые поэты. Творчество Владимира Набокова. Исторические задачи русской литературы двадцатых годов. 18-й век в русской литературе и искусстве. Творчество Осипа Мандельштама.

Специальный курс для усовершенствования русского языка.

Преподавательский состав: проф. Дмитрий Сегал, проф. Лазарь Флейшман, проф. Илья Серман, проф. Александр Сыркин. Д-р Омри Ронен, д-р Елена Толстая-Сегал, д-р Ада Штайнберг.

Участники курса получают комнаты в модернейшем студенческом общежитии в кампусе Иерусалимского Университета.

Цена курса — плата за учебу, за квартиру и страховка — 375 ам. долларов. Питание в ресторанах университета не включается в цену и стоит приблизительно 7-8 ам. долларов в день.

Для получения формуляров обращаться к:

A.F.A.V.J.

134. rue du Faub. Saint-Honoré

75008 Paris

Tel. 723-95-64

Отрезать и выслать:

.....
Nom et prenom

Adresse

..... Tel:



Эдуард Вийральт
Поэт говорит камням, офорт 1948 г.
Репродукция пробного оттиска, хранящегося в собрании
Алексиса Раннита, США

Искусство

Алексис Р а н н и т

ХУДОЖНИК ЭДУАРД ВИЙРАЛЬТ

Эдуард Вийральт родился в эстонской семье в селе Губаницы (Ингрия) 20 марта 1898 г. Когда ему было 11 лет, семья переехала в Эстонию. В 16 лет он поступил в художественную школу в Таллине, затем учился в Тарту и в Дрезденской Академии Художеств. В 1919 году Вийральт оставил Академию, чтобы вступить добровольцем в эстонскую армию: началась война за независимость — Эстония сражалась против советского государства. В 1925 году он поселяется в Париже, где живет до 1939 года. За это время он предпринял лишь кратковременные поездки в Италию и в Марокко. Вернувшись в Эстонию незадолго до первой советской оккупации, художник прожил в Таллине около пяти лет и во время второй оккупации Эстонии советскими войсками, в 1944 году, эмигрировал сначала в Австрию, потом переселился в Швецию и, наконец, снова в Париж, где и прожил последние восемь лет своей жизни. Умер он 8 января 1954 года и был похоронен на кладбище Пер-Лашез.

Советская пресса, в том числе и пресса оккупированной Эстонии, ни словом не обмолвилась о смерти художника. Только в 1959 году, после многочисленных просьб и требований виднейших деятелей культуры Эстонии, в Эрмитаже была устроена выставка его гравюр и офортов. Но она была почти сразу же закрыта, ибо те, кому ведать надлежит, усмотрели в творчестве Вийральта «сильное влияние Запада». В том же году вышла в Таллине монография эстонского

графика Отта Кангиласки, в которой были помещены избранные произведения Вийральта. Книга оказалась одной из лучших в СССР по качеству полиграфии и получила премию года. Но вскоре после того, как было объявлено решение жюри, оно было отменено. Формулировка: «Художник полностью отравлен западными «измами», и не может поэтому быть удостоен высокой награды». Жюри, взявшее назад свое решение, видимо, забыло, а вернее, получило распоряжение забыть, что премия-то дана была не художнику, а тем, кто издал книгу, что это была премия за полиграфическое исполнение, а не за содержание. Некоторые деятели эстонской культуры (почти все — члены партии) протестовали против этого факта, и их письмо даже было опубликовано в «Советской Культуре». Чтобы спасти положение, они были вынуждены доказывать, что Вийральт как художник «всегда был гуманистом» (в советском понимании этого термина). В том же духе представляет Вийральта и Большая Советская Энциклопедия: он «отразил трагические контрасты капиталистического города и стремился воплотить внутреннюю гармонию и красоту простого человека».

Однако на Западе, во множестве монографий и очерков (в том числе и в моей работе) Вийральт предстает тем, кем он был на самом деле, — художником демоническим, стремившимся показать всю глубину расщепленности сознания людей XX столетия. Многие критики ошеломлены тем, что этот драматизм передан в такой тонкой и блестящей технике. Александр Бенуа писал о выставке Вийральта в Осеннем Салоне 1938 года: «В своем мастерстве Вийральт превзошел все, что было сотворено до него в искусстве черного и белого». В 1948 году я написал следующее: «Это — Паганини современной гравюры».

«Сохранить свой дух свободным и следовать лишь своим собственным движениям, велению своей судьбы

— главное. Поэтому женитьба — не для меня», — сказал он мне в 1945 году. Самостоятельность и независимость его творческого духа доходили до того, что он чрезвычайно редко соглашался иллюстрировать какую-либо книгу, ибо это был з а к а з. Замкнутый и молчаливый, он одинаково решительно отвергал и советскую и нацистскую диктатуры; глубоко верующий, он относился с недоверием и подозрительностью к жесткой организации церкви прошлого; всю свою энергию он сосредоточил на том, чтобы его творчество было действительно свободным. Внимательный и непосредственный с друзьями, он жил одиноко и бедно, работал самозабвенно и упорно. Его богатством было сознание того, что за свою долгую жизнь он нашел наиболее соответствующий его личности образ мыслей и жизни, нашел свои неповторимые формы в искусстве гравюры и офорта.

Занимаясь скульптурой (но никогда не оставляя графику) в Тарту и Дрездене, Вийральт заинтересовался произведениями Эрнесто де Фиори и мечтал о возможности синтеза стилей Родена и Майоля. Но главной его привязанностью всегда оставалось искусство эстампа, он много экспериментировал в Париже и позднее в Таллине с полихроматическими монотипиями, многоцветной гравюрой на дереве и цветными офортами, но глаз его более всего влекло к оттенкам черно-белого и бесконечной гамме серых тонов. Свое знание техники и методов печати Вийральт усовершенствовал с мастерами, печатавшими гравюры на меди во Франции и в Германии. Композицию и проработку деталей он изучал, занимаясь ломбардским периодом творчества Леонардо, ранним Рембрандтом и офортами Гойи. Интересовали его Клуэ, Калло, Меллан, Нантой, Ватто и Мерион. Восхищаясь этими вечными мастерами, он, однако, выработал свой стиль, ювелирность техники и заставил всех вспомнить слова Редона: «Уважайте черный цвет!»

Техника печати, позволяющая давать едва заметные варианты тона оттисков, очень важна в мастерстве Вийральта. Работая с разными металлами, литографским камнем, линолеумом, деревом и другими материалами, он не хотел никому отдавать печатать свои оттиски и всю жизнь занимался этим сам. Постепенно определились и два самых любимых материала Вийральта: медь и пальма. Работая по дереву, он умел добиваться тех эффектов, какие свойственны обычно гравюре на меди или, наоборот, литографии...

Немногие из рисунков Вийральта, выполненные как иллюстрации к книгам (между 1917 и 1927 годами), представляют собой нечто среднее между «Art nouveau» и «декоративным искусством», но эти тенденции скоро исчезают в его манере. Раннее его творчество можно определить скорее как растущую тревожность в рамках фантастического реализма. Действительно, характеры демонические, просто фантастические и — позднее — человеческая нежность, может быть, даже попытки выразить нечто ангельское, проходит сквозь все творчество его, звучит в выражении лиц его персонажей. Антиклассицистические устремления в период с 1920 по 1930 год с детальным анализом никогда, однако, не вредили — даже при попытках стилизации — точности изображения и верности натуре.

В поздний период творчества — от 1946 года и до самой смерти — в работах Вийральта преобладает глубинное, внутреннее напряжение. Большинство гравюр этого периода отмечены силой и физическим динамизмом. Жестко изображенный типично нордический облик в некоторых портретах и словно противоположное ему «декадентское» лицо в знаменитой работе его «Поэт обращается к камням» (1948), почти уничтоженное маниакальной озабоченностью, вихревые контрасты заложены в пересечениях линий, в замкнутости резко диагональной композиции. Как всегда у

Вийральта, загадочная экспрессивность сосредоточена не только в чертах лица, но и в движении рук.

Выражения лиц у него чаще всего одухотворенные и аскетичные. Порой однако — опять-таки противореча сам себе — он выражает то мягкую чувствительность, а то и демоническую эротичность. Внешнее спокойствие его зрелых произведений в действительности словно разрывается от эмоционального и интеллектуального напряжения, и каждая мельчайшая линия играет свою роль в создании этого драматизма. Спокойствие это — словно песок неподвижной пустыни, который в любой миг готов взвиться адскими смерчами.

«Континент»
для Андрея Сахарова

Как бывший ссыльный и писатель я приветствую в Вашем лице символ мира и свободы. Желаю Вам здоровья, успеха в работе и возможности выполнить свой долг.

Пьер Декс

Андрею Сахарову

Вам и олицетворяемой Вами свободе — наши братские пожелания и наша солидарность.

Жан-Мари Доменак
журналист, писатель

Арестован — в шестой раз в своей жизни — наш друг Анатолий Марченко, автор книги «Мои показания» — первого свидетельства о советских политических лагерях послесталинского времени.

Марченко написал эту книгу в 1966 - 1967 гг., сразу по выходе на свободу. Это стало одной из первых самиздатских книг, опубликованных на Западе и переведенных на многие языки (даже на японский).

«Мои показания» открыли многочисленным читателям не только страшный мир Мордовских политлагерей и Владимирской тюрьмы, но и личность автора: паренек из Барабинска, попавший в тюрьму 18-летним и отбывший там 8 лет, думал не о том, как устроить свою жизнь на свободе, а об оставшихся в зоне товарищах. Его мечтой было вызволить их из неизвестности, хотя он не имел иллюзий о том, что ждет его самого за это. И действительно — о выходе своей книги Анатолий узнал, отбывая следующий лагерный срок.

Неизвестно, что конкретно означает нынешнее обвинение в «особо опасном государственном преступлении». Еще одно разоблачение постыдных деяний власти? Новую книгу? Но известно, что Анатолию Марченко, за плечами которого 15 лет неволи, грозит еще столько же. Поистине, в Советском Союзе чем благороднее человек, тем трагичнее его судьба.

20 августа 1981

Семьи:

*Алексеевы-Вильямс, Григоренко,
Литвиновы, Дина Каминская —
Константин Симис, Борис Шрагин
— Наталья Садомская.*

*Надя Светличная, Валерий Чалидзе,
Эдвард Клайн, Джошуа Рубенштейн*

Колонка редактора

«ВОЗЬМЕМСЯ ЗА РУКИ, ДРУЗЬЯ...»

Отрадно, что в последнее время на Западе возникает все большее и большее число печатных органов на русском языке. Меня, к примеру, как редактора «Континента» никак не страшит такая конкуренция. Скорее наоборот: в творческом соревновании позиций, стилей и талантов выявятся и утвердятся среди читателей сильнейшие. Так что, как говорится, дай им всем Бог!

К сожалению, некоторые из этих изданий поняли такое соревнование, мягко говоря, весьма своеобразно. Свободу, демократию, плюрализм мнений они трактуют как полную свободу от каких-либо моральных или профессиональных обязательств. Оскорбительные личные наскоки, инсинуации, а то и прямая клевета сделались для них нормой в борьбе за место под читательским солнцем. Причем, осуществляется это на их страницах, как правило, руками недавних партийных и комсомольских журналистов, почти не скрывающих своих симпатий к Брежневу и компании.

Кстати сказать, я уже убедился на личном редакторском опыте, что как только какой-либо автор или печатный орган начинает громогласно прокламировать свой «плюрализм», добра от него не жди; по гнусной агрессивности и неразборчивости в средствах они обычно далеко превосходят «Известия», «Литературную газету», «Неделю» и «Голос родины», вместе взятых. Трогательно, что даже объекты нападок у них остаются те же, что у советской печати: в первую очередь Андрей Сахаров, Александр Солженицын, демократическое движение и все, кто их поддерживает.

Многим из этих изданий я, по их просьбе, давал напутственные пожелания, но потом горько жалел об этих пожеланиях, обнаружив, что новоявленные «плюралисты» мало чем отличаются от своих советских собратьев, а порою и превосходят их по вызывающей наглости тона и безудержному цинизму.

Мне, как редактору эмигрантского издания, хорошо известны трудности, переживаемые на первых порах всяким печатным предприятием в русском Зарубежье. Не так-то просто, при наших весьма скромных (если не сказать больше) финансовых и организационных возможностях пробиться к русскому читателю сквозь поток многочисленной, к тому же зачастую весьма крикливой продукции, растущих, как грибы после дождя, эмигрантских издательств. Но по тому же своему личному редакторскому опыту я убедился, что если печатный орган в повседневной практике опирается на широкий спектр подлинно представительных сил эмиграции и метрополии, не отступая при этом от своей первоначально занятой принципиальной позиции, то читательская аудитория ему обеспечена. И тираж «Континента» — лучшее тому свидетельство. Только читательский спрос, а не хвастливые декларации определяют широту и демократичность любого печатного издания.

Поэтому я и хочу закончить эту короткую заметку обращением ко всем нашим единомышленникам в русском Зарубежье, цитируя здесь крылатые слова из песни Булата Окуджавы:

— Возьмемся за руки, друзья!

И тогда мы обязательно выстоим.

Наша почта

Уважаемый господин редактор!

В номере 6-7 немецкой газеты «Ди Цайт» с. г. было опубликовано интервью А. Синявского по поводу 100-летия со дня смерти Федора Михайловича Достоевского. В этом интервью, наряду с целым рядом других претенциозных несуразиц, писатель высказывает и свое мнение о русском человеке вообще. Если в прежних своих постулатах о России и русском народе он считал нужным хотя бы смягчать свои, более чем странные, суждения различного рода оговорками, то здесь в беседе с западногерманским журналистом его уже ничто не сдерживает. Надеюсь, видно, на то, что мало кто из русских читателей заинтересуется немецким текстом интервью, писатель прямо заявляет: «Но, конечно, как человек общества, русский всегда остается рабом». Фраза эта, как основная мысль интервью, вынесена редакторами в «шапку» над всей публикацией.

В связи с этим, нам хотелось бы узнать мнение журнала, который претендует на то, чтобы говорить от имени России или, во всяком случае, мыслящей ее части.

Н. Гириш, Мюнхен, ФРГ

КОММЕНТАРИЙ В. МАКСИМОВА: Фашистская теория о рабской сущности славянских народов обошлась свободному миру вообще, а немецкому народу в особенности, очень дорогой ценой. Но, как это ни странно, она — эта теория — оказалась куда более живучей, чем это выглядело для многих после Нюрнберга. Причем не только в неофашистском подполье, но и среди определенной части западных политиков и интеллек-

туалов, считающих себя «либеральными демократами» и «плюралистами». То и дело можно читать и слышать их высокомерные разглагольствования по поводу «врожденных пороков» русского народа, о его изначально крепостной сущности и тоталитарных наклонностях. Вся эта неорасистская болтовня не могла бы вызвать у всякого нормального человека ничего, кроме брезгливости и презрения, если бы ею искусно не пользовалась советская пропаганда для разжигания в стране животного шовинизма, антисемитизма и страха перед жупелом «мирового империализма», направляемого, конечно же, «сионистским заговором». Некоторые советологи и политологи Запада словно бы забыли, что именно эта гнусная розенберговская демагогия помогла Сталину поднять самые широкие массы народа на сопротивление фашизму и, тем самым, спасти коммунистическую систему от неминуемой гибели.

Но самое печальное состоит в том, что в этой неорасистской кампании приняли активное участие (кто по глупости, а кто из шкурных соображений) некоторые представители новой эмиграции, то есть те, кого как раз и называли в свое время теоретики Третьего рейха «унтерменшами» или «гнусными разрушителями человеческих ценностей»: русские, украинцы, белорусы, евреи и все примыкающие к ним.

Брань А. Синявского и его единомышленников у русского народа и его литературы на восточном пороге не повиснет, но немецким редакторам, печатающим подобные неорасистские пакости, не следовало бы забывать о том, чем кончилось это для Германии в 1945 году. Уверен, что повторение опыта кончится для нее, а может быть, и для всего мира, еще хуже. Поэтому не советуем повторять.

В отличие от маленьких людей, считающих себя большими писателями, человек, у которого куда меньше, чем у них, причин уважать Россию и ее народ, личность мирового масштаба, духовный отец нынешнего

Папы Иоанна-Павла Второго судит о русских совсем иначе:

Warszawa, dnia 14.12.1975
ul. Miodowa 17

«Дорогой Владимир Емельянович!

Извините, что я обращаюсь к Вам на русском языке, хотя я уже совсем забыл говорить по-русски с детских моих лет в училище маленькой родимой деревни.

Но я думаю, что это будет для Вас выражением моего глубокого почтения к народу, который теперь находится на дороге Христа Спасителя.

Я всегда считал, что есть разница между народом и его начальством. Народ живет, но люди должны возвращаться туда, откуда они и пришли на землю.

Вот для народа надежда, что мы все будем одно с Отцом всех народов и людей.

Эта надежда обозначает много для всех живущих во время труда и Креста.

«Придет и не опоздает Тот, Кто всё объединит».

«Поднимите головы, ибо приблизилось ваше Спасение». (Из предрождественской литургии.)

К Рождеству Христову Вам, дорогой Владимир Емельянович, и всем Вашим друзьям желаю передать: Аллилуя, мир с Вами, аллилуя!

Стефан Кардинал Вышинский»

Учитесь мыслить, уважаемые!

Когда верстался этот номер, мы получили сообщение о смерти примаса Польской церкви кардинала Вышинского. Присоединяемся к скорби всех христиан мира в связи с кончиной этого великого пастыря современности.

Мир праху его!

«Континент»

Уважаемая г-жа Альберти!

Мы хотели написать прямо г. Максимову, но у нас нет его адреса, а в журнале «Континент» тоже нет его. Но мы видели в Вашей газете его статьи (мы иногда покупаем Вашу очень интересную газету) и решили, что Вы окажете нам любезность и передадите это письмо г. Максимову.

Глубокоуважаемый г. Максимов!

Мы — четыре уже пожилые женщины — недавно приехавшие из России. И пока живем в ульпане в Тель-Авиве. После того как мы послушали выступление г. Эдуарда Кузнецова, мы решили вскладчину купить Ваш журнал «Континент». И потом нам г. Кузнецов одолжил несколько старых номеров. Мы считаем Ваш журнал просто замечательным. Если бы его можно было как-нибудь в СССР доставлять!

Вот об этом нашем восхищении мы хотели Вам сообщить. И о своем глубоком уважении к Вам и Вашей работе.

*Соня Гринштейн
Анна Дорман
Лидия Штейн
Бэла Файф*

*Ульпан «Бейт-Мильман», Тель-Авив
2 мая 1981 г.*

Критика и библиография

ЦЕННАЯ РАБОТА О НАЦИОНАЛ-БОЛЬШЕВИЗМЕ

Спорам о духовных предпосылках большевистской революции, замешанным на партийных и национальных пристрастиях, подчас не достаёт желательной насыщенности фактами.

Новые факты, а также факты известные, но оригинально встраиваемые автором в его концепцию, представлены в книге М. Агурского о национал-большевизме. После появления этого исследования любой историк, даже не согласный с основными положениями книги, должен быть готовым ответить на «вызов» М. Агурского, приводя новые, столь же убедительные факты, но отнюдь не игнорируя свидетельства истории, приведенных в его работе.

Можно ли теперь, после выхода книги М. Агурского, не идя на компромиссы с научной совестью, утверждать, что Октябрьскую революцию совершили в своих интересах только евреи, если факты говорят о том, что первые ее шаги поддержали и антисемиты, вроде Пуришкевича или одного из главарей черной сотни Иллиодора, объявившего, что приветствует Октябрьскую революцию, ибо «после Февральской революции остались помещики, купцы и фабриканты, которые пили народную кровь» (до революции место этих кровопийц занимали в лексиконе Иллиодора «жиды»)?

Можно ли продолжать утверждать, что Октябрьский переворот удался, а заговорщики остались у власти лишь благодаря инородцам и подонкам русского общества, если «из 130 000 командиров Красной Армии примерно половина была бывшие царские офицеры и генералы», среди которых были и помощник военного министра А. Поливанов, и главнокомандующий армией А. Брусилов, и убежденный монархист генерал Зайончковский, и генерал Слащёв, опозоривший Белую армию еврейскими погромами?

М. Агурский. Идеология национал-большевизма. ИМКА-Пресс, Париж, 1980.

Но и ассимилированные евреи не могут отмахнуться от того факта, что у истоков большевистской государственности стояли Троцкий и Зиновьев и немало других, а те евреи, о которых речь идет в главе «Русифицированные евреи», содействовали укреплению большевистской идеологии.

Уже казалось бы аксиомой, что русская православная Церковь должна была бы единодушно осудить большевизм. Однако факты говорят, что и Церковь внесла определенный вклад в укрепление большевистской власти, причем не обновленческая Церковь только (что было известно и раньше из работ А. Э. Левитина-Краснова), но и некоторые представители Церкви патриаршей, вроде архиепископа Иллариона, заявившего в 1923 году, что она «определенно отмежевалась от контрреволюции и приветствует новые формы советского строительства». А председатель Синода В. Львов сам прикнул к «красной» обновленческой церкви и потребовал расправы над патриархом Тихоном. Что же касается самой обновленческой Церкви, то достаточно приведенных в книге М. Агурского слов ее основателя Введенского, чтобы признать соучастие определенных церковных кругов в создании большевистского государства: «Мир должен через авторитет Церкви принять правду коммунистической революции».

М. Агурский приводит факты, которые, по его убеждению, свидетельствуют об участии в идеологической подготовке большевистской революции и русской религиозной интеллигенции. Здесь он идет куда дальше «Вех», видевших лишь в рядах революционной интеллигенции разрушителей старой России. В книге говорится об ответственности интеллигенции за торжество большевистской релятивной этики: Шестов прославил в «Апофеозе беспочвенности» прагматическую циничность безыдейности, назвав непостоянство «одной из высших добродетелей»; Мережковский полюбил Антихриста больше Христа, а его ученик Лундберг цинично сравнил подонков революции с учениками Христа: «За Христом шла сволочь. И за революцией, кроме тех, кто зачнет ее, пойдет сволочь. И этого не надо бояться». А упоение Блока сходством большевиков со скифами, миссия которых в уничтожении гнилого Запада? А страдание Есенина из-за того, что «коммунисты нас (мужицких поэтов) не любят по недоразумению», и прославившего вместе с Клюевым Лени-

на как истинно народного вождя, тем самым любовью отвечая на холодность к нему коммунистов!

М. Агурский показывает, к чему привели Россию безответственные софистические забавы русской философствующей интеллигенции, зараженной гегелевской диалектикой, с помощью которой так легко узреть в отрицании утверждение, в разрушении — надежды на созидание, в атеизме — истинное служение Богу. Все это, казалось бы, столь невинное салонное блудомыслие привело к победе сил, принесших русскому народу неисчислимые духовные увечья.

Таким образом, М. Агурский зачеркивает примитивную схему великого трагического события в русской истории — Октябрьского переворота, — согласно которой этот переворот — дело рук кучки авантюристов: из работы М. Агурского вытекает мысль, что это был все же не переворот, а революция, за которую несут ответственность чуть ли не все слои русского общества.

М. Агурский не ставит задачу обнаружения всех причин большевистской революции, его интересуют не экономические, не политические, а лишь идеологические ее корни. Всё же революции вызываются не болтовней идеологов, а экономическими потребностями общества и его политическими и нравственными устремлениями, хотя, конечно, идеология придает определенную окраску событиям, а главное — вносит самый решительный вклад в духовное послереволюционное развитие. Идеологи никогда не знают, к чему приведут их спекулятивные забавы. Очень существенно замечание М. Агурского, что «Мережковский и Зинаида Гиппиус отвергли большевизм, не узнав в нем собственного крестника».

Замечание это заставляет попристальнее взглянуть на концепцию Агурского. Действительно, самые разные течения русской общественной мысли в той или иной степени делали вклад в становящуюся большевистскую идеологию; действительно, большевики приняли элементы самых различных учений, которые, казалось бы, никак не могут быть объединены в строгую систему, однако весьма рискованным кажется тезис, согласно которому идеология людей, захвативших власть в октябре 1917 года, — концентрация русских национальных идей самого разного толка: от учения Вл. Соловьева до черносотенства, от символического мистицизма до есенинско-клюевского почвенничества. Чтобы принять

такую концепцию, нужно согласиться с тем, что существует некая общая, для всех приемлемая национальная идея и что большевики её-то и выразили. Однако весьма сомнительно, имели ли большевики (по крайней мере главари партии) какую-нибудь национальную идею. Ленин всегда говорил, что главная цель большевиков — захват власти с целью осуществления сначала в России, а потом во всем мире идеалов научного коммунизма. М. Агурский в своей книге подчас показывает, что те, кто принял большевистскую революцию за революцию национальную, весьма заблуждались, выдавая желаемое за действительное, однако центральный тезис книги все же в том, что большевики осуществили мечты национально мыслящей части русского общества. Это утверждение Агурского можно было бы с некоторыми оговорками принять, если бы мы под национально мыслящей частью русского общества понимали те правые силы в русском политическом спектре, для которых Россия — это ее государственность и могущество. (Именно в этом негативном для него смысле употребляет термин «национал-большевики» А. И. Солженицын в статье «Раскаяние и самоограничение».) Естественно, что большевистскую революцию в конце концов принял один из самых принципиальных представителей правых сил В. В. Шульгин, что к признанию большевиков склонялись черносотенцы и сменовеховцы. Однако те, для кого Россия — это прежде всего конкретный русский человек: крестьянин и рабочий, предприниматель и интеллигент, священник и чиновник, а национальная задача — в создании права, защищающего человека от государственных претензий, ни в какой степени не могли содействовать утверждению власти и идеологии большевиков и коммунистов, для которых человек, личность вообще не существует, а есть класс, партия, нация, используемые для осуществления различных социальных и внешнеполитических экспериментов.

Здесь уместно, наконец, прояснить термины «левый» и «правый», которые сейчас, в эпоху *Begriffsverwirrung* (то есть путаницы понятий), используются в идеологических дискуссиях как кому придется. Книга М. Агурского убедительно доказывает, что национал-большевизм — явление никак не левое, а правое — в самом точном смысле этого слова, ярчайший образец политического течения, которое следует относить к течениям безусловно правого толка.

Очень существенно утверждение М. Агурского, что к национал-большевизму склонялись те идеологи, которые отвергли «концепции правового государства..., этого краеугольного камня мировоззрения кадетов». Отсюда — так называемые «прогрессивные силы» в странах Запада, поддерживая прямо или косвенно советскую систему, никак не принадлежат к действительному левому лагерю, но способствуют торжеству самых правых сил. Движение по политическому кругу справа налево есть движение в направлении сокращения прав надперсональных структур (партий, государства, нации) и увеличения прав отдельной личности. Крайне левые в определенной точке этого круга сходятся с правыми, если требования свободы личности доводятся ими до отрицания государства и нации: личность, лишенная национальной идентификации, а также защиты (со стороны государства) своих суверенных прав от притязаний других лиц, — столь же уязвима, как и в ситуации тотальной власти государства над нею.

М. Агурский показывает, что коммунисты-интернационалисты и большевики-националисты прекрасно смогли сойтись на формуле русского государства, чья миссия состоит в распространении на весь мир идей научного социализма. И тут уж им помогли и К. Леонтьев с его предложением «нужно властвовать беззастенчиво», и Шульгин с его имперскими притязаниями, и кое-какие писатели (Б. Пильняк, Вс. Иванов, Л. Леонов), романтизовавшие разгул русской (азиатской!) народной стихии.

Книга М. Агурского вносит корректив в привычное представление о том, что коммунисты оседлали национальную лошадь лишь во время Отечественной войны. Агурский убедительными фактами доказывает, что коммунисты вскакивали на эту лошадь уже раньше, чуть ли не с самого начала их революции. Прав Р. Пайпс, говоря, что для коммунистов национальный вопрос не то, что надо решить, а то, что надо эксплуатировать. Агурский же подчас слишком серьезно относится к полемике между коммунистами и большевиками.

Так, М. Агурский пишет, что сменовеховцы и их идеолог Устрялов приняли большевизм и даже Сталина, и считает, что это обстоятельство подтверждает его тезис о национал-большевизме как идеологии коммунистического руководства

в СССР. Однако нельзя забывать, что сменовеховство было самым решительным образом осуждено в советских идеологических изданиях уже в конце 20-х годов и до настоящего времени в советских учебниках истории и литературы сменовеховство определяется как учение враждебное. Имея «влечение, род недуга» к империализму и шовинизму, русские большевики всё же не включают имперскую и шовинистическую идеи в свою программу, как то, например, сделали их духовные кузены национал-социалисты в Германии.

Заканчивая чтение книги М. Агурского, читатель пожалует, что анализ национал-большевизма не доведен в ней до нашего времени. Автор сделал бы серьезную услугу исторической науке, если бы продолжил работу над своей темой, сделал бы анализ трансформации идеологии и практики национал-большевизма в 30-70-е годы.

В новом, расширенном варианте книги можно было бы избежать некоторых, слишком рискованных обобщений вроде, например, утверждений, что мистицизм чуть ли не неизбежно ведет к национал-большевизму или что «русский литературный символизм так или иначе своими корнями уходит в соловьевский мистицизм, и именно он, в большей степени, чем все другие литературные течения, восторженно встретил большевистскую революцию». Книге, важнейшей особенностью которой является доказательность, вряд ли пристали такие суждения, легко опровергаемые как раз с помощью очень веских фактов.

Герман Андреев

ОТОРВАВШИЕСЯ ОТ ДУХА

Германия, бывшая когда-то родоначальницей духовных течений, поражает сегодня тем, что духовные проблемы как бы исчезли из немецкой общественной жизни и единственное, что объединяет молодых немецких интеллектуалов, — левацкие настроения, политиканство и поверхностный активизм.

Johann Baptist Metz. *Jenseits bürgerlicher Religion*. Kaiser, Grünwald, 1980.

Политическим становится все, даже теология. «Форум политической теологии» открывает книга И. Б. Меца «По ту сторону буржуазной религии», ставшая настольной книгой юных богословов-бунтарей. Этот католический богослов объявляет: «Карусель политики должна двигаться сегодня скорее влево, если она хочет двигаться под музыку Евангелия и заповедей блаженства».

Что же такое это «влево»?

В начале книги мы находим довольно-таки справедливую критику «существующего порядка вещей». Это обычная — можно назвать ее романтической, экзистенциальной, профетической — критика одряхлелой буржуазной религиозности: «Мессианская религия Библии стала буржуазной религией в христианстве наших дней». Радость в буржуазной религии становится безрадостной, все утопает в индифферентизме, и церковь заболевает от разрыва между «открыто проповедуемыми, церковно организованными мессианскими добродетелями христианства (обращение ко Христу и следование за Христом, любовь и готовность пострадать) и действительными ценностями буржуазной жизни (независимость, собственность, стабильность, успех)».

Но призыв к обращению сердца становится у Меца незаметно (но как часто это уже происходило в истории социалистических, народных сект) призывом к разрушению старого порядка вещей. Христианская эсхатология подменяется апокалиптикой, и мы имеем все ту же старую песнь: «Весь мир насилья мы разрушим...»

В его книге социалистический Танатос жаждет острых, пограничных ощущений. Парадоксально, но факт, что, начав с христианской критики мягкотелого, ненапряженного христианства, Мец мгновенно переходит к критике буржуазного общества как такового и приходит, в конце концов, к критике самого «покоя», самого «мира», т. е. основных христианских добродетелей. Известно, что классиков марксизма очень раздражал «примиренческий» тон философии Гегеля и уж в своей собственной философии они постарались в соответствии с одержимо-неспокойным духом марксизма отменить «примирение противоположностей» и объявить им «войну». То же делает и Мец на радость всем скучающим молодым немцам. В самом деле, как можно проявить свою активность в обществе, где «нет опасности, нет проти-

воречий и нет более падений. Все стоит под приматом примирения».

И здесь становится ясно, что Мецу не нравится не просто сытое и благополучное общество ленивых буржуа, а *покой* вообще, что он одержим болезнью активизма, все тем же некрофильским духом бунта и разрушения. И ясно, что воюет он, собственно, не против примирения, а против мира, того самого последнего и окончательного мира, который и должен жить в душе настоящих христиан, который принес Сам Господь, когда, воскреснув, пришел к ученикам.

Но это уже уровень духовной критики, а Мец до «духовного» не добирается. Слово «Дух» вообще отсутствует в подобных книгах, хотя авторы их и именуют себя «теологами».

Процесс утери вкуса к духовному был длительным и постепенным. Уже в идеализме XIX века дух не воспринимается всерьез и не признается за реальность. Он становится интеллектуальной химерой и фантазией. «Субъективный дух, объективный дух, абсолютный дух» — слова, слова, слова. Но тогда были хотя бы слова. Сегодня же слово «дух» окончательно исчезло из так называемых «наук о духе» и меньше всего надежды услышать его на теологических факультетах Германии.

А началось все с отрицания злого духа, или дьявола. Даже у самых фундаментальных и еще сравнительно традиционных догматиков, таких, как Карл Ранер, например, не сказано ни слова о дьяволе. Молчаливо признается, что дьявол принадлежит к сфере мифологического и бояться его не надо. Вообще же говорить о демонах или ангелах — верх неприличия в век эмансипированного человеческого сознания.

Итак, дьявол смог сделать самое главное — о нем позабыли. А позабыли потому, что утратили один из важнейших духовных навыков: искусство различать духов. И это как раз в наш XX век, век ГУЛагов и страшных человеческих жертв, как раз в то время, когда становится ясным, что дорога в коммунистический ад усеяна благими намерениями, что слишком мало и слишком опасно просто желать «хорошего».

Но, видно, такова уж воля Божия — те, кто должен идти вглубь и раскрывать причины явлений и вещей, т. е. философы и богословы, стараются всплыть на поверхность

и быть вне ответственности. Сегодняшнее католическое и протестантское богословие превращается в неприятные филологические штудии, исследует «букву» Писания и страшно гордится своей ученостью.

И как противовес этому филологическому позитивизму рождается новый социалистический активизм. Серая скука теологического буквоедства разбавляется у сегодняшнего немецкого буршества борьбой за социальную справедливость. Причем давно уж Германия не интересуется своей собственной судьбой, историей, культурой, не находит в себе сил даже к минимальному самоосмыслению — все ее вздохи и мечты устремлены к далекому третьему миру, кипящему революциями и трогающему нищетой. И то и другое — приятный мазохистский укор для жаждущих действия и живущих в мире сплошного изобилия немецких юношей. Ведь веками третий мир грабили мы, представители мира первого, — говорят они себе и начинают всерьез страдать.

Ясно, что о втором, коммунистическом, мире предпочитают молчать, хоть и знают давно, что в нем совершаются социальные драмы не меньшей, а может быть, куда большей напряженности, чем в мире третьем. Но о втором мире кричит правая пропаганда, да и очень уж не хочется расставаться с любимыми социалистическими иллюзиями, а вдруг как в третьем мире, а потом и у нас, в Германии, из социалистической революции и впрямь что-нибудь хорошее выйдет?

Такова атмосфера, в которой живут и пишут авторы, подобные Мецу.

Совершив легкий прыжок от критики буржуазной религии к критике буржуазного общества вообще и критике сугубо социальной и политической, Мец совершенно по-марксистски оправдывает свое пристрастие к политике: отречение от политики есть тоже политика, пишет он, и притом самая худшая. Он призывает к партийности (ибо ясно, что нет беспартийного искусства и, естественно, беспартийной теологии). Грустно читать пассажи, где Мец балуется «тоталитарной» марксистской диалектикой, и думать, до какой безответственности дошла когда-то серьезная немецкая мысль. Ведь опыт советской жизни ясно показал, что подобные софизмы не безобидны, что приводят они в конце концов ко всеобщему запрету чувствовать, мыслить, фантази-

ровать, творить. Если мысль всегда политична и партийна (а истина принадлежит лишь одной партии), то за всякие другие мысли нужно отправлять в тюрьмы и сумасшедшие дома.

А как использует Мец в своей политической теологии интерес студенчества к третьему миру? Опять же начинает с «сентиментального», делая вид, что смотрит с высот Нагорной проповеди: «Перспектива Нагорной проповеди вдруг получает свое политическое преломление: они (народы третьего мира. — Т. Г.) постепенно учат нас смотреть на себя самих и на собственную ситуацию глазами бедных народов, т. е. глазами бессильных, поработанных и неимущих. Они всё яснее ощущают, что крик этих бедных христиан — это вызов нашему христианскому существованию в первом мире, вопрос, требующий осмысления и обращения. Они все яснее сознают объективную вину, в которой живет наш первый мир, и пытаются сделать эту вину все более субъективной, чтобы быть, наконец, в общественной и политической сфере более продуктивными... они понимают, что эти бедные страны не столько недоразвиты, сколько представляют собой результат разрушения, жертву нашей европейской экспансии».

Хоть и упомянута Нагорная проповедь, но все рассуждение ведется с точки зрения «низко»-материалистической: третий мир нужно пожалеть за его нищету, бедность, отсталость. Как будто об этом говорил Иисус Христос, когда провозглашал свои заповеди блаженства: Блаженны нищие духом! Он говорил о счастье быть бедным, гонимым, плачущим. И бедность Он понимал далеко не только как бедность социальную.

Пожалеть нужно не третий мир, а тех богословов, которые не хотят видеть глубины христианского благовестия. Имея перед глазами сокровища христианской проповеди, они отворачиваются от них, чтобы тешить себя и других убогими марксистскими рожками.

По форме, рассуждения Меца о третьем мире и о вине перед ним напоминают наших народников: та же «субъективная» социология (осознать вину), та же устремленность и забота о «дальнем». Для народников это был народ, который они идеализировали и не понимали, для немецких интел-

лектуалов — экзотический и так же мало понимаемый третий мир.

Но русские народники «искупили» свой идеализм, потому что были людьми жертвы и действия, немецкие же интеллектуалы предпочитают сохранять «пафос дистанции» и любить дальше издалека.

Быть христианином тяжело везде. Может быть, на Западе это еще труднее, чем на Востоке. У нас, в России, добро и зло обнажены, человек всей жизнью поставлен перед необходимостью окончательного, недвусмысленного выбора. И нужно строго по-евангельски говорить «да-да» или «нет-нет», так как все прочее — от лукавого.

На Западе эта норма духовной жизни завуалирована. Левачество западной интеллигенции поверхностно и легкомысленно. И тем не менее — оно первая, неумелая попытка побороть несокрушимый материализм супермаркетов, и «леваками» часто становятся не худшие, а может быть, лучшие люди. Их протест против сытости и засилия вещей также материалистичен и наивен, но, видно, трудно богатому войти в Царство Небесное, и, по попущению Божию, не научившиеся плакать и страдать люди первого мира разбавляют смертельную скуку существования «жалостью» и своеобразной завистью к миру третьему.

Мы не останавливаемся подробно на многих рассуждениях Меца — это уже частности, которые вряд ли будут интересны русскому читателю. Важнее показать, чем живет сегодня «передовая» богословская мысль Германии, потерявшая глубину и мощь, оторвавшаяся от Духа и молитвы, утерявшая понятие «духовной гигиены» и потому слепо принимающая на веру марксистские идеи. Не умеет и не хочет она увидеть за маской (уже столько раз срываемой) гуманных желаний циничную природу марксизма, его дьявольские гримасы.

Т. Горичева

ВОЛК И ЗВЕЗДЫ

На сцене — палач. Новый персонаж новой книги писателя Юза Алешковского «Рука». Герои Алешковского всегда «из ряда вон». Они вышли — или выброшены — из нормальной человеческой жизни, и «раскалываются» — говорят о себе, не прекращая монолога на протяжении целой книги.

Выйдя на сцену, герой представляется: «Имеется в очередном наличии трупешник. Господин Крематорий, Товарищ Полковник Морг, Рука! Он физиологически функционирует и работает палачом, Член КПСС с 1936 года. Чудовищно!» И дальше идет рассказ о действительно чудовищной судьбе. Рассказ фантазмагорический, но, увы, заключающий в себе страшную реальность.

Это рассказ человека, переставшего таковым быть.

Собственно, это не монолог, а как бы половина дуэта. Имеется собеседник, но его голос не слышен. Ответы его звучат только в пересказе «солиста». «Солист» — следователь. Дознание проводится за столом, установленным снедью и питьем. Место допроса — вилла гражданина Гурова, старого шакала. Допрашивающий взял на себя в этот час роль Судьбы. Идет последний разговор, в последний час и начистоту. Через накрытый стол — взгляд в упор. Человек человеку — преступник преступнику — рассказывает о своей — о его — жизни.

«Садитесь, гражданин Гуров, главное теперь для вас не вертухаться», — начинается роман-дознание. Следствие по делу ведет сам потерпевший. Потерпевший в 1929 году, в разгар раскулачивания, от «особого карательного отряда» во главе с комбригом Понятьевым, перебившим тогда в деревеньке Одинке всех мужиков за нехитрое стремление трудиться на своей земле, беречь землю и сеять хлеб. Убит был батя, крестьянин Шибанов, на глазах сына. А чекистские сынки, «красные дьяволята» в рогатых буденовках, искалечили героя, выморозив его на тридцатиградусном морозе. Не стал герой мужем, отцом, мужиком. Стал Рукой.

Рассказ Руки — рассказ о мщении. Как в свое время (и в другой книге) граф Монте-Кристо мстит всем, кто лишил его чести, свободы, молодости, — мстит Рука всему каратель-

Юз Алешковский. Рука. Роман. «Руссика», Нью-Йорк, 1980.

ному отряду; уничтожает по одному тех чекистов-зверюг и их сынков-зверенышей. Как у героя Александра Дюма, у этого героя тоже есть в с е средства, чтобы привести приговор в исполнение.

Он, волею судьбы — вернее, волею своего создателя (ведь автор — Провидение для своего героя!), — спасает самого Сталина. Убивает бешеного пса, кинувшегося на вождя, — и сразу же попадает в фавориты, а затем становится его правой Рукой. Кровавой Рукой. Палачом сатрапа. Рука получает поистине дьявольскую власть над человеческими жизнями. Он становится по ту сторону морали, он оказывается отрезанным от вековечной культуры, — так же, как и те, с кем он поклялся поквитаться. Да, они все из одной стаи.

Сюжетный ход романа оказался настолько удачным, что внимание читателя все время приковано к действию, словно при чтении детектива. Острота интриги — одно из наибольших достоинств любого повествования, и серьезность поставленных проблем от этого ничуть не меньше. Итак, сюжетный ход романа оказался очень емким. Он дает возможность нанизывать сцену за сценой. Они исполнены сюрреалистической жутки — но как же они реальны!

Фантасмагория становится зримой, почти осязаемой, когда есть детали, слепленные из плоти. Следовательно Рука полностью реалистичен, живет в трехмерном мире вымысла. Это происходит оттого, что автор перевоплощается в героя, давая этим читателю эффект присутствия. Особенно это ясно видно в сценах, где следователь, профессионально юродствуя, сюсюкает: «Где моя папочка? Во-от моя папочка!» — а из папочки лезет «документик», страшнее морды леопарда! Слышишь голос, видишь хищную ухватку...

Героев Алешковского видишь, потому что слышишь. Слышишь парализующий ор следователя — на смену глумливой вежливости. Слышишь другой голос — человека, сидящего в звере, ужасающегося делу руки своей. Этот мрачный голос, избавившийся от глумливых ноток, рассказывает об убийстве Влачкова — одного из понятьевской своры. О том, как загоняет жертву в угол камеры смертников — в тот угол, где параша. А тот, ничего пока не понимая, хохочет, называет мавзолей «застывшей музыкой № 1» — и тут видит дуло... И залезает в парашу с головой... и слышишь ушами

казнимого — шаги, стук шагов, последнее, что ему узнать в жизни... А его палач, не замечая, что уже убил, исповедуется мертвецу, медленно погружающемуся в зловоние...

«Что же происходит?» — это последний вопрос любой жертвы. Что же происходит? — спрашивает себя палач. И отвечает: «Происходит, говорю, возмездие. Всего-навсего. Я — граф Монте-Кристо из деревни Одинок Шилковского района. Я, говорю, сын Ивана Абрамыча, который письмо Сталину относил, а ответ от Понятьева получил».

Месть за местью, допрос за допросом. Казнь за казнью. И все мучительней, страница за страницей, вопрос: имеет ли право человек убивать? Пусть даже нелюдей — но не выродок ли тот, кто упразднил в себе человеческое, добровольно став рукоятью топора, петлей виселицы?

«Уйди от зла и сотвори благо», — сказано в Писании. Имеет ли право человек не мстить? Ведь он мстит всей сатанинской системе, ведь он вышел на единоборство с самим Дьяволом. Можно ли, соприкоснувшись с Сатанинской Силой, даже в борьбе, остаться не отмеченным железным когтем? Герой мучительно допрашивает самого себя. Он самого себя загнал в зловоннейший смертный угол своей души. И выход для него становится все более определенным по мере продвижения Дела. Не «гражданина Гурова» допрашивает Рука. Он спорит с чёртом в себе.

Бесы овладели его душой; бесы овладели Россией. Бесы послали на русскую землю своего ставленника — с трубочкой из-под усов, с кошачьей ухваткой.

Сталин — особое лицо в повествовании. Уже не первый раз он появляется на страницах книг Алешковского. В мини-повести «Николай Николаевич» он — незримый руководитель шабаша и свистопляски, в которую в советской стране была превращена жизнь ученых. В романе «Кенгуру» Сталин еще не полностью довоплощен: из мутного тумана проступают лишь его ноги. В романе «Рука» он виден весь. И, невзирая на нереальность ситуации, в которой он появляется в романе, невзирая на схематичную карикатурность, образ Сталина парадоксально правдив. Но если образ Палача слеплен из живой плоти, фигура «кремлевского Кашея» как бы свита из переплетенных силовых линий. Она реальна реальностью воплотившегося привидения. В нем есть какая-то правда шаржа.

Сталин у Алешковского такой, каким его хотел видеть смертельно испуганный обыватель. Обывателю необходимо было внушать себе, что над ним властвует кто-то, напоминающий человека. И поэтому обыватель вообще любил рассказывать байки о Сталине — «частном лице», стараясь уверить себя, что вождю ничто человеческое почти не чуждо. Сталин в романе именно персонаж такого обывательского фольклора. Здесь есть прямо «сказочные» сцены, похожие на байки. Под взглядом Руки, сидящего в потайном закутке кабинета вождя, проходят один за другим сталинские соратники. Один за другим, сами не зная того, уходят они из кабинета мертвецами. Паролем приговора служит «собачья тематика». Зашел с соратником разговор о собаках — следовательно, зачислен во враги... И кто знает, насколько правдива эта кровавая легенда, это могильное шутовство.

Роман в значительной мере посвящен рассуждениям героя — имеет ли он вообще после своих злодеяний право на душу. Но, имея в распоряжении такого живого героя, вряд ли стоило прибегать постоянно к помощи аллегорий и снов. Рассказы о видениях, пересказы снов, философские записи блаженного зека Федора Гусева отягощают действие. Метафизические экскурсы придают повествованию ненужные длинноты. Писатель-сатирик, превращающийся в идеалиста-резонера, сбился, так сказать, с пути. Слишком уж много словен в своем страдании герой. Лучше бы он больше рассказывал, как мстил своим врагам и всей власти.

Одним из главных достоинств книги «Рука» оказалась такая живучесть вымысла, что тот принялся диктовать автору свои условия. Так, например: Рука предпринял допрос Гурова на даче, чтобы усугубить муку жертвы. А получается другое: в результате многодневного сидения за бутылкой, жертва и палач притерлись друг к другу. Им вместе по ч т и хорошо. В финале Рука приговаривает к смерти самого себя, и иначе и быть не могло. И все же до самого конца предполагаешь: нет, не будет казни, не будет команды «Пли!» А вместо этого оглянется герой и скажет: «А что, коньяк-то весь! Рябов, сбегай!» И характер героя от этого бы не поменялся, а неожиданная концовка всегда хороша.

Юз Алешковский написал роман с отличным сюжетом. И, кроме того, его книга продолжила русскую традицию духовного поиска. Герою Алешковского труднее, чем его

предшественникам — он далек от Бога. Но он взывает из бездны, из грязного ада в собственной душе. Он вопиет из мрака сатанизма, освещенного адскими сполохами трубочки с головой асмодея, с профилем ФЭДа.

... Читая роман, вспоминаешь сюжет поэмы Заболоцкого:

Волк захотел увидеть звезды, но для этого ему пришлось изменить свою природу. Чтобы взглянуть в небо, ему пришлось переломить свой хребет. Сделав это, Безумный Волк умер победителем.

К. Саягир

«ПЛАТОН МНЕ ДРУГ...»

Литература на французском языке для меня практически недоступна, но все же в тех случаях, когда книга, принадлежащая перу близкого мне автора, вызывает острую полемику в печати, я стараюсь знакомиться с ней, хотя бы с помощью подстрочного перевода.

С «Французской идеологией» Бернара-Анри Леви можно соглашаться или не соглашаться, все зависит от угла зрения и степени самокритичности собеседника, в данном случае читателя, но отмахнуться от нее, остаться к ней равнодушным невозможно. Эта книга — зеркало с отчасти смещенным фокусом. Она универсальна, хотя, на первый взгляд, целиком посвящена французской истории и французским проблемам. Такая книга была бы необходима в одинаковой степени немцам и русским, полякам и англичанам, арабам и скандинавам. Одновременное существование в нашем веке Магадана и Освенцима лучшее тому доказательство.

О том же свидетельствует и реакция на этот памфлет-исследование Бернара-Анри Леви большинства французских интеллектуалов, образовавших вдруг против него единый фронт от левацкой «Либерасьон» до желтой «Минют». Снова, в который уже раз в новейшей истории, бóльшая часть пишущей братии Франции продемонстрировала угнетающую инфантильность мышления, жалкую узость мировоззрения и, если хотите, духовное малодушие. Как это ни парадокс

Bernard-Henri Lévy. *Idéologie française*. Grasset, Paris, 1980.

сально, но среда, претендующая на положение законодательницы интеллектуальных мод, до сих пор (уже после «ГУЛага» и феномена русского и восточноевропейского сопротивления) не нашла в себе силы и мужества вылезти из детских штанишек клишированных штампов, вроде «левого» и «правого» или «прогрессивного» и «реакционного».

Забавно наблюдать, как под соусом либеральной демагогии перед читателем обнажается агрессивная нетерпимость традиционной французской элиты. Определения «легкомысленный» и «ненаучный» оказались самыми мягкими в нападках на Бернара-Анри Леви. На этом фоне статьи Раймона Арона и Жана-Франсуа Ревеля в «Экспрессе» приятно выделяются хотя бы профессиональной корректностью.

Все прелести французской интеллектуальной «терпимости» я испытал, как говорится, на собственной шкуре. Не так давно, например, в почтенном парижском еженедельнике одна «либеральная» дама, еще и башмаков не износив после своего активного сотрудничества с советской пропагандой, вылила на меня ушат «плюралистических» помоев. Мог ли я предположить, живя в тоталитарной стране, что в свободной Франции, на страницах свободной печати, бывшие советские коллаборанты будут читать мне политические морали! Что называется, картезианский дух в действии!

В нынешней России бытует одна старая байка. Жил-поживал царь, который был стар и крив на один глаз. Перед смертью он пожелал, чтобы с него написали портрет. Первый художник нарисовал его молодым, красивым, полным сил и с орлиным взглядом. За искажение действительности подхалима казнили. Второй изобразил царя таким, каков он есть на самом деле. И этому отрубили голову, но уже за примитивный натурализм. Третий живописец, учтя ошибки предыдущих, написал портрет царя в профиль, здоровым глазом к зрителю. Этот был награжден по-царски за диалектическое отображение действительности.

Бернар-Анри Леви заранее отказывается изображать нашу печальную действительность красивым профилем к зрителю, чтобы понравиться своим интеллектуальным соотечественникам, а заставляет их поглядеть в зеркало. Неприятно, но целительно! И, повторяю, не только для французов. Для русских не в меньшей, если не в большей степени.

Владимир Максимов

Коротко о книгах

БОРИС ВАЙЛЬ

ОСОБО ОПАСНЫЙ

Overseas Publications, London, 1980

Каждое новое свидетельство о ГУЛаге сообщает нам что-то донныне неизвестное. Казалось бы — тема исчерпана, но на самом деле все новые и новые подробности, новые и новые индивидуальные судьбы дополняют страшную мозаику обвинительного акта, центральным материалом которого стал фундаментальный труд А. И. Солженицына.

Книга Б. Вайля имеет, разумеется, немало общего со всей библиотекой ужасов, вышедшей за последние годы, но интересна эта книга тем, что дополняет картину, рассказывая не только о лагерях самых последних лет, но и о той обстановке, которая царила в «большой зоне» — во всей стране — в 1956-57 годах. Вайль — свидетель и летописец — подробный, вникающий в детали — того перелома в восприятии «советской действительности», который наступил в эти годы для молодежи, только что начавшей осматриваться в жизни и получившей резкий шок наподобие удара прожекторным лучом: в первый миг вроде слепнешь, но вскоре видишь вещи, что называется, в истинном свете. В этом смысле особенно интересно подробное описание этого пути прозрения.

«Обычная провинция», Курск, показывается в книге глазами обычного советского молодого человека, и то, как «советская действительность» сама же превращает любого думающего человека в «несоветского», читатель видит шаг за шагом, воспринимает деталь за деталью быт и мысли, реакцию молодежи на повседневность и на крутые повороты политической обстановки в стране. И вся убедительность рассказа, вся его достоверность как раз и складывается из мелких простых бытовых подробностей.

Жизнь в Ленинграде, в общежитии Библиотечного института, описана с еще большей точностью деталей. Эта часть книги особенно важна — не только картинами студенческого быта тех лет, но прежде всего изображением нескольких из тех бесчисленных ручейков возникавшего сопротивления, которое на первых порах

принимало (почти без исключения) формы «классического подполья» со всей его «конспирацией» и... наивностью. Портреты людей, с которыми судьба свела автора на этом пути, выписаны непредвзято и честно. Револют Пименов, убежденный в необходимости исключительно подпольных методов борьбы, взявший в те годы за образец для себя народовольцев, его противоречия с «истинными марксистами», считавшими, что раз создается организация, то прежде всего нужна программа («Мы были слишком заражены формализмом этого государства, — пишет автор, — программы, уставы, членские билеты, клятвы... Вся эта псевдогероическая символика прививалась нам с детства».)

Профессор Г. А. Таманцев — все понимающий, но осторожный, безусловно честный, но не нашедший для себя иного пути, кроме самоубийства. И словно в противоположность ему профессор В. А. Мануйлов с его «моцартианством», которое позволяло не замечать всего, что замечать было неудобно, что могло хоть как-то нарушить внутренний комфорт его драгоценной моцартианской особы. Из всех этих портретов и складывается то, что можно назвать образом десятилетия, о котором написано не так уж много.

«Поляки в Ленинграде были неким бродильным элементом. И вообще именно Польша приковывала той осенью взоры мыслящих людей в СССР», — пишет Вайль и далее рассказывает о том, как восприняты были в его среде венгерские события, всколыхнувшие, по сути дела, все поколение. Это был второй шок после XX съезда. И шок, видимо, еще более действенный. Вторжение советских войск в Чехословакию двенадцать лет спустя было уже не шоком: оно, по словам автора, сыграло иную роль — разделило людей, еще мыслящих «социалистически», с людьми, не боявшимися все додумывать до логического конца.

Последующие главы — описание лагерей и ссылок — уже воспринимаются как более «знакомые». Здесь Вайль вполне удачно дополняет картину, уже сложившуюся в восприятии тех, кто прочел множество лагерных воспоминаний. Но если задаться вопросом, что нового внесено Б. Вайлем в эту копилку свидетельств, то ответ будет определенным: именно описание этих лет — конца пятидесятых, начала шестидесятых, лет первых ласточек и первых шагов российского сопротивления.

ВАСИЛИЙ ГРОССМАН

ЖИЗНЬ И СУДЬБА. Роман

L'Age d'Hotte, Лозанна, 1980

О судьбе романа можно бы было сказать словами М. Булгакова — «рукописи не горят». Жизнь и судьба этой книги особенные. До того В. Гроссман написал роман «За правое дело», который стал сгоряча считаться классикой соцреализма. Однако он насторожил наиболее чутких и бдительных советских журналистов и литераторов, клеймивших его в «Правде» и «Коммунисте». Роман кончался словами: «Конец первой книги».

Вторая книга была написана в 1961 году, но, не увидев света, почти сразу же сгинула в архивах ГБ. Главный редактор толстого журнала, в целях перестраховки, совершил передачу романа в «надежные руки», а свои руки умыл. Арестовали все экземпляры, бывшие у автора. И жизнь романа была тем самым, видимо, окончена. Вскоре и сам автор ушел навсегда — не вслед за романом, а в могилу.

Но не кончается на том судьба книги. Прошло двадцать лет — и роман «Жизнь и судьба» воскрес. Где он был, кто его сохранил, неизвестно, но спасибо ему.

Чем же так ужаснул роман советскую власть? Тем, что разоблачил все иллюзии. Книга «Жизнь и судьба» описывает роковой час для Советского Союза и человечества в целом — время до и после Сталинградской битвы. Сталинград был тогда надеждой демократии и ужасом фашизма. Но Гроссман меняет местами слова «фашизм» и «демократия» — и это не меняет ничего. Концлагеря Гитлера подобны концлагерям Сталина. Да и узников этих концлагерей можно поменять местами. Фашист Лисс называет марксиста Мостовского, сидящего у него в концлагере, «учителем». В романе наглядно показаны большевистские истоки национал-социализма. И перед этим меркнет даже, говоря формулировками газеты «Правда», «сионистская направленность» книги Василия Гроссмана. Хотя страницы, отведенные рассказу о гетто, о гибели невинных надрывают сердце...

Автор не признает ни одной догмы, как бы гуманистична она ни была внешне. Он говорит: нет насилия, которое пошло бы человечеству на благо; всякое добро, обросшее догмой, уводит человека в рабство. Это утверждение сделало роман грозным оружием. И

сейчас, в 1981 году, увидевшая наконец свет книга «Жизнь и судьба» таит в себе угрозу. Она похожа на мину, спящую под тонким слоем земли на распаханном поле, раненном войной.

АРСЕНИЙ ТАРКОВСКИЙ

ЗИМНИЙ ДЕНЬ

«Советский писатель», М., 1980

Арсений Тарковский принадлежит к той группе поэтов, которая является своего рода социологическим феноменом: первые книги в возрасте пятидесяти, а то и шестидесяти лет! Достаточно назвать имена Марии Петровых, Семена Липкина и того же Арсения Тарковского, чтобы стало ясно все. Эти имена были известны в мире поэтического перевода, но собственная поэзия, десятилетиями уходящая в ящик стола, впервые увидела свет в шестидесятых годах. Лишенные возможности публиковать свободно свои стихи, поэты эти предпочитали молчать десятилетиями, но не идти на какой-либо компромисс. Не случайно, что один из основных мотивов поэзии Арсения Тарковского — «Быть самим собой». Это и жизнь его и творчество. Выпустив свою первую книгу стихов в 1962 году, поэт поставил под большинством стихотворений даты. Это — 1929-й, это — середина тридцатых, ну и, конечно, более поздние стихи. Тридцать лет молчания открылись перед читателем и оказались тридцатью годами поэзии самой чистой пробы.

Сама необычность этого явления меняет всю картину поэзии 30-40-х годов, на которые фактически попадает расцвет творчества Тарковского и других его «друзей по молчанию».

Поиски соответствия слова и понятия — самый неброский из всех творческих процессов, но может быть и самый сложный:

Я не хочу ни власти над людьми,
Ни почестей, ни войн победоносных,
Пусть я застыну, как смола на соснах,
Но я — не царь, я — из другой семьи.

Дано и вам, мою цикуту пьющим,
Пригубить немоту и глухоту,

Мне рубище раба не по хребту,
Я не один, но мы *еще* в грядущем.

Стоицизм и в жизни и в стихе. Противостояние всяким искушениям. И — поиски корней этой суровости — восхождение к истоку, путь, направленный обратно потоку времени. В плане философском — это ветхозаветные мотивы, в плане биографическом — возврат к детству с его цельной еще картиной мира. Искатель цельности видит ее и у истоков личности, и у истоков культуры. И ощущения сегодняшнего человека в сегодняшней обстановке совершенно непосредственно и естественно облекаются в евангельские образы. Вот обычное пробуждение обычным утром обычного нашего современника:

И какая досада / сердце точит с утра? / И на что это надо / Горевать за Петра? / Кто всего мне дороже, / всех желаннее мне? / В эту ночь от кого же / Я отрекся во сне? /

Но ощущение природы и всего бытия, как бы ни стремилось к цельности, уже раздроблено, и в сознании современного человека это необратимо. Как ни признавалось справедливым, что «нет отрады во многих мудростях» (Екклезиаст), но открытое — не закрыть. Дело — в отношении к этой неизбежности. И потому если нормально для классического взгляда сравнить, допустим, самолет со стрекозой, то у Тарковского в его «обратном восхождении» и сравнение становится чаще всего «обратным»: «...И только стрекоза, как первый самолет, / о новых временах напоминает». Или лесной пейзаж — зима: «И дуб в кафтане рваном / Стоит, на смерть готов, / Как перед Иоанном / Последний Кольчов». Обратное движение лирического времени органично выворачивает и образ. Стоический скептицизм Тарковского проявляется и в том, что, кроме Слова, он не видит в мире первостепенных ценностей. Ибо если «в начале было Слово», то оно же и в конце. А связующее звено между ними — это и есть культура. «Времен грядущих я Иеремия / Держа в руках часы и календарь, / Я в будущее втянут, как Россия / Я прошлое кляню, как нищий царь». И потому вневременная поэзия Тарковского современна, она близка и читателю тех времен, когда писалось большинство этих стихов (читателю, который, напоминая, не мог *тогда* прочесть, поскольку стихи Тарковского были если не «вещью в себе» то вещью в столе), она близка и нам, нынешним читателям. И когда в стихотворении, в котором живым и прикосновенно ошутимым предстает быт 1919 года, где вся Россия... «граммофоны, одеяла, / стулья, шапки — что попало / на пшено и

соль меняла / В девятнадцатом году», вдруг соседка, принеся мерзлую картошку, говорит: «Как богато / Жили нищие когда-то, / Бог Россию виноватой / Счел за Гришкины дела», — то строки эти выходят в нашем сознании за пределы девятнадцатого года, мы их воспринимаем как отзвук нашего собственного, нынешнего внутреннего голоса.

«Зимний день» — четвертая книга стихов Арсения Тарковского, — вся звучит в той же тональности, что и прежние его книги. И в этом факте можно усмотреть все ту же цельность личности и мировосприятия, все тот же стоицизм, все тот же путь к истокам индивидуума и, параллельно, к истокам культуры.

ВОЙНА В АФГАНИСТАНЕ

«Посев», Франкфурт-на-Майне, 1980

Все материалы этого сборника взяты из ежемесячного журнала «Посев» (№№ 2 - 10 за 1980 г.). Сборник содержит описание не только первых 9 месяцев боевых действий, но также причин советского вторжения и рассказывает о положении Афганистана в целом. Сборник в основном рассчитан на советского читателя, которого советская официальная пропаганда пытается убедить, что вторжение в Афганистан есть «исполнение интернационального долга», а неофициальная — что вторжение в нейтральный Афганистан было необходимо для «защиты южных границ СССР».

В сборнике — подробное описание первой «революции» Дауда в сентябре 1973 года, «Заурский» переворот 1978 года, когда в коммунистическом перевороте непосредственно участвовала специальная группа советского КГБ. Характерно, что президент Дауд был зверски убит вместе с несколькими десятками своих родственников и приближенных. Уже по этой тоталитарной беспощадности можно было разглядеть страшное будущее Афганистана. Но еще больше должны удивить читателя глупость и некомпетентность КГБ и стоящего над ним Политбюро. Читатель, в общем-то, привыкший к жестокой сущности нашей власти, часто представляет себе эту власть умелой во зле, компетентной в захвате власти и в насаждении где бы то ни было тоталитаризма. «На ключевые посты, даже в министерствах, поставили советских специалистов. А потом начали делать все то, что в конце концов вызвало народ на восстание».

В сборнике последовательно описываются и поясняются события и процессы, приведшие к советскому вторжению. Дана также информация о международной реакции на оккупацию Афганистана. Статья А. Окулова «Кровь, о которой запрещено говорить», затрагивает последствия афганской мясорубки для советских солдат и их родных. Статья одного из лучших в мире советологов А. Авторханова «Стратегические расчеты Брежнева» подвергает конкретной критике политику Запада: «Сегодня, когда Кремль ведет горячую войну в Азии, пугать «холодной войной» и продолжать проповедовать «разрядку» могут только лицемеры из Москвы или невежды на Западе». Статья Н. Рутыча «Афганистан и Россия» выпукло и вместе с тем рельефно описывает отношения между Россией и Афганистаном. И вывод: «И теперь, когда по ту сторону Пянджа, в Афганистане, от вмешательства в дела которого Россия всегда воздерживалась, началась новая затяжная война с «бандами басмачей» (как снова называет повстанцев советская печать), пора напомнить, что она не имеет ничего общего ни с русскими государственными интересами, ни с традиционной политикой на Ближнем Востоке. Это необходимо напомнить еще и потому, что подобно тому, как это было в 1944-45 годах, когда русское имя часто отождествлялось с коммунистическим насилием в Центральной и Восточной Европе, так и теперь в Афганистане русских солдат принимают, к несчастью, за носителей коммунистических идей и порядков. И убивают за это».

Нужно, по всей вероятности, считать этот сборник только сборником № 1. Он говорит, например, о 200 000 афганских беженцев. С тех пор Политбюро поработало. В настоящее время в Афганистане геноцид развернулся почти в полную силу: погибло от советского оружия, в том числе химического, более миллиона афганцев и более полутора миллионов стали беженцами.

СОЛИДАРНОСТЬ

«Посев», Франкфурт-на-Майне, 1981

Эта книга маленького формата дает обширную информацию о рабочем движении в Польше и в СССР. Приблизительно 150 из 200 страниц книги посвящены документированному дневнику событий Польского Лета. Эта часть написана в Варшаве в ноябре 1980 года

А. Поморским. Книга начинается с описания периодичности кризисов в Польше с 1939 года (1945, 1946-47, 1956, 1968, 1970, 1976 и — 1980). Захват власти коммунистами с помощью советских сил, освободивших, а затем оккупировавших страну (1944-47). Глоток свободы во время десталинизации (1956). Борьба за культуру во время бунта интеллигенции в 1968 г. Борьба рабочих за увеличение заработной платы и отмену повышения цен в 1970 г. Повышение цен на мясо и новые забастовки рабочих в 1976 г.

1980 год. Отдельная глава посвящена демократической оппозиции и независимой прессе — любой свободолобивый, и даже не очень, советский человек, читая, почувствует благородную зависть. 4 июля 1980 года — начало забастовок. Образование стачечных комитетов. Подробно описывается, как началась забастовка в Гданьске, дается ее хронология. Помещены воззвания польской интеллигенции, имеется объективная оценка роли экспертов. Разумеется, в книгу включены материалы, показывающие роль в Польском Лете веры и Церкви.

Очень много интереснейшего материала перепечатано из газеты забастовщиков «Солидарность». Здесь можно найти все требования независимого профсоюза, ознакомиться с опытом организации забастовок. Есть и устав «Солидарности». Автор заканчивает свою работу довольно трезвым и горьким рассуждением, в котором можно почувствовать и надежду: «Запад занят перевариванием своего богатства и боится военной экспансии СССР. Делает вид, что отдаст много, лишь бы оставили его в покое. Но есть границы его уступок. СССР боится, что потеря одной пуговицы из награбленных земель поведет к потере всей империи. С нашей точки зрения, боится зря. Но что остается делать нам, небольшой нации на перекрестках дорог Истории, чтобы выжить биологически и культурно? Рассчитывать не на Запад, а на свои силы. И искать союзников, которые могут выступать с нами солидарно».

Вторая часть книги, посвященная рабочему движению в России, написана Михаилом Назаровым. Автор перечисляет все забастовки (ставшие известными на Западе) с 1962 года, то есть с Новочеркасска. Эти забастовки могут показаться в советских тоталитарных условиях чудом, особенно после того, как узнаешь, что в Польше до начала Польского Лета было 50 независимых журналов и газет, которые издавались тиражами от 1000 до 15 000 экземпляров. Были и независимые издательства — поляки даже выпустили «Москву-Петушки» Ерофеева.

Затем автор подробно описывает создание в СССР Свободного профсоюза трудящихся, его разгром, а затем создание Свободного межпрофессионального объединения трудящихся (СМОТ) и его деятельность.

В конце книги помещено обращение от издательства: «Без освобождения России немыслимо и окончательное освобождение Польши. Это понимают и наши борющиеся в Польше друзья, в сотрудничестве с которыми была издана эта книга. Совместные усилия борцов из всех поработанных коммунистической диктатурой стран — еще один уровень того движения солидарности, которое является одновременно мощным оружием, организационной целью и нравственной ценностью в нашей освободительной и созидательной борьбе».

Единственная ежедневная русская газета
за рубежом

«НОВОЕ РУССКОЕ СЛОВО»

выходит в Нью-Йорке, США

Главный редактор **Андрей Седых**
71-й год издания

«Новое русское слово» регулярно печатает документы самиздата, протесты из СССР, произведения лучших эмигрантских писателей, публицистику и прочее.

Подписная цена 70 долларов в год,
35 дол. — 6 месяцев

Воскресное издание — только 35 дол. в год

Годовая подписка воздушной почтой
(пачками по 6 номеров) — 150 долларов в год

Подписку с платой направлять по адресу:

243 West 56 St., New York, N. Y., 10019 USA.
NOVOE RUSSKOYE SLOVO

Наша анкета

ИНТЕРВЬЮ С ВИКТОРОМ КОРЧНЫМ

Прошло почти тридцать лет с тех пор, как Джерси Уолкотт ошеломил спортивный мир, нокаутировав в седьмом раунде Эззарда Чарлеса, завоевав, тем самым, звание чемпиона мира в тяжелом весе. До этого Уолкотта четырежды подстерегали неудачи: он дважды уступал Эззарду и никак не мог улучшить свою форму: старейшему из боксеров-тяжеловесов трудно было сражаться с молодостью. И все же вера в себя и желание опровергнуть прогнозы сделали свое — Уолкотт завоевал лавры сильнейшего.



На шахматной арене, не столь кровавой, как боксерский ринг, невозвращенец Виктор Корчной вскоре, быть может, повторит достижение Уолкотта. В январе этого года гроссмейстер победил в финале турнира претендентов доктора Роберта Хюбнера. Теперь же перед ним последняя преграда — матч с чемпионом мира Анатолием Карповым.

Выступая в кандидатских турнирах *шесть* раз, Виктор Корчной дважды в них побеждал (подобное удалось лишь Василию Смыслову и Борису Спасскому). Со второй «попытки» эти гроссмейстеры сумели преодолеть заветную высоту...

Между Виктором и реализацией его мечты стоит человек, дважды преградивший ему путь к вершине. Их первый матч (1974 г.), выигранный Карповым с

минимальным перевесом, наглядно показал, что нужно коммунистическому отечеству. Вторая встреча двух шахматистов (1978 г., Филиппины) была самой ужасной в истории благородной игры.

Ведóмая неукротимым желанием изничтожить невозвращенца-гроссмейстера, советская шахматная федерация использовала против него богатейший арсенал современного психологического оружия. Были тут и парапсихолог-Зухарь, и полчища гебистов, и предательство тренера, и подчинение филиппинской таможенной нуждам советского идеологического фронта, и многое, многое другое. Любимец Брежнева — А. Карпов — во время матча прибегал к помощи стимуляторов, судьи намеренно не справлялись со своими заданиями. Поддерживаемый колоссальной государственной машиной, Карпов, в конечном счете, победил, но опять-таки с ничтожным разрывом: 6:5 при 21-й ничьей.

На пути к новому, третьему матчу между А. Карповым и В. Корчным все еще много «застав», которые могут или задержать старт соревнования, или — что еще хуже — сорвать его. Крайне трудно в нынешнем либеральном мире найти действительно «нейтральное поле». Кто может гарантировать Корчному паритет с Карповым, а это подразумевает, конечно, освобождение Игоря (сына Корчного) из лагеря и предоставление ему и его матери права на эмиграцию.

Что думает Виктор Корчной о современном шахматном мире и о своем предстоящем матче? Ответ на эти вопросы содержится в интервью, которое претендент дал в Меране (Италия) корреспонденту «Континента» Э. Штейну.

— Так называемый средний американец уже сегодня ничегошеньки не знает о Роберте Фишере, понятие бойкота он связывает только с политикой бывшего президента Джимми Картера. Что же касается шахматного бойкота, то тут невежество свободного мира приобрело такие размеры, что

почти каждый советский человек мог бы прочесть шахматистам Запада обстоятельный доклад на эту тему. Какова «эволюция» шахматного бойкота по отношению к вам, вице-чемпиону мира?

— Шахматный бойкот существует уже много лет. Патент на применение бойкота в спорте принадлежит не Картеру, а советчикам. В истории шахмат они бойкотировали соревнования в Испании, потому что там был режим Франко, бойкотировали олимпиады в Израиле якобы потому, что страна эта-де против мира во всем мире. Бойкотировали и Южную Африку, в конце концов исключив страну из ФИДЕ. Поначалу советчики бойкотировали и уезжающих из страны граждан, потом, однако, сообразили — всех скопом игнорировать негоже, и переключились на невозвращенцев. Спортивная номенклатура дала советским шахматистам строгий наказ — не принимать участия в тех турнирах, в которых выступаю я. Запрету подвергли даже обычное человеческое рупожатие.

— *Простите, Виктор, за вставку. Перед матчем сборных США и СССР на Мальте, во время шахматной олимпиады, все были уверены в том, что лидер советских шахматистов Карпов пожмет руку лидеру американцев, невозвращенцу Альбурту. Досадно было, что даже Лева Альбурт поддался этому мнению. Увы, я не смог убедить Леву в необходимости обойтись без рукопожатия. За несколько минут до начала матча я спросил у космонавта Севостьянова, президента шахматной федерации СССР: «Будет ли рукопожатие?» Брошенное в ответ: «Увидите сами» — не оставило у меня никаких сомнений в предполагаемом поведении чемпиона мира. Я успел лишь попросить Леву, чтобы он постоял с протянутой рукой, а я сделал бы снимок, и мне удалось запечатлеть на пленку трактовку Карповым чеховского «протянутую руку надо пожать...» Шахматная Мальта, а она в ноябре прошлого года была эпицентром шахматной*

совести мира, промолчала, точнее не заметила поступка советского чемпиона.

— Вот то-то и оно: отказ от рукопожатия — еще одна форма проявления личного бойкота. Советская политика бойкота меня в соревнованиях приносит мне немалый вред, причем сразу по двум направлениям. Во-первых, чисто финансовый, потому что самые крупные турниры, соревнования экстра-класса хорошо оплачиваются. Лишенный возможности в них выступать, я вынужден провести десятка два сеансов, чтобы как-то компенсировать финансовый урон, а сеансы не поддерживают мою шахматную форму, скорее вредят ей. Во-вторых, и это для меня крайне важно — я напрочь лишен возможности встречаться с шахматистами равного класса. Бойкот этот можно уничтожить лишь тогда, когда шахматисты решительно выступят против него и, встав на мою защиту, откажутся играть в турнирах без меня. Западные шахматисты могли бы просто предъявить советчикам ультиматум: пока бойкоту подвержен Корчной, мы отказываемся поддерживать с советской шахматной федерацией и ее представителями какие-либо деловые и творческие контакты.

К сожалению, политическое мировоззрение многих гроссмейстеров не доросло и неизвестно, дорастет ли, до уровня учеников неполной средней школы, причем советской школы. Шахматный мир — это не место, где можно выразить протест против поведения советского государства и советской шахматной федерации. С точки зрения не совсем запуганного человека Запада, может показаться: ну, почему бы шахматистам свободных стран не помочь сильнейшему гроссмейстеру, то бишь мне, прекратить этот бойкот, который в любой момент может быть обращен не только против меня? Стало, например, известно, что Карпов не хочет играть с англичанином Майлсом только потому, что тот якобы обидел его, начав партию с чемпионом хо-

дом а7-аб. Увы, Запад готов сдаться перед любым советским наступлением. Таково на сегодня положение в шахматном мире.

— *Значит ли это, что западные шахматисты запрограммированы на компьютере «гроссмейстера» Андропова?*

— Нет, нет, западный шахматный мир относится вроде бы нормально ко мне. Люди понимают и одобряют мое естественное человеческое право жить и творить там, где я хочу. Они просто пасуют перед организованной силой, в данном случае, на небольшом отрезке человеческой деятельности — в шахматах.

— *Благодаря известному американскому публицисту Арту Бухвальду в США стала крылатой фраза — «проблема четвертого ряда». В 1979 году публицист предсказал, что четвертый ряд стадиона имени Ленина в Лужниках, во время олимпиады, будет оккупирован «тысячей зухарей», которые сведут на нет все усилия западных спортсменов. В связи с растущей ролью Зухаря в шахматах, не считаете ли вы нужным в вашем будущем матче с Карповым прибегнуть к «ходу Фишера», разыгравшего одну из своих партий со Спасским в закрытом помещении, без зрителей, только под наблюдением судей?*

— Надо об этом подумать. Но, с другой стороны, зная, что советское общество высоко организовано, поставлено на военные рельсы, каждый человек в нем находится в своем ряду и знает свое «действие», все же нет надобности полагать, что западная наука и техника уступает советской. Если советские навяжут нам такой бой, то мы можем тоже найти зухарей, которые займут «пятый ряд», найдем мы и коротковолновые, и длинноволновые передатчики, и все, что угодно.

— *Вам, Виктор, удалось вторично выиграть турнир претендентов. Верите ли вы в то, что — как*

говорят поляки, «до тшех разы штука» — что вы станете чемпионом мира?

— Верю в это!

— *Вера, конечно, необходимый элемент в предстоящей борьбе, но мне хочется вернуться к вашему же интервью почти пятнадцатилетней давности. После проигрыша кандидатского матча Спасскому вы заявили, что все еще будете бороться за звание чемпиона мира, но практически считаете, что спортивная вершина шахматиста достигается, как максимум, к 43-м годам, после же этого возрастного рубежа спад формы практически неизбежен. В момент матча с Карповым вам будет уже более полувека. Ботвиннику, правда, удалось стать чемпионом мира в 51 год, но он тогда выиграл матч-реванш у Таля. С перспективы полутора десятилетий — как вы теперь расцениваете свое предыдущее интервью в чисто «возрастном» ракурсе?*

— Получается, что в шахматном мире не происходит естественной смены поколений. Был десяток сильных гроссмейстеров, они уступили место другой группе шахматистов, потом на смену им пришел один, искусственно сделанный, смонтированный на полупроводниках, гроссмейстер — Карпов. Вот тут-то и не произошло естественной смены поколений, и поэтому я чувствую себя на уровне. Молодое же поколение ведет пока только бои «местного значения». Карпова же я серьезным противником не считаю. Физически этот человек значительно уступает нормальным людям. Мыслить самостоятельно он не способен. К нему приставлены психологи и всевозможные датчики. Он употребляет допинги. Карпов — человек, который держится на шахматном уровне за счет достижений науки и техники, а не за счет своего молодого возраста. Поэтому-то я и считаю себя способным бороться за мировое первенство.

— *Всю свою жизнь вы посвятили шахматам, недаром ваша первая книга так и называется — «Шахматы — моя жизнь». Через призму прожитого, за черно-белой доской, как вы считаете: с кем труднее играть — с Петросяном, которому вы однажды проиграли матч, а затем трижды его побеждали, или с Карповым, которого вы в матчах не превзошли, хотя и уступили ему всего лишь полшага?*

— Видите, Эдуард, Петросян сейчас играет в одиночку, а Карпов продолжает выступать с большим отрядом людей, привлекая к себе на помощь к тому же десятки гроссмейстеров, которые приезжают к нему на поклон и делятся с ним своими теоретическими секретами. Карпов живет, следовательно, чужим умом, а Петросян своим. Петросяна не сопровождают врачи и специалисты допинга, с ним не ездят юристы и переводчики. И получается, что Карпов представляет советское государство, и, естественно, мне труднее бороться со всей системой, нежели с отдельными её представителями.

— *Ваши советские болельщики имеют крайне искаженное представление о представителях секты Ананда Марга, о ваших с ними отношениях. Поддерживаете ли вы с ними контакт?*

— Да, я поддерживаю контакт с Диди и Дада. Мы взаимно симпатизируем друг другу. Иногда я оказываю им финансовую помощь, в которой они очень нуждаются. Они же ободряют меня то ласковым письмом, то телеграммой. И как ни странно: когда бы весточки от них ни приходили ко мне, я добиваюсь успеха.

— *Какие виды спорта вы включили в программу вашей подготовки к матчу с Карповым?*

— Я по-любительски увлекаюсь лыжными кроссами, бегом и настольным теннисом.

— *От перипетий сегодняшнего дня давайте перенесемся в мир легенд, пусть и... живых — к Фише-*

ру. Допустим, план-максимум вами достигнут — вы чемпион мира. Будете ли вы без матча с Фишером считать себя властелином шахматного мира или только чемпионом ФИДЕ?

— Насколько я в курсе дела, если я выиграю звание чемпиона мира — Фишер появится и захочет со мной играть. Я с удовольствием соглашусь с ним играть на звание чемпиона мира.

— *В случае такого матча, который будет проведен не под эгидой ФИДЕ, а под руководством респектабельных организаторов, и в случае вашего проигрыша — признаете ли вы тогда Фишера чемпионом мира?*

— Да, конечно, я признаю пальму первенства за американцем.

— *За шесть лет своего чемпионства Карпову так и не удалось организовать встречу с Фишером. Думаете ли вы, что за «ваши три года» вы добьетесь этого?*

— Эдуард, во-первых, не три, а всего лишь год — ведь предполагается матч-реванш. Это издевательская форма. Я сам предложил ее отменить, взамен я настаивал на том, чтобы претендент выиграл у чемпиона с разрывом в два очка (не меньше), но советчики отказались. Им очень нравится матч-реванш. Карпов не волен быть самим собой и организовывать матч, если советское общество не дает ему на это свое добро. Это с одной стороны, а с другой — Фишер сам не склонен играть с советским гроссмейстером. Он предпочел бы играть со мной, поэтому такой матч может состояться.

— *В Буэнос-Айресе вышла по-испански ваша вторая книга «Антишахматы». Какую ее часть вы считаете наиболее значимой и почему?*

— Я рассказчик, а не писатель. Повествую о том, что пережил сам. Вероятно, некоторые вещи, которые

наиболее достоверны, где я наиболее откровенен, — и есть самые яркие в книге.

— *Матч уже на носу, а ваша семья все там же — почти как писала Ахматова: «...сын в тюрьме...»*

— Сын мой, как вам известно, в лагере. Чтобы спасти моих близких, мне нужна поддержка Международной шахматной федерации. Для того, чтобы поднять ФИДЕ на такой подвиг, нужно много трудиться. Как минимум 50% членов этой организации должны высказаться в мою поддержку. И все же я приступлю к матчу. Карпов уже привык без боя получать лавры. Он получил их без боя в 1975 году и готов был их приобрести за здорово живешь и в 1978 году.

— *Мы всё ведем разговор о европейском, что ли, круге, давайте переселимся мысленно на американский материк. В США, как вы знаете, произошла резкая «смена вех»: и президент — республиканец, и Сенат, впервые за последние четверть века, стал из демократического республиканским. И лишь шахматная федерация США не подвержена изменениям, упорно осуществляя курс сплошной «носорогизации». Что, по-вашему, могут предпринять американские шахматисты, чтобы воспротивиться явно просоветской деятельности своего союза?*

— У меня впечатление, что руководитель американской федерации, господин Сперлинг, если и не член компартии, то, во всяком случае, «беспартийный коммунист». Вот его-то американские шахматисты должны просто прогнать в шею, конечно, в открытом и прямом голосовании. Американским шахматистам нужно новое руководство. Чем быстрее они это сделают, тем лучше.

— *Много читателей «Континента» находится в России. Что бы вы хотели сказать своим болельщикам на Родине?*

— Мои многочисленные болельщики в России лишены возможности оказывать мне моральную под-

держку, и все же я ее чувствую, несмотря на государственные кордоны. Я благодарен моим болельщикам и желаю им всего самого хорошего.

Я же пожелал Виктору Львовичу Корчному чёртовой дюжины — 13-ти, чтобы в этом году он стал следующим, 13-м чемпионом мира по шахматам.

Интервью провел Э. Штейн

Читайте в следующем номере:

Стихи:

**И. Бродский, Е. Игнатова, Ю. Колкер,
Е. Хорват**

Проза:

В. Аксенов, Ф. Горенштейн, В. Максимов

Публицистика:

П. Григоренко, Ч. Милош, М. Скэммел

Воспоминания:

**Вероника Полонская о Владимире
Маяковском**

**Заочное заседание редколлегии
«Континента»**

КОНТИНЕНТ

Годовая подписка (4 номера)
40.— ДМ, или 23.— US\$, включая пересылку.

Вы экономите 8.— ДМ, или 5.— US\$
от розничной цены!

Желаю оформить подписку на 1 год (4 номера)

Имя:

Адрес:

.....

.....

Оплату произвожу:

приложенным чеком почтовым переводом
через банк

Платеж и заполненный талон просим направлять:

A. NEIMANIS BUCHVERTRIEB
Bauerstr. 28, 8000 München 40, West Germany

Bankkonto: Bayerische Vereinsbank München Nr. 6304630
Postscheckkonto: München 147391-804





Дорогой Андрей Дмитриевич!

Вот и шестьдесят!

Для кого-то из нас, пишущих это письмо, Вы старший товарищ, для кого-то младший, но для всех нас, — знающих Вас лично и заочно, — Вы друг и пример, которому хотелось бы следовать и подражать...

Мы вспоминаем свою молодость — у каждого она проходила по-своему, у кого легче, у кого тяжелее, — но она была. Было всё — голод, очереди, любовь, увлечения, учеба, война!.. — но не было одного — живого примера... Примера — как жить... А как он нужен в двадцать лет. Да и в тридцать, и позже...

И мы завидуем тем, кто растет сейчас. И дома, и по другую сторону Берлинской стены. У них есть Пример.

И этот Пример — Вы, Андрей Дмитриевич!

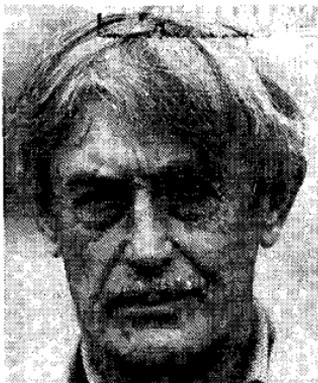
И для нас тоже, переваливших уже за пятьдесят и даже шестьдесят.

Мы знаем — Вам нелегко в городе Горьком, куда Вас загнали, думая отрезать от внешнего мира. Загнали, но не отрезали! Мы Вас слышим, видим, ощущаем и думаем о Вас постоянно, ежедневно, ежечасно. И Вы, надеемся, тоже это ощущаете...

И верим — настанет, наконец, тот день и час, — когда мы сможем сказать это не письменно, а в глаза, крепко обняв и расцеловав Вас.

Будьте же здоровы и нестигаемы, как всегда, дорогой наш Пример и Образец, Андрей Дмитриевич Сахаров!

Редакция и редколлегия «Континента»



Дорогой
Виктор Платонович!

К сожалению, в последнее время нам приходится отмечать не такие уж веселые юбилеи: пятьдесят, шестьдесят, семьдесят! Мы можем утешать себя лишь тем, что возраст — это единственное достоинство, которое с каждым годом не убывает, а увеличивается. Но если говорить всерьез, то многим из нас — Вашим более молодым коллегам — не мешало бы признать у Вас бодрости и спокойствия духа, работоспособности и творческих сил, молодого задора и жажды познания. Недаром сказано, что не тот стар, кто в летах, а кто сердцем зачах. Дай-то Бог, чтобы у каждого из нас было такое поистине юношеское сердце!

Не по своей воле оказавшись на чужбине, Вы, дорогой Виктор Платонович, мужественно продолжаете начатую Вами еще на родине борьбу за право каждого человека, а тем более писателя жить по совести и творить в согласии со своим вкусом и убеждениями. Поэтому неслучайно, что почти с первых шагов «Континента» Вы оказались среди нас — его создателей — и продолжаете с нами его трудный, но целеустремленный путь, что в немалой степени способствовало и способствует жизнестойкости и успеху этого нашего общего детища.

В день Вашего семидесятилетия, вместе с пожеланиями здоровья и творческих сил мы выражаем уверенность в том, что Вы еще на долгие годы останетесь для всех нас сыном того поколения, представители которого, как сказал поэт, «под тридцать лет седали и не старели в шестьдесят».

Редакция и редколлегия «Континента»